

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1978

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Б е л о д е д И. К. (Киев). Конституция СССР и язык [✓] (Социолингвистический аспект)	3
--	---

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Г о р б а ч е в и ч К. С. (Ленинград). Словарь и цитата	14
Е р е м и н а Л. И. (Москва). Графические средства в художественной системе Льва Толстого	25
Д у б я г о А. И. (Калининград). Н. Г. Чернышевский и русский литературный язык	36
А н д р е е в Н. Д. (Ленинград). Раннеиндоевропейские корни с велярными спирантами	46
Р о б е р т А. Х о л л м л. (Нью-Йорк). Критика теории Хомского	55
А х м а н о в а О. С., А в д у к о в а А. М. (Москва). Объективность существования морфологических оппозиций	66
О А х у н з я н о в Э. М. (Казань). О разграничении интерференции и трансференции в условиях языковых контактов	72
Т о р о п о в а Н. А. (Калинин). К исследованию логических частиц.	82

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

О М у р ь я н о в М. Ф. (Москва) К интерпретации старославянских цветообозначений	93
Т о т И. Х. (Сегед). Кирилло-мефодиевские традиции в средневековой Венгрии	110
М е л и к и ш в и л и Д. Н. (Тбилиси). К становлению грузинской философской терминологии	121
Б о р и с о в а Е. Н. (Смоленск). О некоторых проблемах становления и развития словарного состава русского языка конца XVI — XVIII вв.	128

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Н и к о л ь с к и й Л. Б. (Москва). <i>А. Д. Швейцер</i> . Современная социолингвистика	142
М о р к о в к и н В. В., Н о в и к о в Л. А. (Москва). <i>Ю. Н. Караулов</i> , Общая и русская идеография	146
М о к и е н к о В. М. (Ленинград). <i>Р. Н. Попов</i> . Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов	150
С а н ж е е в Г. Д. (Москва). <i>Х. Лусанбалдан</i> . Тод усэг, тууний дурсгалууд	153
Т о д а е в а Б. Х., П ю р б е е в Г. Ц. (Москва). «Калмыцко-русский словарь»	157
Б и б и н М. Т., Н а д ь к и н Д. Т. (Саранск). <i>А. П. Феоктистов</i> . Очерки по истории формирования мордовских письменно-литературных языков	159
Б р а н г П., Ц ю л л и г М. (Цюрих). Аннотированная библиография по славянской социолингвистике	162

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	165
<u>Ю. Курилович</u>	169
<u>Б. Гавранек</u>	173

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Азманова, Ф. М. Березин, Р. А. Будагов, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), В. З. Панфилов (зам. главного редактора), В. М. Солнцев (зам. главного редактора), О. Н. Трубочев, Ф. П. Филин (главный редактор), В. Н. Ярцева

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 202-92-04

Зав. редакцией *И. В. Соболева*

БЕЛОДЕД И. К.

КОНСТИТУЦИЯ СССР И ЯЗЫК

(Социолингвистический аспект)

I

Величественное творение марксистско-ленинской мысли нашей эпохи, являющейся тем этапом в развитии человеческого общества, когда революционными свершениями народа как в области теории, так и в области практического действия создано общество развитого социализма, — Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик формулирует, выражает реальность существования новой действительности, новой, социалистической цивилизации как в определенных, четких понятийных категориях социально-экономического, научно-философского, политического, морального, идеологического, эстетического бытия, так и в способе, характере выражения этих категорий, этого бытия.

Новая Советская Конституция, созданная под непосредственным руководством и при самом активном, действенном участии Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, его Политбюро, Генерального секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева с учетом опыта революционной борьбы трудящихся за свои права во всей их предыдущей истории, чрезвычайно важна и по своему *языку*, отражающему понятийные категории, реалии, практику и идеи социализма и создаваемого коммунизма.

Отсюда и закономерность постановки проблемы — научного и практического осознания понятия и характеристики языка нашей Конституции.

Язык Основного Закона — Конституции нашего социалистического государства, как и языковой стиль всего советского законодательства, вырабатывался и в теоретических научных исследованиях, и в практике советской действительности, в частности — в научной обществоведческой литературе, в деятельности коммунистов — пропагандистов марксизма-ленинизма, в лекционной работе, в различного рода выступлениях, в советском судопроизводстве, в выработке законов, различного рода официальных документов, распоряжений и т. д.

Однако требования к этому стилю, к языку нашего законодательства, пропаганды были заложены В. И. Лениным, восприняты его соратниками, пропагандировавшими их и работавшими в этом языковом стиле еще в до-революционное время. В. И. Ленин, продолжатель теоретического революционного наследия К. Маркса и Ф. Энгельса, явился и продолжателем принципов их языкового стиля как в теоретических исследованиях больших масштабов, так и в выступлениях, статьях, воззваниях, листовках, письмах и т. п. Он творчески развивал эти принципы в новых условиях революционной действительности, в борьбе, в созидании нового общества, в воспитании новых людей, в рождении новой культуры, просвещения и т. п.

Известно, что классики марксизма-ленинизма всегда уделяли огромное внимание языку своих произведений, произведений своих соратников,

языковому стилю воплощения своих мыслей, идей, действительности слова в жизни, в борьбе, созидании. Они резко критиковали своих идейных противников также и за фальшь, лицемерие, обманчивость языка их произведений, за демагогию, красноречие, примитивизм, различного рода словесную игру.

Еще в период деятельности К. Маркса и Ф. Энгельса, с первых лет деятельности В. И. Ленина начал вырабатываться тот научный, публицистический, пропагандистский, законодательный язык, языковой стиль марксистско-ленинских творений, который стал затем достоянием всего советского стиля работы со словом, с законодательным актом и который проступает в лучших творениях науки, художественной литературы, в ораторских выступлениях, в повседневной общественной деятельности советских людей.

Из множества известных высказываний В. И. Ленина по этому вопросу напомним лишь некоторые: «...мы должны выставлять свои... социал-демократические законопроекты, писанные не канцелярским, а революционным языком...»¹.

Под определением «революционный язык» В. И. Ленин понимал его противоположность, непримиримость к языку канцелярской бюрократии, крячкотворства, какой-то тайнописи, позволяющей различные толкования и т. д.; революционный язык должен базироваться на научной основе, на передовых идеях, иметь четкие, понятные формулировки. «Максимум марксизма = максимум популярности и простоты»² — основные качества этого стиля, в том числе стиля советских законов, и т. д.

Но, требуя популярности и простоты в изложении, в языке предмета, В. И. Ленин резко выступал против «популярничанья», против словесного украшения, подделывания под языковой примитивизм, невежество, под «своего» блажелателя и т. д.

В статье «О языке закона» А. В. Луначарский, оставивший нам ряд интересных наблюдений над языком В. И. Ленина, писал, что В. И. Ленин требовал, чтобы закон был написан на литературном языке, а не на языке бюрократическом, выработанном канцеляристами³. А. В. Луначарский эту деятельность, эти принципы В. И. Ленина охарактеризовал такими словами: «Юрист по образованию, он сохранил глубочайший интерес к этому делу, конечно, не к абстрактной, оторванной от жизни лженауке юридической, но к поразительной точности формулировок, ею достигнутых. Когда было у нас сильное поветрие против юристов, которые представлялись нам адвокатами дьявола, присяжными защитниками капитала и обладателями испорченных мозгов, наполненных псевдотрадициями, В. И. [Ленин] требовал кодификаторов, специалистов юристов, требовал юридических формулировок. Мы удивлялись и говорили: „На что нам их красные слова, мы и сами напишем“, — его это не удовлетворяло, и в общем его товарищеская жгучая насмешка часто не одобряла формальной стороны нашей законодательной деятельности. „Ну, каким языком это написано, это неточно“, говорил он. У него было пристрастие к формулировкам юридического типа и В. И. был мастером их. Эта сторона — „физическая сила мозга“ — казалась ему одной из очаровательнейших и нужнейших. Он относился к той или другой правовой формуле, как к настоящей научной ценности, как к большому приобретению ума»⁴.

Высоко ценя литературный стиль, язык произведений, речей

¹ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 15, стр. 67.

² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 32, стр. 442.

³ «Известия ЦИГ СССР», 24 III 1931, № 82.

⁴ А. В. Луначарский, Ленин как ученый и публицист, М., 1924, стр. 17—18.

В. И. Ленина, воспринимая и пропагандируя его, А. В. Луначарский сквозь эту призму рассматривал и язык некоторых исторических памятников законодательства, их язык: «Надо отдать справедливость Французской революции, — писал он, — косвенно рожденный ею „Наполеоновский кодекс“ отличается необыкновенной чистотой своего французского стиля, замечательной строгостью и общедоступностью своих формулировок»⁵.

Говоря о том, что язык наших законов должен быть обновлен, так как во многом обновился и наш литературный язык, наша разговорная речь, наша государственная и общественная терминология, В. И. Ленин одновременно отмечал, что язык в ряде случаев подвергся и значительной порче: сюда относятся введение многочисленных, часто неуклюжих неологизмов, огромное количество невразумительных терминов, возникших от слияния сокращенных слов, неправильное употребление иностранных терминов и т. д. Все это делает наш язык, например, газетный, весьма неблагозвучным, мало ясным, лишенным и тени изящества.

Сотрудники В. И. Ленина по его работе на посту Председателя Совнаркома РСФСР отмечали, что на заседаниях Совнаркома при рассмотрении декретов, юридических документов В. И. Ленин вносил поправки и дополнения, которые всегда излагал в несравненных, безукоризненно отточенных формулировках⁶.

Итак, характерными чертами языкового стиля произведений В. И. Ленина являются его научная фундаментальность, идейная насыщенность содержания, ясность, четкость изложения формулировок, дефиниций, открытость, логическая строгость, эстетическая привлекательность и композиционная стройность.

Эти черты языка и стиля произведений, речей, высказываний В. И. Ленина, этот в широком смысле стиль речевой деятельности великого вождя пролетарской революции, создателя социалистического общества, стиль, воплощенный в жизни народа, в его бытии, отраженный гением его слова, явились основополагающими принципами языкового творчества, теоретического и практического, советских людей, деятелей науки и культуры, творцов новых и новых произведений художественного, научного, публицистического, официально-делового, законодательного слова. Ленинский стиль языка, формулировок, определений, логики изложения и выводов является, в частности, основополагающим принципом языка советского законодательства, его высшего проявления — Основного Закона Советского государства, общества развитого социализма — Конституции СССР и соответственно — конституций союзных республик СССР.

Известно, что понятийный фонд, сформулированный в языке народа, нации, представляет картину жизни общества, эпоху его развития, уровень его прогресса — и научно-технического, и экономического, и культурного, и общего идеологического, различные аспекты жизни общества. По языку можно судить о самом мышлении человека, ведь он «есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание...»⁷. По известному же выражению А. Франса, словарь языка — это ведь весь мир, расположенный по алфавиту. В этом огромном мире словаря языка существуют «...такие крылатые слова, которые с удивительной меткостью выражают сущность довольно сложных явлений»⁸.

⁵ А. В. Луначарский, О языке закона, «Известия ЦИК СССР», 24 III 1931, № 82.

⁶ Сб. «Вечно живой. Воспоминания современников о Владимире Ильиче Ленине», М., 1965, стр. 115, 313, 316.

⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 3, стр. 29.

⁸ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 25, стр. 138.

Мы знаем, что понятийная сфера, понятийные категории, воплощенные в Конституции СССР, сформулированные в ее языке, — это сфера, понятийный арсенал общества развитого социализма, созданные нашей современной социалистической цивилизацией, реальностью современного социалистического бытия, теоретической марксистско-ленинской мыслью и практикой советского социалистического образа жизни, опытом самых широких трудящихся масс, их знаниями, волей, глубокой заботой о своей социалистической Родине. Но вместе с тем язык нашей Конституции, его понятийный фонд отражает все то прогрессивное, что имело место на определенном историческом этапе развития общества в прошлом и, выполнив свою историческую миссию, отошло в прошлое, уступив место более высоким и совершенным категориям.

Философ Д. Спасов, анализируя ленинский тезис о том, что «в языке есть только общее», справедливо подчеркивает: «...многие знают, но и иногда забывают: язык представляет собой *общее* в определенных конкретных явлениях; он выражает *обобщенное* знание и обозначает *общие* черты объектов... поэтому он является одной из вечных связей, объединяющих людей в общества, а общества — в человечество, эпохи — в историю»⁹.

Итак, понятийный фонд, сфера категорий, зафиксированные, отраженные в языке нашей Конституции, в эпоху общества развитого социализма, — о них идет речь.

Известно, что конституции буржуазных стран не скупаются на записи слов и словосочетаний, терминов о «свободном обществе», «возможности выбора» и т. п. Но известно также лицемерие понятий, выраженных этими и подобными словами в текстах конституций капиталистических стран, маскировка с их помощью мрачной действительности бесправия и попрания названных «свобод» и «вольностей» для трудящихся масс. Вот как пишет о разнице между толкованием подобных понятий и действительностью в так называемом «свободном обществе» американский писатель А. Хейли:

«...выбор... в той или иной степени встает перед всеми людьми, живущими в нашем свободном обществе. Однако в этом обществе есть люди, которые рождаются с весьма ограниченной возможностью выбора, опровергающей старое, как мир, утверждение, что „все люди от рождения равны“. ...десятки тысяч (рабочих. — *Б. И.*)... чье продвижение по жизни с самого рождения наталкивается на преграды, воздвигнутые нищетой, неравенством, скудными возможностями да к тому же более чем скромным образованием, не дающим достаточной подготовки для принятия жизненно важных решений, с самого начала обречены страдать. Разница может быть лишь в степени их страданий»¹⁰.

Подобного рода реалистических, правдивых высказываний о так называемом капиталистическом «свободном мире», о его «демократии» и т. п. существует более чем достаточно, они известны, как известна и сама раскрываемая ими действительность поэтому, нет потребности дальнейшей характеристики этого положения¹¹.

II

В докладе «О проекте Конституции Союза Советских Социалистических Республик» товарищ Л. И. Брежнев говорил: «Извращенному и опошленному буржуазной и ревизионистской пропагандой толкованию понятий демократии и прав человека мы противопоставляем самый полный и ре-

⁹ Д. Спасов, Философский анализ функций языка, в кн.: «Философия марксизма и современная научно-техническая революция», М., 1977, стр. 321.

¹⁰ Артур Хейли, Колеса, «Наука и жизнь», 1974, 6, стр. 109.

¹¹ Ср., в частности: Ю. Агешин, Э. Кузьмин, Демократия и конституция двух миров, «Коммунист», 1978, 8, стр. 23 и др.

альный комплекс прав и обязанностей гражданина социалистического общества. На веса истории мы кладем действительно эпохальные завоевания трудящихся, достигнутые благодаря власти рабочего класса под руководством Коммунистической партии»¹².

Формулирование научно-теоретических основ нашего советского социалистического государства, его законов, прав, свобод и обязанностей его граждан осуществляется ясным, четким языком, исключаям всякие неопределенности, всякие недомолвки, неоднозначность в толковании и т. п. Языковой стиль положений и статей советской Конституции фундаментально научен и отточен в понятийном, смысловом отношении, отличается высокой культурой письменной речи и, как сказал бы А. В. Луначарский, тонким изяществом, строгой логикой в композиции разделов, частей, статей, абзацев. Например, подводя итог определенного исторического этапа в развитии человечества, первый абзац текста Конституции заканчивается логическим выводом: «Начался всемирно-исторический поворот человечества от капитализма к социализму».

В дальнейшем изложении подобные по стилю итоговые выводы формулируются после всех важнейших частей текста, образуя его стилевую композиционную характеристику: «Впервые в истории человечества было создано социалистическое общество»; «Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало общепародным. Возросла руководящая роль Коммунистической партии — авангарда всего народа»; «Развитое социалистическое общество — закономерный этап на пути к коммунизму» и т. п.¹³

Важной стилистически-композиционной особенностью текста Конституции является градационное, постепенное углубление и расширение какой-либо понятийной категории путем повтора-единичности частей (абзацев) всего логико-словесного комплекса формулировки (понятия-категории), например: «В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда социализм развивается на своей собственной основе...» и т. д. «Это — общество, в котором созданы могучие производительные силы, передовая наука и культура...»; «Это — общество зрелых социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая историческая общность людей — советский народ»; «Это — общество высокой организованности...»; «Это — общество, законом жизни которого является забота всех о благе каждого и забота каждого о благе всех»; «Это — общество подлинной демократии...» — и, наконец, общий вывод о закономерном этапе в движении общества по пути к коммунизму¹⁴.

В такой же логической композиции — предпосылки и вывод — изложены, например, и грани понятия **с о в е т с к и й н а р о д** в плане его, этого понятия, историко-преемственных основ дальнейшего процесса создания:

«Советский народ, руководствуясь идеями научного коммунизма и соблюдая **верность** своим революционным традициям,

¹² О проекте Конституции Союза Советских Социалистических республик. Доклад Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Конституционной комиссии товарища Л. И. Брежнева на Пленуме ЦК КПСС 24 мая 1977 года, «Коммунист», 1977, 8, стр. 43.

¹³ «Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик», М., 1977, соответственно стр. 3, 4, 5.

¹⁴ Там же, стр. 4, 5.

опираясь на великие социально-экономические и политические завоевания социализма,

стремясь к дальнейшему развитию социалистической демократии, учитывая международное положение СССР...,

сохраняя преемственность идей...» и т. д.

И, наконец, вывод: «закрепляет основы общественного строя и политики СССР, устанавливает права, свободы и обязанности граждан...»¹⁵ и т. д.

Как известно, каждая из перечисленных граней этих понятийных категорий является реально существующей действительностью, закрепленной как в практике нашей внутригосударственной, так и международной жизни, поэтому и звучат эти понятия-категории правдиво и фундаментально.

В своих формулировках текст Конституции фиксирует, закрепляет понятия, как уже имеющие историческую перспективу, преемственность (например: «В соответствии с принципом социализма „От каждого — по способностям, каждому — по труду“», «способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека»¹⁶, так и новые понятия, распротранившиеся в нашей науке и жизненной практике, например: общество развитого социализма, социалистическое соревнование, достижения научно-технического прогресса, методы руководства экономикой, динамичное, планомерное и пропорциональное развитие народного хозяйства, экономика СССР как единый народнохозяйственный комплекс, охрана и улучшение окружающей человеческой среды; усиление социальной однородности общества и т. п. Из понятий внешней политики: упрочение безопасности народов, предотвращение агрессивных войн, всеобщее и полное разоружение, принципы мирного сосуществования государств с различным социальным строем; принцип социалистического интернационализма и т. д.

Примером логической аргументированности, четкости языковой композиции, наряду со всеми другими, может служить также изложение во II разделе текста Конституции «Государство и личность» глав 6 и 7-й: «Гражданство в СССР. Равноправие граждан», «Основные права, свободы и обязанности граждан СССР».

В плане исторической перспективы здесь уместно вспомнить характер великих понятий, призывов, революционных деяний прошлого: «Liberté, égalité, fraternité!» («Свобода, равенство, братство!») Французской революции; «Proletarier aller Länder, vereinigt euch!» («Пролетарии всех стран, соединяйтесь!») «Манифеста Коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса. Если первый отразил общую гуманистическую идею, направленную против темноты и невежества, то второй обращался уже к конкретному социальному объекту — к пролетариям всех стран как к движущей силе истории в борьбе против капитализма, за права человека труда.

В обществе развитого социализма, в Конституции его государства высокие социальные и духовные требования общества зафиксированы уже как реальные завоевания, как существующие реалии, действительное бытие.

Характерной чертой формулирования этих новых понятий является то, что при изложении каждого из них оно выдвигается не только как лозунг, призыв, пожелание, а как уже реально существующая действительность, ибо вслед за строкой, излагающей понятие, следуют строки, абзацы, фиксирующие или уже осуществленное достижение или указываю-

¹⁵ Там же, стр. 5.

¹⁶ Там же, стр. 10.

щие пути и формы этого осуществления, указывающие на законодательную ответственность за это осуществление, гарантирующие его.

Например:

«Статья 40. Граждане СССР имеют право на труд,— то есть на получение гарантированной работы...

Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства».

«Статья 36. Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается политикой всестороннего развития и сближения всех наций и народностей СССР, воспитанием граждан в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма, возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР.

Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан по расовым и национальным признакам, равно как и всякая проповедь расовой или национальной исключительности, вражды или пренебрежения — наказываются по Закону».

«Статья 35. Женщина и мужчина имеют в СССР равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается...» и т. д.

«Статья 28.. В СССР пропаганда войны запрещается».

В такой же языковой и юридической форме изложены статьи о праве на отдых, на охрану здоровья, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни и т. д., право на жилище, право на образование, на пользование достижениями культуры и т. п.; гарантируется свобода научного, технического и художественного творчества, изобретательства; право участвовать в управлении государственными и общественными делами; гарантируется свобода совести, неприкосновенность личности, жилища и т. д.

В краткой, ясной форме сформулированы и обязанности граждан СССР:

«Статья 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный труд в избранной им области общественно полезной деятельности...».

«Статья 61. Гражданин СССР обязан беречь и укреплять социалистическую собственность».

«Статья 62... Защита социалистического Отечества есть священный долг каждого гражданина СССР».

Понятнейшие категории, представляющие собой диалектическое двуединство без возможного в ряде случаев иного характера выбора, альтернативы, замены (или — или... и т. п.), подчеркиваются весомыми, полными значимыми словами, например:

«Статья 59. Осуществление прав и свобод не отделимо от исполнения гражданами своих обязанностей».

Дальше при изложении используется тот же прием градационного усиления слова повтором: «гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию...», «обязан беречь и укреплять социалистическую собственность. Долг гражданина СССР — бороться с хищениями...», «...обязан оберегать интересы Советского государства...», «долг и обязанность» и т. п. (разрядка везде наша. — Б. И.).

Во всех приведенных формулировках отражен советский стиль языкового изложения понятнейших категорий, стиль советского законодатель-

ства. Здесь сформулированы новаторские понятия как по содержанию, так и по языку, стилю изложения.

Как и другие главы текста Конституции, глава 8-я (раздел III — «Национально-государственное устройство СССР») «СССР — союзное государство» начинается статьей 70-й научно-теоретического характера, дающей характеристику нового типа государственного объединения. Фиксируется появление в истории человечества нового понятия, новой категории социального бытия, которой до его создания не было:

«Союз Советских Социалистических Республик — единое союзное многонациональное государство, образованное на основе принципа социалистического федерализма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик.

СССР олицетворяет государственное единство советского народа, «сплачивает все нации и народности в целях совместного строительства коммунизма».

Таким образом, и в этой части текста вводятся новые научно-теоретические социальные категории, сформулированные в словах: «единое многонациональное государство», «принцип социалистического федерализма», «равноправие республик» и др.

В составе единого союзного государства СССР находятся 15 союзных республик, 20 автономных республик, 8 автономных областей и 10 автономных округов. Создание такого государства определяется самой интернационалистической природой Советской власти, сплачивающей трудящихся всех наций и народностей в единую семью для общего созидания и борьбы против общих врагов. Но, как известно из исторического опыта, объединившиеся нации и народности не теряют и не потеряют своего национального лица. Происходит расцвет творческих сил наций и народностей на основе их сближения и выработки черт интернациональной общности, что и предвидел В. И. Ленин, когда говорил, что «высшие формы человеческого общежития, ...законные потребности и прогрессивные стремления трудящихся масс *всякой* национальности будут впервые удовлетворены в интернациональном единстве...»¹⁷.

Коммунистическая партия и Советское государство, осуществляя Ленинскую национальную политику, всесторонне заботятся о развитии и расцвете социалистической по содержанию, национальной по форме многонациональной культуры советского народа.

Само образование союзных республик, автономных республик и округов в едином государстве — СССР исходит как из общих интересов всего советского народа, так и из интересов каждого из образовавших это единство народов, учитывает особенности их исторического развития. Передовая статья газеты «Правда» под названием «Конституции союзных республик» (27 IV 1978) отмечает:

«Вступившие в силу важные политические документы разработаны в полном соответствии с Основным Законом страны, воплощают в себе богатый опыт государственного строительства, дальнейшее развитие социалистической демократии, великую силу нерушимого союза советских народов. В республиканских конституциях отражены принципиальные черты зрелого социалистического общества, имеющие общее значение. Вместе с тем принятые акты учитывают исторически сложившиеся особенности каждой из республик. В этом конкретно проявляются единство и преемственность конституционного развития СССР и его составных частей».

¹⁷ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 26, стр. 40.

Все эти аспекты, научные концепции изучения вопросов, принятие определенных решений по ним учитывают происходящие в жизни социальные процессы, характер различных общественных образований особенно при решении вопросов государственного устройства.

«В отличие от Союза ССР,— пишет Н. Фарберов,— буржуазные федерации представляют собой административное объединение территорий, не связанных с национальным составом населения, с границами расселения отдельных национальностей. Например, в США насчитывается 50 штатов, а основных национальных групп — не более 7; в Аргентине всего 2 национальные группы, а провинций — 22. Буржуазные федерации никогда не служили и не могут служить обеспечению национального равноправия»¹⁸.

Понятие национального равноправия, как известно, является острым вопросом для капиталистических и полукOLONиальных стран, где существующие в ряде конституций и законоположений пышные, но обманчивые формулировки о «правах человека», о равноправии и т. п. не подкреплены делом. За воплощение их в жизнь борются трудящиеся и угнетенные массы капиталистических стран.

В Советском Союзе, во всех странах социалистического содружества действительные права и свободы граждан этих стран записаны на скрижалях их конституций, ибо они являются реальной действительностью, завоеванием и достоянием народов этих стран. И они служат маяком, призывом для всех угнетенных народов.

Говоря об общих чертах языкового стиля каждой статьи, каждого абзаца, раздела нашей Конституции, следует отметить идейную насыщенность этого языка, этого стиля, стремление в законодательных, научно-теоретических формулировках, в точном, ясном, правдивом слове, в логико-лаконичном словосочетании, в понятийном, правдиво истолкованном термине, терминологическом словосочетании, фразеологизме закрепить новое, социалистическое бытие так, как оно создано народом, как оно осмыслено теоретической мыслью марксизма-ленинизма нашей эпохи.

Законодательный лаконизм выражения, строгость, краткость и ясность формулировки, и в то же время императивная законодательная тональность языка закона как стиля литературного языка, требующего наличия своих специфических черт выражения,— это требования к языку советского закона вообще, особенно к языку Основного Закона — Конституции. Ведь значение слова Конституции огромно. Диапазон его звучания — весь мир, ибо оно несет миру истину, свет, радость, мир.

III

Тема нашего исследования, как и его аспект, объявленный в заголовке, очевидно, обязывает нас подчеркнуть — наряду с такими объектами рассмотрения, как Конституция и язык, язык нашей Конституции и др., — также и непосредственно вопрос о языке в Конституции, т. е. те научно-теоретические основы и практические установления, в общественных и законодательных рамках которых функционируют, развиваются языки социалистических наций и народностей многонационального социалистического государства — Советского Союза.

Мы видим, что в тексте новой Конституции, как и в текстах 1918, 1924 и 1936 гг., нет терминологического словосочетания, выражающего

¹⁸ Н. Фарберов, Ленинские принципы национально-государственного устройства СССР, «Правда», 3 III 1978.

понятие «государственный язык». В советской науке и общественной практике это понятие было снято научно-теоретическими работами, политической борьбой против антимарксистских утверждений о «государственном языке», которую вели В. И. Ленин и Коммунистическая партия; оно было снято практикой национально-языкового строительства в Советской стране, бурным развитием равноправных языков всех народов и народностей СССР.

В ряде статей новой Конституции именно при изложении понятий равенства граждан, равноправия их во всех сферах материальной, социальной и духовной жизни привлекается наряду с другими и категория языка как яркий, несомненный аргумент, факт существующей в нашей стране реальной действительности.

Например:

«Статья 34. Граждане СССР равны перед Законом независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии...» и т. д.:

«Статья 36. Граждане СССР различных рас и национальностей имеют равные права.

Осуществление этих прав обеспечивается... (в том числе.— *Б. И.*)... возможностью пользоваться родным языком и языками других народов СССР»;

«Статья 45. Граждане СССР имеют право на образование.

Это право обеспечивается... (в том числе.— *Б. И.*)... возможностью обучения в школе на родном языке»;

«Статья 116. Законы СССР, постановления и иные акты Верховного Совета СССР публикуются на языках союзных республик за подписями Председателя и Секретаря Президиума Верховного Совета СССР»;

«Статья 159. Судопроизводство ведется на языке союзной или автономной республики, автономной области, автономного округа или на языке большинства населения данной местности. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право полного ознакомления с материалами дела, участие в судебных действиях через переводчика и право выступать в суде на родном языке».

Так обеспечиваются законодательно, конституционно права народов на их родные языки во всех сферах их функционирования.

В выступлении товарища Л. И. Брежнева на заседании Президиума Верховного Совета СССР 17 мая 1978 г. по вопросу — итоги работы по подготовке и принятию новых конституций союзных республик подчеркивается:

«Наша партия всегда с должным вниманием и уважением относилась и относится к национальным особенностям. В то же время, следуя ленинским заветам, она настойчиво воспитывает трудящихся в духе нетерпимости к национальной ограниченности и кичливости»¹⁹.

*

Наша Конституция, как мы видим, очевидно, с целью устранить всякую тень возвышения одного из языков, не ввела, по нашему мнению, и признанного всеми народами СССР понятия «язык межнационального общения». Известно, что языком межнационального общения, единения и дружбы, добровольно избранным народами СССР как осознанная

¹⁹ Заседание Президиума Верховного Совета СССР, «Правда», 17.V 1978.

необходимость и полезность для самих этих народов, является русский язык, с честью выполняющий это свое призвание.

Народы Советского Союза, языки которых в своем развитии и совершенствовании получили от русского языка большую помощь, в частности и при создании текстов Конституции республик на языках этих республик, народы мира высоко ценят красоту и силу русского языка, его роль в развитии мирового прогресса, в единении всех прогрессивных сил народов мира, языка, который высоко ценит и принимает для своего обогащения языковые ценности и других народов мира. В этом диалектическом единстве его социальная, научная и эстетическая сила.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

ГОРБАЧЕВИЧ К. С.

СЛОВАРЬ И ЦИТАТА

(о рационализации иллюстрирования слов и значений во втором издании Семнадцатитомного словаря)

Нет нужды доказывать, что задачи научной лексикографии не могут быть разрешены без достаточной материальной базы, т. е. картотеки цитат, извлеченных из различных по жанру авторитетных источников. Причем во многих словарях цитаты служат не только основной опорой в процессе семантической разработки слова, но и, так сказать, эксплицитно представлены в словарных статьях. Такие документированные примеры часто содействуют лучшему осмыслению значения слова, убеждают читателя в объективности толкования и стилистической квалификации. Примеры (цитаты и речения) составляют ту необходимую, органическую часть словарной статьи, без которой, по известным словам Вольтера, словарь становится скелетом.

Нельзя, однако, не согласиться и с тем, что степень насыщенности словаря примерами и выбор их (цитаты или речения) не могут быть одинаковыми для всех словарей и зависят как от объема, так и, главным образом, от типа словаря. Естественно, что исторические словари в качестве примеров прибегают только к документированным текстам, а словари нормативного типа обычно используют оба вида иллюстраций (цитаты и речения) в разных пропорциях.

Семнадцатитомный «Словарь современного русского литературного языка» (М. — Л., 1948—1965; далее — БАС¹), вышедший в первом издании как словарь смешанного, нормативно-исторического типа, по степени насыщенности цитатами уступает лишь некоторым всемирно известным словарям исторического характера. В БАС¹ содержится более 320 000 цитат. В среднем, если не считать трех первых томов, составленных по алфавитно-гнездовому принципу, на каждое слово (кроме отсылочных) приходится около 3,2 цитаты. Значительно меньше в словаре авторских речений. Для сравнения приведем такие цифры: в словарной статье к предлогу *За* — 182 цитаты и 30 речений, к глаголу *Идти* — 330 цитат и 15 речений, к существительному *Рука* — 254 цитаты и 1 речение, к глаголу *Стоять* — 139 цитат и 8 речений, к существительному *Ум* — 120 цитат и 2 речения, к местоимению *Что* — 229 цитат, речений нет.

По степени насыщенности цитатами последние тома БАС¹ приближаются к Большому Оксфордскому словарю, который в качестве исторического словаря регистрирует словарный запас английского языка с XII в. (в нем приводятся цитаты на каждый столетний период развития слова, его словник насчитывает 414 825 статей, в словаре приведено 1827 305

цитат)¹. Что же касается Словаря Уэбстера в издании 1961 г. (и в этом издании он остается толковым словарем с исторической перспективой), то при составе словника — 462 164 слова в нем содержится 99 370 цитат и около 100 000 авторских речений², т. е. в среднем 1 цитата на 5 слов (напомним, что в БАС¹ в среднем 3,2 цитаты на 1 слово). Примечательно, что совершенно иные (нежели в БАС¹) пропорции в соотношении цитат и авторских речений обнаруживаются в большом и весьма богато иллюстрированном Словаре французского языка Э. Литтрэ³. Например, словарная статья к прилагательному *Froid* «холодный» насчитывает 45 цитат (16 цитат — на период XII—XVI вв.), но зато более ста авторских речений (причем не только на прямые значения слова: *холодный ветер, холодный климат, холодная ванна, холодная квартира, у него холодные руки, холодная одежда* и т. п., но и на переносные: *холодное сердце*, и на специальные: *этот рисунок правильный, но холодный* и т. п.). В БАС¹ к прилагательному *Холодный* приведено 215 цитат (т. е. почти в пять раз больше) и 6 речений, хотя по степени семантической разработки (количество значений и оттенков) словарные статьи на *Froid* и *Холодный* примерно совпадают.

Принятое в БАС¹ правило цитатной «триады» (каждое значение и даже оттенок иллюстрируются, как правило, тремя цитатами разного периода), призванное осуществить принцип историзма и оправдать введение слова в словарь, привело к помещению значительного количества цитат, лишь констатирующих применение того или иного слова в художественной литературе. Заметим, кстати, что роль случайных литературных фиксаций при показе истории слова весьма ненадежна. Возникает вопрос, так ли необходимо документированно оправдывать введение в словарь, например, слов *стол* и *стул* или доказывать каждый раз тремя цитатами (*стол* — Пушкин, Писемский, Жаров; *стул* — Пушкин, Тургенев, Емельянова) наличие у этих слов прямых, номинативных значений (род мебели)? Думается, что многие приведенные цитаты (например: *Встает со стула старый князь. Пушкин, Руслан и Людмила; Посредине комнаты на стуле сидел крупный, широкоплечий человек в коротком белом халате. Емельянова, Восьмоголюбители*) могли бы быть без потери существенной словарной информации преобразованы в речения: *встать со стула, сидеть на стуле*. Нужна ли цитатная «триада» при таких однозначных словах с предметным значением, как *ветчина* (Болотов, Карамзин, Кольцов), *чайник* (Пушкин, Достоевский, Паустовский), *укроп* (Гл. Успенский, Чехов, М. Горький) и т. п.? Сомнительна полезная отдача, например, цитаты Гл. Успенского, занимающей к тому же около половины площади словарной статьи, при слове *укроп*: *Бабы-огородницы, чтобы сберечь капусту, укроп и т. д. против нападения воробьев, ворон и галок, наряжают чучел на своих огородах в старые чиновничьи фраки. Гл. Успенский, Семениха*.

Следует заметить, что приведение трех и даже четырех (часто иностранных) цитат при разного рода производных словах, имеющих в БАС¹ сокращенные, типовые определения (например: *Угодница*: Женск. к *угодник*. Цитаты: Вигель, Белинский, Добролюбов, Некрасов; *Упрямыя*. Женск. к *упрямец*. Цитаты: Жуковский, Чернышевский, Достоевский;

¹ «The Oxford English Dictionary», I—XII with supplement and bibliography, Oxford University Press, 1933. Цифровые данные см.: Л. П. С т у п и н, Современные английские и американские толковые словари, «Ин. яз. в шк.», 1968, 2, стр. 68.

² «Webster's Third New International Dictionary of English Language», Springfield, 1961. Цифровые данные см.: П. Н. Д е н и с о в, Основные проблемы теории лексикографии. ДД, М., 1976, стр. 207.

³ E. L i t t r é, Dictionnaire de la langue française, 1—4, Paris, 1885.

Рублик. Разг. Уменьш.-уничиж. к рубль. Цитаты: Некрасов, Чехов, Гладков; **Собачица.** Разг. Увелич. к собака. Цитаты: Писемский, Репин, Гладков), нередко «съедает» до 80—85% производственной площади словарных статей.

Не везде оправданная загруженность БАС¹ цитатами была уже давно отмечена критикой. Еще в 1957 г. А. П. Евгеньева замечала: «Объем Словаря увеличивается за счет ненужных повторений, обильного и не всегда целесообразного иллюстрирования»⁴. В Инструкции 1958 г. подчеркивалось, что «излишество примеров не объясняет язык, а обременяет Словарь»⁵. «Далеко не всякое значение, а тем более слово, — отмечает в Проспекте 1971 г. А. М. Бабкин, — требует оправдательной цитаты или даже нескольких цитат. Иначе в словаре появляется ненужная, а порой и вредная хрестоматийность»⁶. Нельзя не согласиться с мнением латышского лексикографа К. А. Карулиса, который пишет следующее: Думается, что иллюстративная сторона в Семнадцатитомном словаре представляет компромисс между чисто лингвистическим и литературным словарем. Я вовсе не считаю, что литературный аспект должен быть полностью вычеркнут из словарей... Но в настоящее время предметом нашего обсуждения является лингвистический словарь, в котором цитата имеет только подчиненную роль... Не следует документировать то, что ясно и неоспоримо для каждого; также нет надобности поэтическими средствами в длинном контексте дублировать то, что лексикограф может высказывать кратко и конкретно»⁷.

Возможно, эти здравые соображения о нецелесообразности излишнего цитирования и не имело бы смысла приводить, если бы в процессе составления томов БАС¹ не произошло, на первый взгляд, странного явления, а именно: после отмеченной критикой загруженности цитатами 4-го тома в последующих томах (особенно — в завершающих) насыщенность словарных статей цитатами не уменьшилась, а, наоборот, возросла. Хотя насыщенность цитатами, естественно, зависит от наличия семантически емких слов, значительный общий прирост количества цитат в БАС¹, тем не менее, весьма показателен. Соотношение числа слов и количества цитат по отдельным томам в БАС¹ приводится в таблице (стр. 17).

Загруженность цитатами завершающих томов БАС¹ объясняется, видимо, следующими причинами. Во-первых, к середине 50-х годов картотека пополнилась значительными лексическими материалами, и само расширение ассортимента ярких цитат усиливало искушение показать употребление слова в различных и разнообразных документированных контекстах художественной речи. Эта же причина незаметно подталкивала составителя к малооправданному энциклопедизму и показу посредством цитат сведений о предмете, эпохе и т. п. Например, к слову **Рубль** в первом значении приводится даже не три, а четыре цитаты, две из которых имеют выраженную предметно-историческую направленность. Ср.: *В те времена жалованье в полку получалось в бочонках золотыми и преимущественно серебряными рублями.* Фет, Ранние годы моей жизни. *Рубли были разные, некоторые были стертые и блестящие, некоторые с крестами, а другие старые, с орлами и Петром I.* Репин, Впечатления детства. С другой

⁴ А. П. Евгеньева, О некоторых лексикографических вопросах, связанных с изданием Большого словаря современного русского литературного языка АН СССР, «Лексикографический сборник», II, М., 1957, стр. 73.

⁵ «Инструкция для составления „Словаря современного русского литературного языка“ (в пятнадцати томах)», М.—Л., 1958, стр. 59.

⁶ А. М. Бабкин, Новый академический словарь русского языка. Проспект, Л., 1971, стр. 31.

⁷ К. А. Карулис, К новому изданию Академического словаря русского языка, «Современная русская лексикография. 1976», Л., 1977, стр. 194.

Том и буквы	Кол-во цитат в томе	Кол-во слов в томе (не считая отсылочных)	Среднее кол-во цитат на 1 слово	Кол-во уч.-изд. листов
1 (А, Б)	около 6000	5989	1	61,8
2 (В)	» 15 000	7844	1,9	98,3
3 (Г, Д, Е)	» 12 000	8349	1,4	96,7
4 (Ж, З)	» 18 000	6637	2,7	98,2
5 (И, Й, К)	» 23 000	9388	2,4	138,6
6 (Л, М)	» 19 000	6924	2,7	105,6
7 (Н)	» 19 000	8473	2,4	106,9
8 (О)	» 26 000	9867	2,7	133,5
9 (П)	» 19 000	6615	2,9	110,7
10 (П)	» 23 000	7290	3,1	132,4
11 (П)	» 23 000	8996	2,6	137,9
12 (Р)	» 22 000	6270	3,5	124,1
13 (С)	» 21 000	5848	3,6	113,9
14 (С)	» 19 000	5020	3,8	103,7
15 (Т)	» 19 000	4005	4,7	95,7
16 (У, Ф)	» 21 000	5484	3,8	119,7
17 (Х—Я)	» 28 000	7724	3,7	158,3

стороны, появилась возможность всякий раз подтверждать цитатами различные (и часто речевые, а не языковые) формальные модификации слова. Например, просторечное и фонетически неустойчивое выражение *Тары-бары* иллюстрируется одиннадцатью цитатами (преимущественно из прямой речи малограмотных персонажей), в которых скрупулезно прослеживается малейшая трансформация: *тара-бары*, *тара-бара* и т. д.

Во-вторых, критика некоторых неудачных составительских речений в 4-м томе на время как бы скомпрометировала этот способ иллюстрирования как таковой. Создается впечатление, что составительские речения в завершающих томах БАС¹ становятся как бы вынужденным примером иллюстрирования, т. е. применяются только при отсутствии цитаты. Этому в известной степени способствовала сдержанная формулировка роли авторских речений в Инструкции 1958 г., где их подбору уделен лишь один параграф общего содержания.

Неэкономичность сверхобильного цитирования усугубляется еще и тем, что многие беллетристические цитаты содержат в себе такое количество избыточной информации, что она, занимая большую часть полезной площади, не только не способствует толкованию слова, но и отвлекает внимание читателя от существа дела. Например, при слове *Рагу* после определения и типичного речения *Овощное рагу* приводится, на мой взгляд, избыточная цитата: *Достаешь из кармана сотнягу деньгу. В зале моментально прекращается гул. На тебя облизываются, как на баранье рагу.* Маяковский, Стих резкий о рулетке и железке. При втором значении слова *Стенка* («боковая сторона какого-либо вместилища, полового предмета») приводится такая цитата: [Раиса Павловна] *лежала на кушетке против огня, наслаждаясь переливами... огненных языков, лизавших закопченные стенки камина.* Мамин-Сибиряк, Горное гнездо. К одному из оттенков слова *Очередной* «повторяющийся время от времени», помимо речения *Очередная ссора*, приводится цитата: *Фуражир, почуя какую-то очередную сенсацию, завязал тесемки ватника, потряхнул фуражку, надел ее так, чтобы сбоку лихо торчал пегий чуб.* Первенцев, Кочубей. Очевидно, что преобразование этих пространных цитат в типичные речения (*баранье рагу*, *стенки камина* и т. п.), устранило бы част-

ные, беллетристические подробности, сохранив необходимую лингвистическую информацию.

Дело, однако, не только в неэкономичности многих цитат, неизбежно привносящих в словарь элементы индивидуальной речевой ситуации. Применение цитат из художественной литературы таит в себе и другую опасность.

Как известно, для художественной речи с ее установкой на выражение характерны смысловые приращения, семантические обертоны, возникающие на основе необычных, даже неповторимых ассоциаций. Слово в художественной речи часто получает особый дополнительный смысл, уловить который можно только из широкого контекста. Поэтому цитирование в словаре, с одной стороны, как будто исключает субъективизм автора-составителя, но, с другой стороны, грозит незаметно привнести субъективизм писателя, автора цитаты. В принципе цитата в словаре должна соответствовать той информационной задаче и тому обобщающему уровню, которые характерны для словарного определения. Однако на практике не всегда легко (особенно в короткой картотечной цитате) увидеть то смысловое преобразование, то скрытое значение, которое имеет конкретное слово в конкретном художественном тексте.

В результате нередко появляется противоречие между обобщенным словарным определением (с его установкой на сообщение) и скрытым, индивидуальным смыслом слова в цитате (с ее установкой на выражение). Иллюзия адекватности разрушается при обращении к более широкому контексту. Например, в БАС¹ к слову **Ураган** в первом значении («ветер большой разрушительной силы, сильная буря») приводится цитата: *Но не бойся: пронесся давно ураган, И тяжелая ночь уж проходит.* Добролюбов, Поэту. Однако в данном случае Н. А. Добролюбов употребил слово *ураган* в иносказательном смысле. Это стихотворение написано в 1856 г., когда сблизившись с Н. Г. Чернышевским и начав печататься в «Современнике», поэт жил предчувствием крестьянской революции и символически отразил в стихах конкретную обстановку общественно-политической жизни России. Поэт верит, что после «ночи», и «урагана» взойдет «лучезарное солнце» («И людей разбудивши, живительный луч Их поднимет на дело благое»). В числе цитат к слову **Трясина** в значении «зыбкое, топкое место в болоте, поросшее ярко-зеленой травой и мхом» приводится: *Не увлекайся, о неопытный путник! манящею наружностью зеленого ковра, покрывающего трясины! Не успеешь ты поставить на него ногу, как трясина уж засосет тебя.* Салтыков-Шедрин, Сатиры в прозе. Эзоповский язык М. Е. Салтыкова-Щедрина вообще нелегко укладывается в рамки словаря общелитературного языка. В данной сатире несколькими строками ниже писатель возвращается к образу «ковра» и «трясины» и пишет: *Надо без оглядки бежать из этой страшной среды, чтоб не засосется в ней... Повторяю: не доверяй слишком опрометчиво, о, неопытный путник, манящей наружности зеленого ковра, покрывающего сило трясины. Ковер — это распухшая от водки рожа глуповца; трясина — это исполненная ехидства душа его!* Правда, малый контекст, приведенный в словаре, соответствует прямому значению слова *трясина*, но вряд ли есть необходимость применять в данном случае цитату с сатирическим подтекстом. Думается, она могла бы быть заменена без потери словарной информации типичными речениями: *попасть в трясины, завязнуть в трясине, выбраться из трясины* и т. п.

Неоднократно отмечалось, что гипноз авторитетных имен может исказить реальную характеристику слова с точки зрения общезыковых норм. В БАС¹ немало случаев, когда индивидуально-авторское словоупотребление принимается за факт русского литературного языка. Так,

впервые вводится в словарь наречие **Владычно** на основе единичного и образного применения у М. Горького: *Владычно обнимет меня неподвижная тишина*. Мои Университеты. Исходя из единственной цитаты Ф. М. Достоевского, слову **Вертуи** приписывается значение — «непостоянный в суждениях человек». Во многих цитатах встречаются ненормативные словоформы или словосочетания, не относящиеся к иллюстрируемому слову и потому остающиеся без стилистического комментария. Например: *взошел мальчик* (Лермонтов) — при **Визитный**, *наговорили об нем* (Герцен) — при **Ваш** и т. п. Цитата в нормативном словаре призвана не только содействовать лучшему осмыслению значения слова, показывать область его применения, но и сама (со всех сторон!) должна быть образцом словоупотребления с точки зрения современных языковых норм. Эта установка препятствует, например, включению в словарь при слове **Воспоминание** в значении «то, что хранится в памяти; запас впечатлений» даже известной пушкинской цитаты: *Была ужасная пора, Об ней свежо воспоминанье...*, так как в этом тексте содержится устарелое и теперь уже ненормативное сочетание *об ней*.

Таким образом, наряду с положительными сторонами цитирования (авторитетность и документированность текста, раскрытие значения слова и его стилистических особенностей), этот прием иллюстрирования в словаре нормативного типа имеет и свои недостатки (неэкономичность, избыточность конкретных сведений экстралингвистического характера, возможность семантического приращения, т. е. скрытого смысла слова, наличие устарелых или ненормативных сопутствующих слов, форм и сочетаний). Все это особенно дает себя знать при загроможденности словаря цитатами, лишь констатирующими применение слова в художественной литературе.

В настоящее время ведется работа по переизданию Семнадцатитомного словаря. Хотя БАС² сохраняет основные принципы описания лексики русского литературного языка, новое издание не является, так сказать, фототипическим и предполагает не только исправление ошибок, но и некоторые изменения более общего характера. Пожалуй, наиболее существенным преобразованием, наряду с актуализацией словника, служит усиление принципа нормативности, что состоит, главным образом, в пересмотре нормативных характеристик слов и форм под углом зрения современного восприятия речевых фактов и в соответствии с современной теорией нормы. Укрепление же принципа нормативности естественно приведет к ослаблению историзма в БАС². В статье «О новом издании „Словаря современного русского литературного языка“» говорится: «...следует подчеркнуть, что этот словарь не будет историческим. Для создания исторического словаря, в котором полностью была бы показана история огромной массы слов, их значений, грамматических форм, словосочетаний, стилистических окрасок и т. п., время еще не настало. Установка на историзм, сформулированная в предисловии к первому изданию, оказалась неоправданной и невыполнимой. В БАС будут представлены только элементы историзма...»⁸.

Устранение принципа историзма в БАС² делает необязательной, а порой и просто излишней историческую цитатную «триаду» (тем более, что, как уже отмечалось, фиксация применения слов в художественной литературе XIX в. не может претендовать на роль исторического описания). Отмена правила, согласно которому к каждому значению слова, к каждому оттенку приводилось по три цитаты, будет способствовать значительному и рациональному сокращению общего количества цитат

⁸ Ф. П. Филин, Ф. П. Сороколетов, К. С. Горбачевич, О новом издании «Словаря современного русского литературного языка» (в семнадцати томах), ВЯ, 1976, 3, стр. 6.

в БАС². В аспекте нормативности нет необходимости иллюстрировать тремя цитатами прямые, номинативные значения слов с предметным содержанием (например, *стол, стул, чайник, укроп, уклейка* и т. п.). Иллюстративный материал при таких словах может быть подан комбинированным способом: в виде типовых речений и одной-двух семантизирующих, т. е. раскрывающих смысл слова, цитат. Примеры же, лишь констатирующие применение в художественной литературе общеизвестных слов в прямых номинативных значениях, только обременяют словарь нормативного типа и в этом смысле являются лексикографическим пережитком. Это, естественно, не распространяется на производные (переносные, фразеологически связанные, конструктивно обусловленные и др.) значения слова, образное употребление и т. д. (подробнее см. ниже).

Нельзя не отметить, что уменьшение количества цитат и, наоборот, увеличение количества составительских примеров (словосочетаний и фраз) характерно для развития западноевропейской лексикографии. Например, во втором издании Словаря Уэбстера (1934, 1953) к слову *Soul* «душа» приводится 10 литературных цитат, в третьем издании (1961) — 7 цитат; слово *Man* «человек» имело 8 цитат, в третьем издании — лишь 2 цитаты. Вместо цитат, даже к производным значениям слова *man* приведены составительские примеры-фразы, например: *он был ее человеком* (= мужем), *партизан было свыше 7000 человек* (= бойцов). Авторы Словаря современного французского языка⁹ отказались как от цитат, так частично и от примеров-моделей (например, от словосочетаний с глаголом в инфинитиве), прибегая, главным образом, к полным высказываниям собственного сочинения. В числе таких фраз, например, к слову *Froid* «холодный» приводится: *Это пальто слишком холодно* (= легко) *для зимы*. В. Г. Гак отмечает, что во французской лексикографии «стало традицией иллюстрировать значение слов целыми фразами из живой современной речи»¹⁰. В Стилистическом словаре немецкого языка¹¹ нет ни одной литературной цитаты. Зато в этом одномтомнике приводится более 100 000 примеров употребления слова во фразе и стилистическая оценка не только самого слова (или значения), но и словосочетания. Например, в словарной статье к слову *Sonne* «солнце» даются такие примеры: *яркое, блестящее, сияющее, золотое* (поэт.) *С<олнце>*; *жаркое, раскаленное, горящее, палящее* *С<олнце>*; *луч* *С<олнца>*, *С<олнце> смотрит сквозь тучи*; *С<олнце> улыбается* и т. п. Всего приведено 80 примеров. Для сравнения укажем, что в БАС¹ при слове *Солнце*, если считать сочетание за ромбом (например: \diamond *Восход солнца*) и подтверждающую цитату (с этим же сочетанием) за один пример, приведено около 50 примеров¹².

Думается, что в БАС², ориентированном на усиление принципа нормативности и отстраняющем принцип историзма, значительно большую роль (чем в БАС¹) могут сыграть составительские речения, воспроизводящие типичные предметно-языковые связи и отвечающие современным нормам сочетания слов. Нельзя не прислушаться и к пожеланиям читателей, потребителей словаря. Например, Э. Ю. Нурм в заметке под названием

⁹ «Dictionnaire du français contemporain», par J. Dubois [ets], Paris, 1966.

¹⁰ В. Г. Гак, Сопоставительная лексикология, М., 1977, стр. 5.

¹¹ «Duden. Stilwörterbuch der deutschen Sprache», Mannheim, 1970.

¹² Следует заметить, что в БАС¹ немало избыточных цитат, подтверждающих свободные типичные связи слов, уже указанные в словарной статье за знаком \diamond (ромб). Например, при слове *Свеча* за знаком \diamond *Восковая, стеариновая* и т. п. с в е ч а. Затем приводится цитата с этим же сочетанием. При слове *Стол* за знаком \diamond приводятся сочетания: *Обеденный с т о л*, *Письменный с т о л*, которые ниже иллюстрируются цитатами, содержащими эти же сочетания. Подобные лексические связи (сделанный, изготовленный из чего-л.; предзначенный для чего-л.) целесообразнее и рациональнее показывать в виде авторских речений, а не посредством сочетаний за ромбом с цитатами.

«Больше речений» пишет: «Будем надеяться, что в подготовляемом Словарным сектором Института русского языка новым изданием словаря наши претензии будут учтены и словарь расширит показ типичного употребления слов, уделяя в словарных статьях больше места речениям...»¹³.

Что касается речений-словосочетаний, то едва ли нужно доказывать, что это весьма экономный и неоднократно практиковавшийся прием иллюстрирования слов. Речения-словосочетания особенно уместны и эффективны при относительных и качественных прилагательных (*волейбольный мяч, волейбольная площадка, волейбольная команда; калорийное топливо, калорийная пища; выразительный взгляд*), при многих производных от них словах (*поэтичность речи, конспективность изложения, выразительно петь, читать*), при словах терминологического характера (*показатель индикатора, иннервация сердца, полимерные материалы, рефлекторная реакция*) и т. д.

Сложнее обстоит вопрос, насколько правомочно применение в словарях составительских примеров-фраз. На этот счет высказывались разные мнения. Например, Ф. И. Буслаев резко осуждал этот лексикографический прием. «Желательно было бы,— писал он,— как закон выставить на вид предостережение, чтобы примеры ни в коем случае не выдумывались составителями словаря, как это часто встречается...»¹⁴. Неоднократно подвергались критике неудачные, искусственные речения-фразы (например: *пол неряшливо заплывывается*), хотя критика отдельных примеров вовсе не означает неприемлемости самого способа иллюстрирования. Как уже было показано выше, примеры-фразы находят весьма широкое применение в современной западноевропейской лексикографии¹⁵. Не отвергается этот лексикографический прием и в известной книге Х. Касареса. «Лишним, на наш взгляд,— замечает Х. Касарес,— является положение о том, что „речение“ не должно образовывать законченного предложения»¹⁶.

Как бы то ни было, и в 4-м томе БАС¹, и в последующих томах время от времени применялись фразовые речения (которые до сих пор не вызывали критических замечаний). Приведем лишь некоторые: *Залепляться. Трещина залепляется воском. Звукопроводность. Дерево в сухом состоянии обладает хорошей звукопроводностью. Каймиться. Малиновые обои каймятся золотом. Маловыразительный. Сочинение написано маловыразительным языком. Накатываться. После выстрела орудие накатывается на прежнее место. Нейтрализоваться. Щелочи нейтрализуются кислотами. Окаймляться. Бекеша окаймлялась мехом. Слеза. Глаза полны слез. Слезы брызнули из глаз. Стоять. Цветы стоят в вазе. Стол стоит у окна. Мост стоит на сваях. Сходить. Позолота сходит. Точка. В математике операция умножения обозначается точкой. Юг. Стрелка компаса показывает север и юг.*

Вот несколько примеров-фраз, которые, наряду со словосочетаниями и цитатами, приведены в подготовляемом 2-м томе БАС²: *Вдаваться. Мыс вдается далеко в море. Вкапываться. Быццы вкапываются в землю. Вдали. Вдали прозвучал выстрел. Висеть. Люстра висит под потолком. Зеркало висит в прихожей. На двери висит объявление.*

Преимущество этих примеров-фраз (составленных, как правило, на основе повторяющихся текстов) не только в том, что они короче, экономич-

¹³ Э. Ю. Н у р м, Больше речений, сб. «Современная русская лексикография. 1976», Л., 1977, стр. 203.

¹⁴ Ф. И. Б у с л а е в, Мнения о новом издании русского словаря, СПб., 1854, стр. 58.

¹⁵ См. также: П. Н. Д е н и с о в, Основные проблемы теории лексикографии. ДД, М., 1976, стр. 330.

¹⁶ Х. К а с а р е с, Введение в современную лексикографию, М., 1958, стр. 179.

нее, чем литературные цитаты. Эти типичные (стандартизированные) фразы освобождены от излишних подробностей и экспрессивных коннотаций, столь свойственных художественной речи. Для словаря безразлично, как называется мыс и как именуется море, в которое он далеко вдается. Совершенно не обязательны сведения о форме зеркала или о величине прихожей, в которой оно висит. Более того, эти частные подробности нередко препятствуют созданию единого обобщающего уровня между определением слова и иллюстрацией его употребления. Особая же приуроченность, исключительность цитаты¹ может внести даже некоторое несоответствие, некий диссонанс, так как типические, обобщенные признаки, отражаемые в определении, оказываются в этом случае искусственно соединенными с экстраординарным содержанием в иллюстрации.

Так, например, в БАС¹ второе значение глагола *Усеивать* («покрывать, заполнять чем-либо всю поверхность чего-либо») подкрепляется такой цитатой: *Я знал многих курьеров, которые буквально усеяли дороги ямщицьи ми зубами.* Салтыков-Щедрин. Помпадур и помпадурши. Сатирическая гиперболизация и четкая социально-историческая приуроченность этой цитаты очевидны. Думается, на ее месте была бы более оправдана пушкинская цитата: *О поле, поле, кто тебя Усеял мертвыми костями?* (Руслан и Людмила).

Однако известные преимущества речений и типовых фраз для иллюстрирования некоторых объектов нормативной лексикографии никоим образом не означают ненужности литературных цитат в большом словаре, особенно в таком, который, подобно БАС², является сокровищницей родного слова. Поэтому речь в данном случае идет вовсе не об освобождении БАС² от цитат из художественной литературы, а о рациональном ограничении этого приема иллюстрирования (причем в первую очередь имеется в виду устранение констатирующих цитат при прямых, номинативных значениях, где свободные лексические связи могут быть отражены посредством набора типичных словосочетаний).

Польза же и целесообразность семантизирующих цитат (т. е. действительно помогающих осмыслению слова и не содержащих скрытых семантических приращений) очевидна и не подвергается сомнению. В этом случае обычно конкретные содержательные подробности цитаты включаются в определение, дополняют его и конкретизируют общее понятие. Ср., например, цитату при слове *Масленица*: *Они хранили в жизни мирной Привычки милой старины, У них на масленице жирной Водились русские блины.* Пушкин, Евгений Онегин. Подобные цитаты несомненно сохраняются и в БАС².

Можно было бы наметить целый ряд слов и значений, для которых введение литературных цитат не только желательно, но подчас и необходимо: 1) при словах (или значениях) устарелых, устаревающих, свойственных поэтической речи XIX в.; 2) при оценочных словах с эмоционально-экспрессивным содержанием; 3) при сравнительных оборотах и словах, употребляемых обычно в стилизованной, а также шутливой, иронической и т. п. речи; 4) при переносных и распространительных значениях и образных употреблениях слова; 5) при разговорно-просторечной и областной лексике; 6) при лексике, свойственной народнопоэтической речи, и при словах, употребляющихся теперь для воссоздания народно-крестьянского колорита; 7) при фразеологии; 8) при лексических и семантических неологизмах; 9) при колебании грамматических и акцентологических норм и т. д.

Эти соображения, естественно, не имеют инструктивного характера. Вероятно, и для некоторых из указанных разрядов слов при предпочтительности иллюстрирования цитатами могут использоваться и речения

(словосочетания или фразы). Тем более, что и БАС¹, не говоря о западно-европейских словарях, содержит примеры применения речений при словах (или значениях слов) с пометами *перен.*, *разг.* и даже *простореч.* Например: *Идти... // Перен.* Передаваться на заключение, утверждение и т. п. *Проект идет на утверждение директора. Каннибализм... 2. Перен.* Зверство, варварство, жестокость. *Каннибализм нравов. Лягнуть... Простореч.* Лягнуть камнем в окно. *Месткомовский... Разг. Месткомовская смета. Мотовски, нареч. Разг. Мотовски расходовать деньги. Наслюнивать... Разг. Наслюнивать марку. Поднашивать... Разг. Одежда подносилась. Расхлябанный... 2. Перен.* Нетвердый, шатающийся, вертлявый. *Расхлябанная походка. Стоять... // Разг.* Существовать, храниться, оставаясь неизменным, не теряя своих качеств. *Варенье может стоять долго.*

Встречаются речения при стилистически окрашенных словах и в подготовленных частях БАС². Только речения, естественно, используются при отсутствии подходящего цитатного материала. Например: *Вбухать... Прост.* Всыпать, влить, вложить во что-л. сразу в большом количестве. *Вбухать соли в суп. Вверзиться... Прост.* Упасть во что-л., ввалиться. *Вверзиться в грязь.*

Думается, однако, что наиболее рациональным и эффективным приемом иллюстрирования слов и значений в большом словаре нормативного типа является комбинация нескольких типичных речений с одной-двумя цитатами.

Например, к слову *Веки* в БАС¹ было приведено 4 цитаты (Гоголь, Чехов, Б. Полевой, Первенцев). При подготовке нового издания число цитат сокращено до 2, а количество речений увеличено до 7. В результате словарная статья к слову *Веки* приобрела следующий вид:

Ве́ки, в е к, мн. (ед. в ё к о, а, ср.). Подвижные складки кожи вокруг глаз, служащие для защиты глазного яблока. *Нижнее, верхнее веко. Вспухшие, покрасневшие веки. Опустить, сомкнуть, смежить веки.* [□] *Павел Васильевич сделал усилие, чтобы разомкнуть напряженные, слипающиеся веки.* Чех. Драма, *Глаз раненого наполнился влагой, и, когда он прикрыл веко, на щеку скользнула капля.* Первенц. Огнен. земля, 27.

— Срезневский: в ѣ к о; Поликарпов, 1704; в ѣ к о.

Устранение двух цитат с одновременным увеличением количества типичных словосочетаний, на наш взгляд, не обеднило лингвистическую информацию о толкуемом слове. Наоборот, комбинация речений и цитат позволила значительно расширить показ реальных лексических связей слова. В то же время общий объем словарной статьи к слову *Веки* сократился на 35%, причем, главным образом, за счет беллетристических подробностей, относящихся к индивидуальной речевой ситуации.

Конечно, и комбинированный прием (соединение речений и цитат) не может служить универсальным методом иллюстрирования. Практика показывает, что приведение речений ко многим словам и значениям является искусственным и нежелательным. Поэтому только цитатами иллюстрируются в БАС² такие слова, как *Вальяжный, Вдовица, Ведро, Ветрило, Ветхость, Вечность, Вечор, Вещать, Вещий, Воин* и др.

Однако и в этих случаях возможна разумная экономия в подборе цитат и сокращении текста внутри цитаты. Так, например, словарная статья к слову *Вещий* в БАС², сохраняя прежнюю степень семантической разработки, содержит 10 цитат и, несмотря на это, на 20% короче словарной статьи в БАС¹:

Вещи́й, а я, е е. 1. Предвидящий, предсказывающий будущее; проникающий в тайны жизни, природы (употр. обычно в поэт. или стилизован. речи). *Отверзлись вещи зеницы, Как у испуганной орлицы.* Пушкин. Пророк. *Одни уважают в нем человека справедливого, верного, искателя правды, дру-*

гие, в особенности женщины, чтут его, как вещего старца, колдуна. Шшк. Таежн. волк. * Но слишком рано твой ударил час И вещее перо из рук упало. Какой светильник разума угас! Какое сердце биться перестало! Некр. Пам. Добролюбова. ◇ В е щ е е слово, в е щ и е слова. [Бертье:] Сейчас он [Наполеон] скажет вещие слова, как сказал в Египте о сорока веках, смотрящих с вершины пирамид. Трен. Полководец, 1, 2. ◇ В е щ и й сон. Сон, якобы предсказывающий что-л. И снится вещий сон герою: Он видит будто бы княжна Над страшной бездны глубиною Стоит недвижна и бледна. Пушк. Руслан и Людм. 5. ◇ В е щ и е птицы. В народных поверьях — птицы, предвещающие что-л. (ворона, кукушка, сойка и др.). Он почему-то с первого раза возненавидел эту проклятую кукушку, как предвещницу всяких зол и несчастий. Кажется, она отнесена в народном представлении к числу вещих птиц. Мам.-Сиб. Без особен. прав, 1. Бесшумно пролетела вещая птица щур. М. Горький, В людях, 7. ◇ В е щ е е сердце. О сердце, предчувствующем что-л. (обычно горе, болезнь и т. п.). Что ж сердце вещее грустит? Что ж ясный день не веселит Души для счастья пробужденной! Барат. Элегия. □ В е щ е е, е го, в знач. суц. Прост. То же, что вещее сердце. Слышало, слышало вещее мое все эти речи еще за месяц. Гог. Вечера на хуторе...

2. Устар. Мудрый, проницательный. Как ныне собирается вещий Олег Отметить неразумным хозарам. Пушк. Песнь о вещ. Олеге.

— Срезневский: в ѣ щ и и; Слов. Акад. 1789: в щ и и.

Таким образом, сокращение общего количества цитат в БАС² касается в первую очередь иллюстрирования прямых значений у таких употребительных слов, как **Вафля**, **Ветчина**, **Веялка**, **Висеть**, **Вдавливаться**, **Ватный**, **Войлочный**, **Вдали** и т. п. В этих случаях соединение нескольких типичных речений с одной-двумя семантизирующими цитатами оказывается обычно достаточным для смысловой и сочетаемостной характеристики слова. С другой стороны, при наличии у слова избирательной сочетаемости, нескольких нормативно допустимых (или устарелых) вариантов или других индивидуальных особенностей употребления может возникнуть необходимость привлечения и большего количества цитат. Поэтому было бы неправильным устанавливать строгую единую норму в соотношении речений и цитат. Естественно также, что некоторое уменьшение общего количества цитат в БАС² никоим образом не должно отразиться на глубине разработки семантической структуры слова.

В то же время очевидно, что устранение трех сопровождающих цитат, лишь констатирующих применение общеизвестного слова в художественной литературе XIX—XX вв., и увеличение числа типичных, регулярно воспроизводимых речений (словосочетаний и фраз) избавит нормативный словарь от излишней беллетризации, повысит роль цитаты и как средства дополнительной характеристики слова, и как образца его употребления. Комбинированный прием иллюстрирования сделает словарную статью более компактной, а лингвистическую информацию о слове более концентрированной и обзорной.

ЕРЕМИНА Л. И.

ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ
ЛЬВА ТОЛСТОГО*К 150-летию со дня рождения*

История языка художественной литературы как история формирования и совершенствования изобразительных и выразительных средств языка неразрывно связана для нас с именем Льва Толстого.

Несомненно, что стилистика и поэтика Л. Толстого была подготовлена (и в какой-то мере — обусловлена) всем предшествующим развитием русской и мировой культуры, русского языка и устного народного творчества. Изменилось отношение к общему понятию цельности художественного образа. Психологическая достоверность образа как неперемное условие художественности становится действительным, а не декларируемым принципом, личность, ее духовный мир стали предметом изображения.

Психологизация изображения, настоятельная потребность в исследовании тонких движений души, необходимость за внешними поступками и действиями видеть скрытые, сокровенные состояния, угадывать по ассоциативным связям и представлениям истинные внутренние причины внешнего «рисунка действий» — вот те условия, которые определили направление поиска средств образности. В драматически напряженных ситуациях средствами языка воссоздается образ переживания, как бы данный в переходах, в становлении.

Формы речи в их образно-эстетическом использовании и эмоционально-художественном осмыслении — проблема, определяющая широкий круг вопросов. Средства речевой выразительности и образзательности, используемые Л. Толстым в его творческой практике, чрезвычайно многообразны. Из всего арсенала речевых форм «словесно-художественного воплощения и изображения реальной жизни»¹ в произведениях Толстого мы остановимся на выразительности г р а ф и к и (курсива). Графика выступает как одно из средств усиленной, «подчеркнутой» актуализации слова в тексте, как средство выявления «внутренне-диалогических» отношений между графически выделенным словом и остальным текстом. Перед нами — форма о с т р а н е н и я слова на фоне г р а ф и ч е с к и н е й т р а л ь н о г о контекста.

Графическое, ш р и ф т о в о е выделение слова в контексте обычно результат «усиления» этого слова в собственной речи персонажа или в авторском повествовании. Именно психологически о с л о ж н е н н о е слово как носитель определенной нравственной, эмоциональной или социальной позиции выделяется на уровне всего текста.

Графически акцентированное слово — эмоционально-экспрессивный центр контекста, его ядро; на это слово обращено преимущественное внимание субъекта речи, это слово — конситуативная доминанта относительно

¹ В. В. Виноградов, *О языке художественной литературы*, М., 1959, стр. 507.

но широкого высказывания. Эмоциональное осмысление слова может служить причиной его графического усиления. Для Николеньки Иртеньева сочинение поздравительных стихов (к бабушкиным именинам) стало источником не только «мук слова»: «В стихотворении своем я поздравлял бабушку, желал ей много лет здравствовать и заключал так:

Стараться будем утешать
И любим, как родную мать.

Кажется, было бы очень недурно, но последний стих как-то странно оскорблял мой слух.

— И лю-бим, как родну-ю мать, — твердил я себе под нос. — Какую бы рифму вместо *мать*? играть? кровать?.. Э, сойдет! все лучше карл-иванчевых! [...] „Зачем я написал: *как родную мать*? ее ведь здесь нет, так не нужно было и помянуть ее; правда, я бабушку люблю, уважаю, но все она не то... [...]. Я не мог прийти в себя от мысли, что вместо ожидаемого рисунка при всех прочтут мои куда негодные стихи и слова: *как родную мать*, которые ясно докажут, что я никогда не любил и забыл ее“» («Детство», гл. XVI)². Психологическая мотивированность определена индивидуальным отношением к слову: в отрывке средствами графики дан письменно закрепленный образ внутренней речи Николеньки, дано эмоционально-экспрессивное осмысление слова, передается живое звучание этого словосочетания, как-то странно оскорбившего нравственное чутье ребенка.

Эмоционально-экспрессивный центр речи, его доминанту, может составлять выделенное слово, не прозвучавшее в открытой речи, но тем не менее «прочтенное» собеседником в мимических движениях, взгляде, понятом конситуативно: «Она не могла сказать *прощай*, но выражение ее лица сказало это, и он понял» («Анна Каренина», ч. V, гл. XXX). В авторском повествовании выделенное слово может быть з н а к о м чужой позиции, данной со ссылкой на носителя этой позиции: «Лидия Ивановна через своих знакомых разведывала о том, что намерены делать эти *отвертительные люди*, как она называла Анну с Вронским...» («Анна Каренина», ч. V, гл. XXIII).

Эмоциональная позиция героя, выраженная в выделенном графически слове, может не оговариваться специально, но оставаться знаком позиции персонажа в авторском повествовании: «Вронский в эти три месяца, которые он провел с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношения к Анне, и большею частью встречал в мужчинах *какое должно понимание*» («Анна Каренина», ч. V, гл. VII).

Психологически мотивированное слово или словосочетание выполняет х а р а к т е р и з у ю щ у ю функцию, раскрывая внутренний мир персонажей, являясь одним из средств анализа поведения или душевных состояний: «Но ни одна из перемен, происшедших в моем взгляде на вещи, не была так поразительна для самого меня, как та, вследствие которой в одной из наших горничных я перестал видеть слугу женского пола, а стал видеть *женщину*, от которой могли зависеть, в некоторой степени, мое спокойствие и счастье» («Отрочество», гл. VI).

Графически выделенное слово или словосочетание может быть средством выражения авторского отношения, например, иронического освещения изображаемых событий или ситуаций. Причем истинное раскрытие, иро-

² Здесь и далее цитаты из произведений Л. Н. Толстого даны по собранию сочинений в 14 томах (М., 1951—1953). }

ническая, например, интерпретация, может присоединяться непосредственно к выделенному курсивом слову или словосочетанию.

Иронически поданное обозначение лица или предмета может, по мысли автора, не соответствовать общезыковому содержанию (т. е. семантическому объему, традиционно закрепленному) этого слова или словосочетания. Вот эта разница между «реальным», контекстуальным смыслом слова и его «словарным», общезыковым значением может служить источником эмоционального осмысления графически выделенного наименования: «Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то все *асистенты*, только бы уйти с дела» («Севастополь в мае»): «— Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один] вчера *починили*. Вдребезги разбили станину» («Севастополь в августе 1855 года»). Выделенное графически общезыковое *починили* — «исправили» — следует понимать наоборот: «разбили вдребезги»; слово *асистенты* получает в данном контексте условное значение, действительное только для говорящих. Индивидуальное, субъективно-стилистическое значение общезыкового слова, окказиональный смысл этого слова становится ясен только из достаточно широкого контекста: «Все они были в грязных ситцевых рубашках и нагрудниках. Стараясь не выказать своего к ним презрения, я снял куртку и лег *по-товарищески* на диван» («Юность», гл. XLIII).

Психологически мотивированное слово или словосочетание может составлять не только эмоционально-экспрессивный, но и коммуникативный центр сообщения, оставаясь условно нераскрытым. Это намеренное и е н а з ы в а н и е условно, так как и говорящему и слушающему совершенно ясно, кто именно здесь имеется в виду. Вот, например, «кусочек речи» Карла Ивановича, учителя Николеньки и Володи Иртеневых: «— Я знаю, чьи это штуки и отчего я стал ненужен: оттого, что я не льщу и не потакаю во всем, как *иные люди*. Я привык всегда и перед всеми говорить правду, — сказал он гордо» («Детство», гл. IV) «Я вполне разделяю его ненависть к *иным людям*» (там же, гл. V).

Примером использования курсива для выделения, графической актуализации центрального, доминирующего для данного контекста «эмоционально маркированного слова» может служить экспрессивно значимое соответствие *ты // вы*, обращение *моя милая* в речи бабушки Николеньки Иртеневой в повести «Детство»: «...бабушка смягчилась, стала говорить с ней по-французски, перестала называть ее *вы*, *моя милая* и пригласила приехать к нам вечером» (гл. XVIII); «Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица, высказывать свое мнение о людях» (гл. XX).

Графически выделяется в тексте, «остраивается», чужое слово, полемически или сочувственно воспринятое субъектом речи, самим говорящим³. Таким образом, графическая актуализация фрагментов чужой речи служит средством выявления «внутренне-диалогических» отношений между собственным и чужим словом:

«— Ты опять пьян, я вижу.

— Не на ваши деньги напился, что попрекаете. [...] — Слушаю-сь, — сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил „на свои деньги“...» («Севастополь в мае»).

Чужое, психологически мотивированное слово включается в речь говорящего с сохранением чужих особенностей словоупотребления, оно несет чужое мировоззрение, чужую позицию. Но, включенное в новый

³ О «диалогической взаимоориентации» слова подробнее см.: М. Б а х т и н. Слово в романе, в кн.: «Вопросы литературы и эстетики», М., 1975, стр. 92—93, 97—98, 118.

текст, неизбежно выделяется интонационно, именно эту выделенность и передает графика: «Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка, помнишь, как я девять дней, не смыкая глаз, сидел у его постели. Да! тогда я был добрый, милый Карл Иванович, тогда я был нужен [...] теперь *дети большие стали; им надо серьезно учиться*» («Детство», гл. IV). Чужое слово может присутствовать как в с п о м и н а е м о е, т. е. говорящий вслух или про себя моделирует чужую речь, которая присутствует в контексте его собственной речи как чужое слово, чужая позиция: «Меня же никто не выбирал. К крайнему оскорблению моего самолюбия, я понимал, что я лишний, *остающийся*, что про меня всякий раз должны были говорить: „*Кто еще остается?*“ — „*Да, Николенька; ну вот ты его и возьми*“» («Отрочество», гл. XIII).

Чужое слово может быть не только диалогически враждебно воспринято, но и может получить социальную маркированность, обнаруживающую социальную принадлежность самого говорящего или пародирование этим говорящим чуждой ему системы наименований. Для нас важно, что всякое подчеркнуто «эмоционально-окрашенное» слово графически выделено в письменной речи именно благодаря тому, что оно выделено в речи и в сознании говорящих, несет на себе печать принадлежности субъекта речи к определенному общественному слою. Так, выделена лексика, принадлежащая некоторым кругам студентов: «Иконин даже обрадовался, увидав меня, и сообщил мне, что он будет переэкзаменовываться из истории, что профессор истории зол на него еще с прошлогоднего экзамена, на котором он будто бы тоже *сбил* его». («Юность», гл. XI).

Эмоционально-окрашенное слово, несущее основное ударение, составляющее экспрессивный и коммуникативный центр внешней, звучащей диалогической речи, неизбежно выделяется графически: «— Что ты ходишь, как неприютная? — сказала ей (Наташе Ростовой. — *Е. Л.*) мать. — Что тебе надо? — *Его*⁴ мне надо... сейчас, сию минуту мне *его* надо, — сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. Графиня подняла голову и пристально посмотрела на дочь. [...].

— Мама, мне *его* надо. За что я так пропадаю, мама?... — Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз...» («Война и мир», т. II, ч. IV, гл. IX).

Эмфатическая или просто усиленная акцентированность слова, выделенного графически, может специально оговариваться в авторских ремарках: «Стремов и Лиза Меркалова — это сливки сливок общества. Потом они приняты везде, и *я*, — она о с о б е н н о у д а р и л а (разрядка наша. — *Е. Л.*) на *я*, — никогда не была строга и нетерпима» («Анна Каренина», ч. III, гл. XVII). Так же графически выделяется и центр в и у т р е н н е й речи, то слово или словосочетание, на которое падает внутрифразовое ударение, эмоциональный центр речи: «Ведь любит же она моего ребенка, — подумал он, заметив изменение ее лица при крике ребенка, — моего ребенка; как же она может ненавидеть меня?» («Анна Каренина», ч. I, гл. IV). Во всех приведенных здесь случаях перед нами ф и к с и р о в а н н о е в формах графики «усиление» слова, выделенного и в собственной речи персонажей, и в авторском повествовании: «Большинство молодых женщин, завидовавших Анне, которым уже давно наскучило то, что ее называют *справедливой* [...] ждали только подтверждения оборота

⁴ В. В. Ермилов, отметив выделенность *его*, высказывает предположение, что речь здесь, вероятно, идет не только об Андрее Болконском, а вообще о муже, Наташе нужен он. Но в том-то и дело, что графически выделяется центр наташиной речи, обращенной к матери, которая отлично понимает душевное состояние дочери. В поэтике Л. Толстого есть и он как обозначение идеала мужщины, но в данном случае под словом *его* имеется в виду совершенно конкретный участник «романного действия» (см.: В. Ермилов, Толстой-романист, М., 1965, стр. 256—263).

общественного мнения, чтоб обрушиться на нее всею тяжестью своего презрения» («Анна Каренина», ч. II, гл. XVIII). «Называют справедливо» выделено в авторском повествовании, потому что принадлежат эти слова не самому рассказчику, а тем самым «молодым женщинам», которые завидовали Анне. Графически выделенное слово или словосочетание как средство выявления форм непосредственно-прямой речи может быть дано более открыто, чем в выше приведенном случае, например: «... я достал потихоньку десятирублевую бумажку и, подозревая к себе человека, дал ему деньги и шепотом, но так, что все слышали, потому что молча смотрели на меня, сказал ему, чтоб он принес, *пожалуйста, уже еще полбутылочку шампанского*» («Юность», гл. XV). Здесь графически выделенные слова — формы собственной прямой речи Николенки Иртеньева, включенные в косвенную речь: «...сказал ему, чтоб он принес...».

Графически выделенные слова могут принадлежать собеседнику, причем сказаны они были, может быть, очень давно, но отраженно несут и до сих пор печать личности, т. е. перед нами — чужое слово в полемически заостренном контексте. Говорящий произносит это чуждое ему наименование, включает его в свой контекст, сохраняя диалогичность отношений своего и чужого слова, например: «— Так и есть! Левин, наконец! — проговорил он (Стива Облонский. — Л. Е.) с дружескою, насмешливою улыбкой, оглядывая подходившего к нему Левина. — Как это ты не побрезгал найти меня в этом *вертеле*?» («Анна Каренина», ч. I, гл. V); назвать *вертелом* департамент или всякое другое официальное учреждение мог, конечно, только Левин, а уж никак не Степан Аркадьич Облонский. Графически выделенное чужое слово выступает здесь как знак, как «условное обозначение» личности.

Показательно, что в роли актуализованного слова может быть целая конструкция. Графическое выделение целого предложения психологически и сюжетно мотивировано: диалог в этом случае является всего навсего «заполнителем» сценического пространства, и только графически выделенные слова актуальны для собеседников. В качестве примера возьмем сцену, разыгравшуюся в ложе Бетси Тверской: за светской болтовней выделенно, актуально звучат только акцентированные для собеседников (Бетси и Вронского) слова — *она не была*: «— Что же вы не приехали обедать? — сказала она ему. — Удивляюсь этому ясновиденью влюбленных, — прибавила она с улыбкой, так, чтобы он один слышал: — *она не была*» («Анна Каренина», ч. II, гл. IV).

Графика как средство изобразительности и выразительности связана самым непосредственным образом с экспрессивным осмыслением всех сторон слова в тексте. Изобразительность лично-указательных местоимений, например, графически усиленных, выделенных, в значительной степени объясняется тем, что они не называют предмета, а лишь указывают на него ⁵.

Стремление создать психологически-достоверный и эмоционально-убедительный образ переживания ⁶ организует всю сложную систему худо-

⁵ В обычном, стилистически нейтральном (и как следствие — графически невыделенном) употреблении местоимения находятся где-то на периферии образного центра высказывания; именно это определяет их положение в контексте: «Будучи коммуникативно незначимыми, личные местоимения обычно стремятся занять интонационно слабую позицию и, как правило, оказываются в акцентном провале при акцентном выделении других членов» (И. И. Ковтунова, Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение, М., 1976, стр. 86).

⁶ В статье «О том, что есть и что не есть искусство, и о том, когда искусство есть дело важное и когда оно есть дело пустое» Л. Толстой так определяет назначение художественного творчества: «Удовлетворение напряженного чувства художника, достигшего своей цели, составляет наслаждение для художника. Ощущение того же на-

жественного текста как о б р а з н о - р е ч е в о г о ц е л о г о⁷. Изобразительность лично-указательных и определительных местоимений, графически выделенных в тексте, в значительной степени определяется тем, что под ними можно подразумевать самые различные предметы, существа, действия, ситуации и т. д. Заведомая «полуоткрытость» (отсутствие определенности в наименованиях) оказывается экспрессивно значимой в художественном контексте. Вследствие своей «недосказанности» в номинациях (при обозначении-указании на предметы, явления, понятия) местоимения могут называть то, что находится как бы «под запретом» или лишено определенности. Называние какого-то реального предмета или существа местоимением может быть не только намеренно эмоционально и семантически неоднозначным, но даже предполагать известную двупланность, «совмещение» в одном обозначении нескольких образов.

В качестве примера возьмем отрывок из повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Иван Ильич, измученный болезнью, старается службой отгородиться от страшных мыслей о неотвратимо приближающейся смерти. Положение Ивана Ильича представлено в виде драматической сцены: рядом с привычными предметами реальной обстановки, окружающей Ивана Ильича, появляются «она» и «она». В этом обозначении — «она» и «она» скрываются два существа: «она» — олицетворенная боль как предшественница и провозвестница смерти и «она» — сама смерть.

Будничные, полуавтоматические действия, заполнявшие прежде существование Ивана Ильича, дававшие ему возможность отгородиться от всего «сырого», «жизненного», вдруг перестали выполнять свою роль «ширм»: «И он шел в суд, отгоняя от себя... сомнения; вступал в разговоры... садился... задумчивым взглядом окидывая толпу... опираясь на ручки дубового кресла... перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь, и потом, вдруг вскидывая глаза и прямо усаживаясь, произносил известные слова и начинал дело. Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начипала *свое* сосущее дело. Иван Ильич прислушивался, отгонял мысль о ней, но она продолжала свое, и она приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на него, и он столбенел, огонь тух в глазах, и он начинал опять спрашивать себя: „Неужели только она правда?“ [...] И что было хуже всего — это то, что она отвлекла его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее, и, ничего не делая, невыразимо мучался.

И, спасаясь от этого состояния, Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тотчас же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто она проникала через все, и ничто не могло заслонить ее.

[...] он спорил, сердился; но все было хорошо, потому что он не помнил о ней, ее не видно было.

Но вот жена сказала, когда он сам передвигал: „Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред“, и вдруг она мелькнула через ширмы, он увидал ее. Она мелькнула, он еще надеется, что она скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит все то же, все так же ноет, и он уже

пряжения чувства и удовлетворение его, подчинение этому чувству, подражание ему, заражение им, как зевотой, переживание в краткие минуты всего того, что пережил художник, творя свое произведение, — и есть то наслаждение, которое получает воспринимающий произведение искусства» (Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч. [Юбилейное], 30, М., 1951, стр. 221).

⁷ «Образно-речевое целое» подробно анализируется в моей статье «Художественный текст как образно-речевое целое», ФН, 1978, 3.

не может забыть, и она явственно глядит на него из-за цветов. К чему все? [....].

Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с *нею*. С глазу на глаз с *нею*, а делать с *нею* нечего. Только смотреть на *нее* и холодеть.

Повторяющиеся, ставшие привычными «судейские» действия Ивана Ильича даны как «рисунок жестов», изобразительно, с целой системой сопутствующих движений. Глагольные формы, передающие или протяженные, не ограниченные результатом, или повторяющиеся действия, создают целую немую сцену: «шел... вступал... садился... произносил... начинал», они дополнены действиями «второстепенными», оттеночными: «шел... отгоняя... сомнения; садился... взглядом окидывая толпу... руками опираясь на ручки дубового кресла... перегибаясь к товарищу, подвигая дело, перешептываясь... вскидывая глаза... усаживаясь...». Вся конструкция с характерной эпической интонацией неторопливого, обстоятельного рассказа, с «прямым», стилистически нейтральным порядком слов, противопоставлена следующей за ней, которая сразу же начинается настораживающим «Но вдруг...», выполняющим, как обычно у Л. Толстого, роль слов-сигналов ситуации. Ставший привычным распорядок нарушается; появляется новая действующая, активная сила, «боль в боку», которая, «не обращая внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело».

Служебное «дело» Ивана Ильича имеет два семантических аспекта: дело — «судейская документация, собрание бумаг, материалов следствия» и дело — само «разбирательство на суде, судебный процесс». «Сосущее дело» боли — это таинственное дело, особая «физиологическая деятельность», которая совершается по своим законам и не подчиняется тем «служебным» законоположениям, которым всю свою жизнь служил Иван Ильич. Саркастическое замечание автора противопоставляет эти два «дела»: «Но вдруг в середине боль в боку, не обращая никакого внимания на период развития дела, начинала *свое* сосущее дело». «Служебное дело» Ивана Ильича — «судебное разбирательство» — контрастно сопоставлено с непонятной и страшной по предполагаемым последствиям деятельностью боли, которая делает «*свое* сосущее дело».

Наряду с ясным наименованием «боль» фигурирует и другое — «она», которое дается графически невыделенно: «...отгонял мысль о ней, но она продолжала *свое*». Весь контекст ориентирован на это противопоставление *он // она*. Показательно, что параллелизм позиций, в которых действует Иван Ильич и боль как провозвестница смерти, выявлен и лексическим повтором: Иван Ильич «...начинал дело», и боль «начинала *свое* сосущее дело».

На фоне дряхлых или периодически возникающих в плане прошлого обыденных действий Ивана Ильича (шел... вступал... садился... произносил... начинал... прислушивался.. отгонял... столбенел... начинал спрашивать... путался... делал... встряхивался... старался омониться... доводил... возвращался... делал... смотрел... смотрел... мучался) в аспекте *н а с т о я щ е г о* времени (со значением «вневременности») дана *она* и все, что связано с *ней*: «Неужели только *она* правда?» — спрашивает себя Иван Ильич. Та же временная отнесенность и в авторском повествовании о *ней*: Иван Ильич «...возвращался домой с грустным сознанием, что *н е м о ж е т* по-старому судейское его дело скрыть от него то, что он хотел скрыть; что судейским делом он *н е м о ж е т* и з б а в и т ь с я от *нее*» (разрядка наша. — *Е. Л.*).

Боль приходит не одна, она лишь вестница нового действующего лица, таинственно обозначенного *она*. В тех же формах повторяющихся, не ограниченных результатом действий дана деятельность и этого существа: «...И *она* приходила и становилась прямо перед ним и смотрела на

него...». Усилительное и не только скрепляет перечислительный ряд, но и выполняет роль дополнительного средства, нагнетающего драматическую напряженность, объединяющего два центра — *она* и *он* — сам Иван Ильич: «И он шел..», «И *она* приходила...». Показательно, что вся деятельность Ивана Ильича тоже дана на уровне усилительного ряда: «И он шел... и сядил... и... произносил... и начинал... и он столбенел...»; «Он встряхивался... и... доводил... и возвращался...». Все эти имперфектные глагольные формы передают внешний рисунок будничных, ежедневно повторяющихся «судейских» действий: «...все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти...».

Показательно, что «боль» и «смерть» объединены в указании-обозначении «она» и «она», именно поэтому «боль в боку» и «смерть» воспринимаются как нечто взаимообусловленное и взаимосвязанное, в полуоткрытом наименовании «она», и «она». Но это две силы. Так же как от боли, и от смерти Иван Ильич хочет и не может заслониться своим «судейским делом»; стремление скрыться, «избавиться от нее» порождает новый семантический комплекс — метафорические «ширмы». Сопоставление внешней заботы «делами» с «ширмами» определяет систему образности всего отрывка. Ведь для Ивана Ильича хуже всего было «...то, что *она* отвлекала его к себе не затем, чтобы он сделал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее и, ничего не делая, невыразимо мучался». Экспрессивный центр определен лексическими повторами и наращиваниями: «... смотрел на нее // прямо ей в глаза // смотрел на нее...». Иван Ильич ищет спасение в том, чтобы «не смотреть», «не видеть», и поэтому-то и возникает «утешительное средство» — «ширмы», своего рода овеществленное стремление «не видеть».

В качестве «ширма» для Ивана Ильича, привыкшего в служебных делах и отношениях прятаться от всего «сырого», жизненного, может существовать любое «дело», укладывающееся в рамки «служебная деятельность, судебная процессуальность». Стремление отвлечься от сосредоточенного прислушивания к своей боли и от постоянного страха, что *она* тут, рядом, выявляется в поисках других (т. е. не только «судейское дело») «ширма»: «...Иван Ильич искал утешения, других ширм, и другие ширмы являлись и на короткое время как будто спасали его, но тогда же опять не столько разрушались, сколько просвечивали, как будто *она* проникала через все, и ничто не могло заслонить ее». «Ширмы» могли присутствовать в виде отвлекающих от мысли о смерти, мелких, повторяющихся, незаконченных действий: «Он входил... видел... искал... находил... брал... досаждал... приводил... загибал... звал... спорил... сердился,.. но все было хорошо, потому что он не помнил о *ней*, *ее* не видно было». Вот это «не видно» разрушается при первом же напоминании о болезни. Как обычно у Толстого, смена эмоциональной тональности, рубеж обозначен противительной группой: «но вот жена сказала, когда он сам передвигал: „Позволь, люди сделают, ты опять себе сделаешь вред“, и вдруг *она* мелькнула через ширмы, он увидел *ее*. *Она* мелькнула, он еще надеется, что *она* скроется, но невольно он прислушался к боку, — там сидит все то же, все так же ноет, и он уже не может забыть, и *она* явственно глядит на него из-за цветов».

Господство имперфектных форм глагола (передающих повторяющиеся, периодически совершавшиеся или длительные нерезультативные действия, имеющие место в прошлом) сменилось повествованием в плане настоящего времени о сиюминутно совершающихся действиях (или только что совершившихся с результатом, сохраняющимся в настоящем): «*Она* мелькнула... Он увидел *ее*. *Она* мелькнула, он еще надеется, что *она* скроется... он прислушался... там сидит все то же, все так же ноет, и он... не может забыть,

и она... глядит...». Здесь два действующих лица «он» и «она» и две системы действий-движений, взаимно противоположенных, по укладывающихся в ту же образную схему: видеть // «ширмы» // не видеть. Авторское повествование заканчивается недоуменным вопросом: «К чему все?», в котором слышен голос самого Ивана Ильича и на который не дается прямого ответа. Обнаруживается та пустота, иллюзорность «дела», которая стала явной для Ивана Ильича только перед смертью. Вскрылась парадоксальность внешней занятости «служебным делом», прикрывающим до поры до времени эту пустоту; выявление дано на уровне профанирующего сопоставления-параллелизма. Иван Ильич во внутренне-диалогических размышлениях о причине надвигающейся смерти говорит самому себе: «И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно, и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть». Основная тема повести «Смерть Ивана Ильича» — профанация высшего — возникает на новом смысловом уровне. Есть общезыковая, уже стертая метафора «найти смерть на поле боя» — перед нами по существу ее сниженный вариант, основанный на системе почленного противопоставления: «нашел смерть на поле боя» // «на этой гардине я... потерял жизнь». Вся система противопоставлений: нашел // потерял; смерть // жизнь; на поле боя // на гардине — объединена сопоставительным оборотом «как на штурме». Раскрытие человеческой трагедии, заданное системой параллелизмов-противопоставлений в самом начале повести: «Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная», — продолжено и дальше: «И правда, что здесь, на этой гардине, я, как на штурме, потерял жизнь. Неужели? Как ужасно, и как глупо! Это не может быть! Не может быть, но есть». Противопоставление «...самая простая и обыкновенная // самая ужасная» выявляется снова: «как ужасно // как глупо!»; «Это не может быть // Не может быть, но есть».

Заключительный абзац построен на том же параллелизме-противопоставлении действий Ивана Ильича и всесильного существа, обозначенного она. Иван Ильич в той же видо-временной отнесенности выполняет пустые и напрасные попытки у к р ы т ь с я. «Он шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть». Где «шел... ложился... оставался» составляют фон привычных действий, оттеняющий систему наращиваний, так называемых «экспрессивных добавлений»: «...один на один с нею. С глазу на глаз с нею // а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть». Эта концовка определяет замкнувшееся кольцо: возвращение в круг тех же представлений и образов, открывающих появление ее.

Перед нами — организация текста по «спирали», по правилу винта, основанному на системе повторов-возвращений и повторов-развитий, раскрывающих движение основной темы. Если в начале, при первом появлении ее уже сказано: «...Она отвлекала его к себе не затем, чтобы он делал что-нибудь, а только для того, чтобы он смотрел на нее, прямо ей в глаза, смотрел на нее, и, ничего не делая, невыразимо мучался». Потом появлялись метафорические «ширмы», в виде «служебного дела» и дел повседневной жизни, которые должны были отвлечь Ивана Ильича от нее, закрыть и скрыть его от всепроникающих глаз смерти, полуоткрыто обозначенной она. И в финале мы находим Ивана Ильича, который «...шел в кабинет, ложился и оставался опять один с нею. С глазу на глаз с нею, а делать с нею нечего. Только смотреть на нее и холодеть».

Настойчивый, четырехкратный повтор: «с нею... с нею... с нею ... на нее» — ориентирует читательское внимание, определяет эмоционально-экспрессивный центр речи, за р а ж а е т читателя авторским отношением

к изображаемому, т. е. выполняет как раз ту задачу, которую Л. Толстой ставил перед истинным, настоящим искусством.

Изобразительность графически усиленного местоимения может быть рассмотрена с самых различных позиций, в том числе и с точки зрения реального соответствия родовой характеристики подразумеваемого имени и местоимения, которым оно выражено в тексте. В только что рассмотренном случае и боль, и смерть — оба имени могут быть обозначены общим условным наименованием «она». Соответствие в грамматической категории рода между подразумеваемым наименованием и реальным «обозначающим» местоимением может нарушаться, когда графически усиленное местоимение участвует в приеме «остранение-узнавание». Попытаемся раскрыть это на примере графически акцентированного *оно* в романе «Война и мир».

Оно в сновидениях умирающего Андрея Болконского получало различную конкретизацию, различные «реальные соответствия»: «И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит *оно*. Но в то же время как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, уже надавливая с другой стороны, ломится в нее. Что-то не человеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее; но силы его слабы, неловки, и, надавливаемая ужасным, дверь отворяется и опять затворяется.

Еще раз оно надавило оттуда. Последние, сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. *Оно* вошло, и оно есть *смерть*» («Война и мир», т. IV, ч. 1, гл. XVI).

Здесь в качестве семантически равноправных действуют различные лексико-грамматические категории: *оно* // что-то ужасное // что-то не человеческое // смерть // ужасное // оно // оно // оно // *смерть*. Князь Андрей постепенно от «догадки» подходит к «узнаванию», за неопределенным наименованием *оно* следуют столь же неопределенные: что-то ужасное, что-то не человеческое; «смерть» входит в контекст сначала на уровне **п р е д п о л о ж е н и я**: «Что-то не человеческое — смерть — ломится в дверь...», и только в заключительной части условное обозначение раскрыто: *оно* // оно // оно // *оно* // *смерть*...

Мы рассмотрели далеко не все возможности графически выделенного или усиленного средствами графики слова. В сравнительно небольшой по объему статье трудно проследить даже основные аспекты изобразительности графической системы языка художественной литературы в той степени и форме, как она отразилась в творческой практике Л. Толстого. Драматическая и эмоциональная напряженность повествования создается усилиями всех средств языка. И графика занимает в системе изобразительности совершенно определенное место. Весь текст начинает ориентироваться на графически акцентированное слово — эмоционально-экспрессивный центр речи, обусловленный развитием сюжета, характеров, т. е. композиционно-стилистической и словесно-художественной структурой произведения.

Как уже было сказано выше, изобразительность лично-указательных и определительных местоимений, графически выделенных в тексте, в значительной степени определяется тем, что под ними можно подразумевать различные предметы, существа, действия, ситуации и т. д. Заведомая «полуоткрытость» (отсутствие определенности в наименованиях) оказывается экспрессивно значимой в художественном контексте. Благодаря своей «недосказанности» в обозначениях-указаниях на предметы, явления, понятия местоимения могут называть то, что трудно определимо или находится как бы «под запретом».

Графика выступает как способ письменного воплощения живого слова, как средство зрительного выявления (на уровне графически нейтрального текста) эмоционально-экспрессивного ядра высказывания. Именно стремлением к изобразительности письменного образа слова мотивируются все способы и средства графического акцентирования. Направление, в котором шло совершенствование образно-речевых возможностей языка, было определено требованиями реалистического искусства как системы. Стремление создать письменно, в формах речи закрепленный «образ переживания» активизировало и графическую систему языка как средство создания внешне, зрительно «остраненного» образа слова.

ДУБЯГО А. И.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ И РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК

К 150-летию со дня рождения

Вторая половина XIX в. — значительная веха в истории литературного языка. В развитии литературного языка становится исключительным значение публицистического стиля, сконцентрировавшего основные процессы, протекавшие в языке в эпоху революционно-демократического движения. Говоря о специфике литературно-языковой эволюции 60-х годов, следует иметь в виду экстралингвистическую ситуацию, в условиях которой протекал этот процесс и которая имеет принципиально важное значение для литературного языка.

Эпоха революционно-демократического движения представляет выразительную картину бурного развития общественной мысли, революционной идеологии, передовой русской культуры, что в конечном итоге оказало решающее влияние на литературный язык, на пути формирования его стилей и словаря. Интенсивный и разносторонний процесс, составляющий одну из ярких особенностей развития литературного языка в середине — второй половине XIX в., проявляется в возникновении у слов новых значений, во вхождении существующей в языке лексики в различные лексико-семантические отношения, в формировании новых лексико-семантических полей, в проникновении в литературно-книжный обиход заимствований, обозначающих важнейшие философские, социально-политические понятия.

Будучи многогранным в жанровом отношении, последовательно проникнутым духом «идей сильных и живых», творчество Н. Г. Чернышевского наиболее полно и концентрированно отражает живые тенденции развития литературного языка в 60-х годах XIX в., и на этой основе углубляется и расширяется в публицистической речи система книжной лексики, способная обеспечить коммуникацию в сфере материалистической философии, эстетики, литературной критики, политической экономии, социологии. В языке Н. Г. Чернышевского стабилизируется философская терминология, отражающая материалистическое мировоззрение, формируется основное ядро современной экономической лексики и фразеологии и т. д.

Изменения в значениях уже существующих слов, приспособление их семантики к выражению новых понятий привели в движение лексические слои разного стилистико-семантического круга, способствовали появлению обширных пластов лексики в составе средств выражения отвлеченных и специальных понятий. Смысловые наслоения на действующие в языковом обиходе слова носят полярный характер. С одной стороны, в результате сужения, специализации старого общего значения складывается специальная лексика (философская, экономическая и т. д.), с другой — активизируется процесс вовлечения в систему отвлеченного словаря слов с

конкретным содержанием и детерминологизация естественнонаучной и иной специальной лексики.

Исследование процессов специализации общеупотребительной лексики показывает, что Н. Г. Чернышевский не только поддерживал и активизировал живые тенденции развития терминологического словаря, но и личным творчеством способствовал этому развитию. Можно говорить о цельности, исключительной целенаправленности и актуальности средств выражения, ориентированных на формирование строго научных, логически мотивированных значений слов.

В этом отношении заслуживают внимания методы введения в обиход новой терминологии, закрепление за нею значений, отражающих достижения экономической, философской, социальной мысли. Употребление многих из слов сопровождается у Н. Г. Чернышевского развернутыми толкованиями, касающимися разграничения одной и той же лексической единицы как научного термина и общеупотребительного слова.

Например, показав неправомочность применения в экономической системе Милля слова *богатство* в том значении, какое придается ему в «обыкновенном разговорном языке»¹, Н. Г. Чернышевский вкладывает в это слово научный смысл, дает одновременно глубокий анализ его применения в социально-экономическом значении. Н. Г. Чернышевский подчеркивает, что в основу семантики общеупотребительного слова положен количественный признак, тогда как семантика научного термина неизбежно осложняется признаком качественным. Ср.: «Милль, например, прямо говорит, что каждый и без науки знает, что такое понимается в науке под словом „богатство“; это каждому известно из разговорного языка. Нет, из разговорного языка известно вовсе не то. Наука понимает под богатством сумму вещей полезных или приятных, имеющих меновую ценность. Тут, как видим, дело состоит в качествах вещей, а не в их количестве... В житейском языке богатство относится не к качеству, а исключительно к количеству вещей. Это понятия столь же различны, как понятия о сытом и одаренном прожорливостью, как понятия о взрослом человеке и высоком человеке, как понятия о здоровье и богатстве» (IX, 29—30²). И далее: «Если... сумму полезных вещей вам угодно назвать богатством, вы можете говорить, что цель науки — исследование законов богатства; но в таком случае вы должны уже помнить, что вы даете слову „богатство“ смысл совершенно различный от его смысла в обыкновенном разговорном языке» (IX, 34).

Таким образом, слово *богатство* непосредственно связано у Н. Г. Чернышевского с обозначением понятия из области производства и обмена. Оно приобретает терминологическую определенность в экономическом обиходе. В таком же плане истолковываются у Н. Г. Чернышевского многие другие слова, например, *капитал*, *капиталист*, *труд* и т. д. Наряду с процессами специализации, семантического ограничения общеупотребительной лексики происходит развитие новых, отвлеченных значений у слов конкретно-предметного и общего абстрактного значения.

Характер семантических изменений определяется в данном случае соотношением вновь развивающихся явлений и прежней, исходной семантикой слов. Качественное обновление семантической структуры лексических единиц в системе существительных («Между учеными были всег-

¹ Ср.: В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, М., 1955, I, стр. 102. «Богатство; множество || Обилие имущества, ... денег».

² Римской и арабской цифрами здесь и далее обозначены том и страница издания: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 16-ти томах, М., 1939—1953.

да люди другого *закала*³ — II, 779); «Люди без художественной *жилки*⁴ в душе» (VII, 452). Ср. у В. И. Ленина: «...пролетарская *жилка*...»⁵ (курсив наш. — Д. А.); вовлечение прилагательных конкретного содержания в сферу обозначения свойств и качеств отвлеченных представлений («*узкие*⁶ понятия» — IV, 117); политическое осмысление прилагательных, обозначающих цвета, общеобиходные признаки («*красный республиканец*» — IX, 348, «*передовые люди*» — IV, 764, «*отсталые*⁷ экономисты» — IX, 743); возникновение качественных значений у относительных прилагательных («*дубовые* предрассудки» — IV, 64, «*деревянные герои*» — IV, 172, «*беззубое бранливое шипенье*» — IV, 588); окачествование причастий, переход их в качественные прилагательные оценочного характера («*истасканный*⁸ упрек» — II, 58, «*избитые*⁹ темы» — II, 72); смысловые и стилистические изменения глаголов [«Но каково *расхлебывать* другим то, что она (Ася. — Д. А.) изволила натворить» — V, 161. Ср. в Словаре 1847 г.: «*Хлебая* вместе с другими, съедать» — IV, стлб. 418] — наиболее динамичные процессы, которые увеличивают семантический объем слова, получающего вторичные, переносные значения.

В переносном применении общеупотребительные слова часто приобретают эмоционально-оценочные признаки, становятся мобильными в полемических контекстах. Ср. метафоры, направленные на характеристики враждебных теорий, литературных направлений, их приверженцев и т. д.: «*Теоретическая слепота*¹⁰ и *глухота*¹¹» (V, 215); «*Литературная дряхлость*¹²» (II, 249). Изменение семантической структуры действующих в языке лексических единиц способствовало обогащению литературного языка новыми семантико-стилистическими средствами, позволившими Н. Г. Чернышевскому многогранно и ярко выразить и оценить сложные и противоречивые формы социальных и общественных отношений.

Весьма актуальной представляется естественнонаучная и иная специальная лексика, интересная, прежде всего, с точки зрения ее семантических преобразований и стилистического применения в публицистике Н. Г. Чернышевского. Имея в виду характер функционирования и сте-

³ Ср. в «Словаре церковнославянского и русского языка» (СПб., 1847): «*Закл...*, 1). Тоже, что *закалка*. От хорошего закала получает железо надлежащую твердость. 2) Тоже, что *закалина*. *Хлеб с закалом*» (II, стр. 22).

⁴ Ср. в Словаре Даля (I, стр. 542): «*Жила* ж., толстое волокно... в составе тела животного... сосуды» и омонимичное: «*Жила*, об., ...неправедный стяжатель, охотник присваивать себе чужое». Характерное применение слов *жила*, *жилка*, получившее распространение в публицистической и художественной речи 40—60-х годов, впервые отражено в «Словаре русского языка», сост. Вторым отд. Академии Наук» (II, вып. 2, стлб. 512): «*Ж и л а* употребляется как синоним природной способности (ср. *ж и л к а*), «*Ж и л к а* употребляется в смысле: природный дар, горячая склонность к чему-нибудь, чувство, способность» (там же, стлб. 520).

⁵ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 49, стр. 77.

⁶ Ср. в Словаре 1847 г.: «*Узкий*, не имеющий надлежащей ширины, тесный» (IV, стлб. 332).

⁷ См.: Ю. С. С о р о к и н, Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы, М.—Л., 1965.

⁸ Ср. в Словаре 1847 г.: «*Истасканный*, прич. стр. гл. *истаскать*». «*Истаскать*, сов. гл. *истаскивать*..., изнашивать» (II, стр. 142). Такое же толкование дано в Словаре Даля.

⁹ В Словаре 1847 г.: «*Избитый*, прич. стр. гл. *избить*» (II, стр. 103).

¹⁰ Ср. в Словаре 1847 г.: «*Слепота*,... 1) Непмение, отсутствие зрения, 2) Помрачение рассудка от безмерной страсти» (IV, стлб. 320). В «Словаре современного русского литературного языка» в 17 томах: «*Слепота*... перен. Неумение замечать происходящее вокруг..., правильно судить о чем-либо» (13, стлб. 1499).

¹¹ В Словаре 1847 г.: «*Глухота*, состояние глухого» (I, стр. 267). В ССРЛЯ: «*Глухота*,... 3. Невнимание, равнодушие» (3, стлб. 157).

¹² Ср. в Словаре 1847 г.: «*Дряхлость*..., состояние дряхлого» (I, стр. 375), «*Дряхлый*... От старости лишившийся крепости телесной» (там же).

пень литературного освоения естественнонаучной лексики, можно выделить ряд ее групп:

1. Терминология, устойчиво закрепившаяся в литературном употреблении в семантически преобразованном виде. В данном случае слова из сферы естествознания приобретают вторые, нетерминологические, производные значения: а) термины биологии, анатомии, физиологии, зоологии, ботаники, медицины: «*Микроскопическая*¹³ нежность отделки» (II, 58); «Энергия их (испанцев.— Д. А.) умеет проявляться еще только судорожным, *лихорадочным*¹⁴ образом» (IV, 491); б) термины математики, физики, механики, астрономии: «*Масштаб*¹⁵ тут дается природою человека» (IX, 29); «*Экономическая динамика*¹⁶» (IX, 883) и т. д.

2. Более или менее распространенные метафоры: «Сбыт находится в лихорадочных *пароксизмах*» (VII, 55); «*Литературный консилиум*» (VII, 48); «*Возводит сапоги в квадрат, извлекает кубические корни из голенищ и из ваксы*» (XV, 195).

3. Индивидуальные метафоры, символические образы, сравнения, аналогии, построенные на терминах естественных наук.

4. Естественнонаучная лексика, выступающая в качестве синонимических замен к общераспространенным словам (ср.: *мозг* употребляется в качестве эквивалента к словам *ум, интеллектуальные способности*. О духовном ничтожестве реакционеров: «малый запас мозга» — X, 64).

Литературная и образная трансформация естественнонаучной терминологии в литературе 50—60-х годов XIX в. — живой и активный процесс, обусловленный тесным контактом естествознания с философией и публицистикой, взаимодействием элементов научного и публицистического стиля в рамках стиля публицистики. Это соответствовало эстетическим принципам революционеров-демократов, их тенденции очистить язык публицистики от «красивой», бессодержательной фразы, ходячих речевых шаблонов, вдохнуть в него систему образов, отвечающую целям агитации, массовой пропаганды, требованиям безыскусственной выразительности, полемической заостренности речи.

Метафоры Н. Г. Чернышевского, созданные на основе естественнонаучной лексики, играют важную роль в организации острой полемики, конструировании сатирических контекстов, в создании ярких и метких характеристик, распространяющихся на общественные, научные, литературные явления, теории. Характерной в этом отношении является лексика, связанная с названиями различных болезней. Предпосылки для свободного использования этой лексики в публицистике создает широкая возможность мотивированности аналогией, ассоциацией между болезнями и явлениями общественной жизни и т. д. Например, отстаивая эстетический принцип — жесткость слога — как одно из условий идейности, художественной ценности произведения, Чернышевский чрезвычайно остро и осознано характеризует идеалистическую эстетику, пустоту и бессодержательность произведений романтического направления метафорой *водяная*. Причем полемический эффект, ирония усиливается контрастностью противопоставленных ассоциатов *водяная* и *сухотка*. «Господствующая ныне эстетическая болезнь — *водяная*, делает столько вреда,

¹³ В Словаре Даля фиксируется еще лишь терминологическое значение этого слова: «*Микроскопический*, к... снаряду (микроскопу.— Д. А.) или к наблюдениям чрез него относящ.» (II, стр. 325).

¹⁴ Ср. в Словаре Даля: «*Лихорадочный*, к лихорадке относящийся» (т. II, стр. 258).

¹⁵ В Словаре Даля: «*Масштаб*,... жезл размерный, ...мерило» (II, стр. 305).

¹⁶ Слово *динамика* помещается только в его исходном терминологическом значении во всех словарях XIX в. Ср. в «Словаре русского языка, сост. Вторым отд. Академии Наук» (I, вып. 3, стлб. 1032): «*Динамика*..., Часть механики, рассматривающая законы движения тел».

что, кажется, отрадно было бы даже увидеть признаки *сухотки*, как приятен морозный день, сковывающий почву среди октябрьского ненастья, когда повсюду видишь бездонно-жидкие трясины» (II, 466).

Публицистика Н. Г. Чернышевского отличается богатством ассоциаций, полемической заостренностью, наглядностью повествования. Символический план изложения часто охватывает широкие контексты, ткань которых составляют аналогии изображаемых явлений с болезнями и средствами их лечения.

Сопоставления эти являются средством критической оценки анализируемых теорий, общественных установлений и т. д. Ср.: «Каково бы ни было полезное или вредное влияние известной системы землевладения на успехи сельского хозяйства, все-таки это влияние совершенно ничтожно по сравнению с неизмеримым могуществом тех условий нашей общественной жизни, в которых нашли мы истинные причины жалкого положения нашего земледелия. *Больной* чувствует *лихорадочной озноб* от того, что гнилой климат и изнурительный образ жизни развивают в нем *чахотку*; а вы, милостивые государи, советуете ему *лечиться порошком из раковых жерновок*. Я не знаю, действительно ли помогают *раковые жерновки* от *лихорадки*. Медицина говорит, будто бы это средство совершенно вздорное. Но все равно. Пусть оно будет и превосходным средством от *лихорадки*, оно все-таки никуда не годится в нашем случае. *Болезнь* не та, как вы думаете, милостивые государи. Она произошла не от легкой простуды, которую вы хотите *лечить* вашими милыми *раковыми жерновками*, и какие *лекарства* ни употребляйте против озноба, который один заметен вам из всех симптомов страшной *болезни*, вы не уничтожите не только общей *болезни* организма, но даже и этого частичного ее проявления. Вы только губите *больного*, заставляя его терять время на пустыки, когда каждый день увеличивает опасность его положения. Всмотритесь получше в состояние организма, и вы найдете, что *лихорадочный озноб* производится причинами, против которых необходимо употребить средства, совершенно различные от рекомендуемых вами суеверных пустыков. Вся обстановка жизни *больного* должна измениться для того, чтобы прекратилось гниение основного органа его тела. А когда его легкие будут здоровы, сам собою, без всяких *раковых жерновок* исчезнет и мнимый *лихорадочный озноб*. Позаботьтесь о том, чтобы мы получили хорошую администрацию и справедливый суд, тогда вы увидите, что не нужно будет нашему земледелию прибегать к вашим *раковым жерновкам* — к разделению общинных земель на потомственные участки, тогда вы увидите, что общинное владение не будет мешать успехам сельского хозяйства, потому что тогда будет исчезать наша бедность, и явятся те условия, которых теперь нет и без которых ни при какой системе землевладения сельское хозяйство не может прийти в удовлетворительное состояние» (V, 710). Вполне очевидно, что здесь символ *больного* с его болезнями и характером лечения симптоматичен в том смысле, что он сопряжен с эзоповским приемом, при котором разоблачается антинародная сущность «рассуждений отсталых экономистов» и проводится мысль об общинном коммунизме как необходимом условии на пути к прогрессу России.

В общий поток семантических преобразований широко входит лексика искусств и литературы. В 40—60-е годы XIX в. литературно употребительными становятся термины живописи: «историческая перспектива» (II, 210). Значение «будущее; виды на будущее». Ср. толкование слова *перспектива* в «Настольном словаре для справок по всем отраслям знаний» (под ред. Ф. Толля и В. Р. Зотова, СПб., 1863—1864): «Искусство рисовать предметы в целом ряду их такими, как они представляются глазу» (IV, стр. 71). «Фигура Чурисенка — одна из самых... *рельефных*... в рассказе»

(IV, 682). Значение «выразительный, четкий». Ср. в «Настольном словаре»: «Скульптурная работа, более или менее выпуклая» (III, стр. 292) и т. д.; музыки: «Украсить такой *гаммой* ... своей поэтический венок» (XVI, 234). Ср. в Словаре Даля: «Нотная азбука..., таблица нот, с означением аппликатуры» (I, стр. 343) и т. д.; театра: «*Закулисное* положение литературы» (III, 207); литературно-критические: «Длинная *драма*... так называемого периода реставрации» (V, 224) и т. д.

В публицистике Н. Г. Чернышевского традиция метафорического употребления лексики этого разряда укрепляется и развивается. Семантические рамки рассматриваемой лексики раздвигаются, применение ее многопланово. Таково, в частности, использование у Н. Г. Чернышевского слова *абрис* (его исходное, номинативное значение — «контурный рисунок»). Ср. в Словаре Даля. «Контур, очерк, обвод,... рисунок без теней» — I, стр. 2). Это слово употребляется для обозначения внешнего вида предмета: «Прекрасное чаще всего мы видим глазами, а глаза, конечно, видят только оболочку, *абрис*, наружность предмета, а не внутреннее его сложение» (II, 45). Применительно к поэтическому образу, творческому процессу: «Самое определенное, наилучшим образом обрисованное лицо остается в поэтическом произведении только общим, неопределенно очерченным *абрисом*, которому живая определенная индивидуальность придается только воображением ... читателя» (II, 64).

Термины из одной терминологической сферы могут перемещаться в другую, функционируя синхронно в различных видах искусств. Термины музыки, ваяния, скульптуры перемещаются, например, в литературно-критическую лексику. Так, музыкальный термин *мотив* в словарях 60-х годов истолковывается следующим образом: в «Объяснении 25 000 иностранных слов» 1865 г. А. Д. Михельсона: «*Мотив*, а) основная мысль музыкального произведения, б) побудительная причина» (стр. 418). Литературно-критическое значение этого слова в словарях 60-х годов не отражается. Вместе с тем в 40—60-х годах слово *мотив* становится употребительным в значении «идея или тема произведения искусства; простейшая составная часть сюжета». Семантико-фразеологическая эволюция данного слова находит отражение в языке Н. Г. Чернышевского: «„Мельник“ был первою пьесою, в которой услышала публика народные *мотивы*» (II, 240). Характерным является процесс вовлечения театральной лексики в сферу экспрессивно-оценочных средств. В данном случае наряду с семантической присходит и экспрессивно-стилистическая перестройка слов. Театральная терминология в метафорическом осмыслении содержит потенциальные возможности, позволяющие выразить фальшь, ложный эффект. Переносное употребление слов этого типа формирует ассоциации отрицательного характера. Ср. применение слова *спектакль* для оценки фальшивой демократии политических установлений Запада: «Великолепный *спектакль* парламентского правления почти постоянно оказывается чистою комедиею» (VI, 9).

В языке Н. Г. Чернышевского стабилизируются отвлеченно-книжные слова, представляющие собой новообразования эпохи, созданные по действующим в языке моделям посредством суффиксации. Они формируют наименования, связанные с важнейшими понятиями из области философии, социологии, эстетики, политической экономии, внутренней, интеллектуальной жизни человека. Отмечается активность словопроизводства в целях создания оценочных, экспрессивных средств выражения, включенных в полемический план изображения.

Сильной является тенденция, направленная на расширение гнезд слов на основе новой лексики, в том числе лексических заимствований. Происходит живой процесс русификации, «адаптации» лексических

единиц иноязычного источника, вовлечение их в словообразовательную систему русского языка. Словообразование нередко сопровождается одновременно терминологизацией, дифференциацией значений, уточнением семантики новых слов.

Ср. новообразования с суффиксом *-ость*, обозначающие философские понятия: «Трансцендентальная *априоричность* Шеллинга и Гегеля» (VII, 438). В Словарях различных типов XIX в. («Настольный словарь» Толля, «Философский лексикон» А. Галича и т. д.), последовательно фиксируется лишь слово *А-приори*¹⁷.

В книжном обиходе в 40—60-х годах употреблялись варианты образования — прилагательные *априоричный*, *априористический*, *априорический*. Ср. у А. И. Герцена: «*Априоричные построения государства*» (XV, 33¹⁸), у Н. Г. Чернышевского: «*Априорические знания*» (II, 264), «Недоверчивость к *априористическим... гипотезам*» (II, 6). С выходом из употребления указанных вариантов и распространением прилагательного *априорный* в конце XIX — начале XX в. существительное с суффиксом *-ость* образуется от этого прилагательного. Ср. у В. И. Ленина: «*Признавая априорность* (курсив наш.— Д. А.) пространства, времени, причинности и т. д., Кант направляет свою философию в сторону идеализма»¹⁹.

Наименования общественно-политических понятий: «*Стремление их (Рикозоли и Чиприани.— Д. А.) к власти придавало ей неизгладимую печать революционности*» — IV, 411 (слово впервые отмечено в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова).

Ср. новообразования, относящиеся к наименованиям идейных направлений, явлений, социального, общественного характера. Это прежде всего слова на *-ство*, образованные от существительных, обозначающих сторонников тех или иных мировоззренческих течений, литературных, политических взглядов, социологических доктрин, политических установлений: «*Они (либералы.— Д. А.) боются, что европейские дипломаты обвият их в революционерстве*» (VI, 400) (помещается лишь в ССРЛЯ); «*Они (лютеранские богословы.— Д. А.)... вредят делу протестанства*» — V, 195 (впервые в Словаре Ушакова); «*Противники лютеранства*» — IV, 197 (впервые в Словаре Ушакова).

В публицистике Н. Г. Чернышевского функционирует обширный круг новообразований с суффиксом *-ние/-нье* (варианты *-ание*, *-ение*). Актуальными являются образования, связанные с обозначением процессов литературного, политического, экономического характера: «*До той поры (до выборов президента.— Д. А.) занимается (палата депутатов.— Д. А.) лишь... конституированьем под временным председательством старшего по летам из своих сочленов*» (VIII, 90). Образовано от нового заимствованного глагола *конституировать*. Это и производное слово *конституированье* впервые помещаются в Словаре русского языка Акад. Наук 1912 г.: «*Конституирование, действие по значению глаг. конституировать. Первое заседание было посвящено конституированию (из газет)*» (IV, вып. 6, стлб. 187), «*Конституировать* (нем. *konstituieren*) учредить, установить» (там же). Ср. у В. И. Ленина: «*Общее признание правильности состава съезда и безусловной обязательности его решений нашло себе выражение и в заявлении председателя... после конституирования (здесь курсив наш.— Д. А.) съезда*»²⁰.

¹⁷ Ср. «*А-приори... суть технические речения в философии, относящиеся к учению и происхождению человеческих представлений и познаний*» (А. Г а л и ч, Философский лексикон, СПб., 1845, стр. 33).

¹⁸ Римской и арабской цифрами здесь и далее обозначены том и страница Собрания соч. в 30 томах А. И. Герцена (М., 1954—1963).

¹⁹ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 18, стр. 206.

²⁰ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 8, стр. 193.

У Н. Г. Чернышевского к числу активизированных словообразовательных средств относятся суффиксы, образующие названия лиц. Рост таких образований в условиях бурного развития общественной жизни, классовой борьбы вызван необходимостью обозначения представителей какой-либо сферы деятельности, приверженцев политических партий, идейных течений, направлений и т. д.

В составе существительных со значением лица имеются окказиональные образования и названия лиц, получивших словарную фиксацию в XIX—XX вв. Обращают на себя внимание: а) новообразования с суффиксом *-тель* со значением лица-деятеля: «Произведения нашей древней словесности находят в Германии ученых и усердных *обрабатывателей*» (XVI, 152); «Наемный работник все еще остается... смесью работника с... *предпринимателем*» (IX, 469) (впервые помещается в Словаре Даля); б) слова с суффиксом *-ик*, обозначающие лиц по роду их деятельности, принадлежности к общественному коллективу, определенному идейному течению. «Фермер... не имеет ни малейшего преимущества перед *общинниками*» — IV, 433. [впервые в Словаре Ушакова; получает распространение в 60-х годах (Н. П. Огарев)]; «*Идиллик*» — IX, 869 [слово впервые отмечено в Словаре Ушакова; функционирует с 40-х годов (В. Г. Белинский и др.)]; в) слова с суффиксами *-анец*, *-ец*, обозначающие сторонников какого-либо научного, философского течения, политических взглядов. Такие слова образуются у Н. Г. Чернышевского от собственных имен западноевропейских философов, социологов, политических деятелей: «*мальтусианец*» (IX, 386), «*гарibaldiец*» (VIII, 547).

Появление значительного количества новых слов, в том числе заимствований, семантические изменения, интенсивно протекавшие в лексике литературного языка, повлекли за собой в 40—60-х годах активный рост имен прилагательных.

Словопроизводство в области прилагательных характеризуется сильной активизацией суффикса *-н* («*романный* материал» — IV, 516; впервые в Словаре Ушакова) и сложных суффиксов, связанных с элементами интернационального словообразования, *-альн*- («*Каузальные отношения между общим и частным*» — II, 64; в Словаре Акад. Наук 1908), *-ональн*- («*Интернациональная теплица политического равновесия*» — VI, 280; в Словаре Ушакова); *-арн*- (*-ярн*-) («*Студенты..., солидарные со мною*» — X, 176, Словарь Даля), *-ивн*-, *-тивн*- («*Дедуктивный метод*» — IX, 880, в Словаре Акад. Наук 1895); «*Будут допущены Сардинские уполномоченные... с консультативным голосом*» — VI, 164, «*Словарь иностранных слов*» 1949), *-онн*- (*-ионн*-, *ционн*- *-ационн*-) («*Протекционный тариф*» — IX, 602, впервые в «Словаре иностранных слов» 1937; «Он (Токвилль. — Д. А.)... совершенно растерялся от ужасной неизбежности *централизованных* страданий для его милой Родины» — VII, 688); *-озн*-, *-эзн*- («*Мысль... кажется большей части людей... несколько *скандалёзною**» — XVI, 389). Суффиксы *-ск* («*Аболиционистское движение*») — I, 14; ССРЛЯ), *-ическ*- («*Люди... коммунистического направления*» — IX, 339, Словарь Даля; «*лавочнические ловки*») — IX, 607, в ССРЛЯ; «*методологические тонкости*» — VII, 758, Михельсон, Слов. 1866), обслуживающие интернациональную терминологию, используются для образования прилагательных, соотносительных с существительными на *-изм*-, *-ист*-, *-ик*-, *-ика*-, *-ия*.

Регулярное использование большого числа новообразований приводит к формированию широкого круга слов, связанных с необходимостью номинации понятий из сферы философии, социологии, эстетики, литературной критики, политической экономии и т. д. Значительная часть новых лексических единиц закрепляется уже в Словарях 60-х годов. Многие же из новообразований, функционирующих в языке Н. Г. Чернышевского,

впервые фиксируются лишь в современных словарях: *производительность* — IX, 165 (впервые в Словаре Ушакова), *ортодоксальность* — IX, 944 (там же), *общинность* — II, 737 (в ССРЛЯ), *декретирование* — III, 365 (там же) и т. д.

Окказиональные образования, равно как и словообразовательная вариантность, столь осязаемо выступающая в литературе 40—60-х годов²¹, в публицистике Н. Г. Чернышевского не характерны. У него стабилизируются наиболее подходящие, внутренне оправданные в языке варианты.

В ряде случаев лексемы, моделированные посредством тех или иных словообразовательных формант, трансформируются в сторону сокращения словообразовательной структуры в более позднее время, в конце XIX—XX вв. Ср. *априоричный*, *априорический*, *априоричность* — у Чернышевского, Герцена, Писарева и *априорный*, *априорность* — у В. И. Ленина: «...*априорных* (курсив наш.— Д. А.) форм созерцания...»²²; «Кант доказывает *априорность* (курсив наш.— Д. А.) „догматически“»²³.

Субстантивация прилагательных в форме среднего рода замыкается в рамках терминологического употребления этих образований и по существу служит целям расширения философского словаря, отражающего материалистическое мировоззрение революционера-демократа (ср.: *Прекрасное есть жизнь* — II, 10).

Как философ-материалист, мыслитель-социолог Н. Г. Чернышевский сделал громадный шаг вперед по сравнению с В. Г. Белинским и А. И. Герценом. Вполне очевидно, что терминология, связанная с выражением понятий, действующих в философском обиходе в период распространения идеализма в России (*абсолют*, *абсолютное*, *бесконечное* и т. д.), у Н. Г. Чернышевского имеет лишь полемическое назначение.

Заметную роль в обогащении лексики русского языка сыграли заимствования. Актуальность заимствований в 40—60-е годы XIX в. определяется нуждами языка, интернациональными связями русской науки и социальной мысли. Употребление заимствований, главным образом, из числа интернациональной лексики выдерживается у Н. Г. Чернышевского в рамках их целесообразности. Это слова с суффиксом *-изм*, обозначающие общественно-политические и научные течения, направления, учения, институты общественного и государственного устройства, качества, состояния: *Конституционализм* — VIII, 286 (впервые в Словаре Академии Наук 1912), *парламентаризм* — VI, 26 (в «Словаре иностранных слов» 1937) и т. д.; соотносительные с ними образования на *-ист*: «Умнейшие из *империалистов* рассудили, что вопрос о том, как держал себя... государь при Сольферино, — один из тех вопросов, о которых лучше всего молчать» — X, 250 (впервые помещается в Словаре Ушакова), «*конституционалисты*... восставали против... попыток, которыми пролагался единственный путь к успокоению общества» — VII, 154 (отмечается впервые в Словаре Академии наук 1912), «Не мешало бы ему (Кувье.— Д. А.) справиться о мнениях прежних *трансформистов*» — X, 766 (в ССРЛЯ); заимствованные слова с суффиксами *-аци(-я)/-яци(-я)*, *-изаци(-я)/-ци(-я)*: *кооптация* — II, 577 (в Словаре Академии наук 1913), с суффиксами *-ировать*, *-изировать*: «*Революционизировать* Италию» — VIII, 6 (в Словаре Ушакова); «Правительство во Франции *регламентировало* и внутреннюю промышленность» — IX, 703 (в «Словаре иностранных слов» 1937) и т. д.

²¹ См.: Ю. С. Сорокин, указ. соч., стр. 180—297.

²² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 206.

²³ В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 204.

К 60-м годам XIX в., прежде всего в рамках стилей публицистики, научных работ, философских, экономических, складывается хорошо развитая система отвлеченно-книжной лексики, в разработке и стабилизации которой Н. Г. Чернышевский сыграл значительную роль. Социально емкая семантическая и экспрессивная структура лексики, воплотившаяся в публицистике Н. Г. Чернышевского, оказалась вполне готовой для выражения новых, формирующихся понятий, явилась мощным орудием революционно-демократической пропаганды, идейно-политической борьбы.

Формирование русской марксистской терминологии, ее семантическая стабилизация имела своей базой языкотворческий опыт, развитую систему отвлеченно-книжной лексики, научно-публицистических стилей эпохи революционно-демократического движения, произведений Н. Г. Чернышевского в особенности.

АНДРЕЕВ Н. Д.

РАНЕИНДООЕВРОПЕЙСКИЕ КОРНИ С ВЕЛЯРНЫМИ СПИРАНТАМИ

В истории индоевропейского праязыка корни, содержавшие велярный спирант, играли особую роль: результаты фонетической эволюции этих корней были начальными точками большинства процессов, приведших к радикальной типологической перестройке ИЕ праязыковой системы — от изолирующего раннеиндоевропейского (РИЕ) состояния¹ к флективному позднеиндоевропейскому (ПИЕ)².

Соответственно, определение первоначального вида РИЕ велярноспирантных корней и анализ их дальнейшей судьбы при движении к ПИЕ периоду дают возможность понять такие процессы, как, во-первых, генезис словообразовательного аблаута, во-вторых, развитие от РИЕ свободного корнесложения к парадигматически связанным деривационным рядам, в-третьих, вычленение детерминантивов внутри этих рядов с последующим становлением ПИЕ основ как целостных образований, и, наконец, в-четвертых, превращение прежних полнозначных морфем в словоизменительные аффиксы.

Нам уже доводилось указывать³ на то, что существование трех велярных спирантов, а именно X^w , X , X^y , после вокализации давших три различные долгие контракционные гласные ($\acute{e}X^w = \bar{o}$, $\acute{e}X = \bar{a}$, $\acute{e}X^y = \bar{e}$), является решающим доводом в пользу того, что в ИЕ праязыке имелись не два, а три ряда велярных согласных: лабиовелярный ряд (G^w , K^w , G^{wh} , X^w), симплеветарный ряд (G , K , G^h , X) и палатовелярный ряд (G^y , K^y , G^y , X^y), каждый из которых по способам образования своих четырех конститuentов был вполне изоморфен зубному ряду (D , T , D^h , S).

Вопрос о количестве ИЕ велярных рядов и о существовании спирантов внутри них тесно связан с проблемой объема РИЕ корнеслова: при двух рядах велярных согласных и без учета спирантов праязыковой консонантизм состоял бы из 18 элементов, что давало бы 306 возможных двухэлементных сочетаний из неодинаковых фонем; при трех рядах и с учетом их спирантов праязыковой список согласных фонем расширяется до 25, а число бесповторных двухэлементных сочетаний — до 600.

По нашим данным⁴ репетуар РИЕ двухсогласных корней включал в себя 203 единицы, на базе которых к концу ПИЕ периода сложился корпус из более чем 4000 многоморфемных основ⁵. При этом фонологиче-

¹ В терминах И. М. Тронского оно относится к уровню «дальней» реконструкции (И. М. Тронский, *Общинеоевропейское языковое состояние*, М., 1967).

² Относится к уровню «ближней» реконструкции в тех же терминах.

³ Н. Д. Андреев, *Периодизация истории индоевропейского праязыка*, ВЯ, 1957, 2.

⁴ Н. Д. Андреев, *Происхождение индоевропейского аблаута*, в кн.: «Конференция. Ностратические языки и ностратическое языкознание. Тезисы докладов», М., 1977.

⁵ Многоморфемных генетически, в плане РИЕ деривации; для ПИЕ синхронного среза эти основы в большинстве случаев были уже опрошенными, полностью или частично утратившими внутреннюю форму.

ская оппозиция трех велярных рядов внутри корневого репертуара прослеживается с полной отчетливостью:

G^W-X^W «бык», G^W-X «приходить», G^W-X^Y «женщина»;
 $S-K^W$ «устраивать», $S-K$ «сечь», $S-K^Y$ «покрывать»;
 $G^{WH}-N$ «бить», G^H-N «грызть», $G^{YH}-N$ «шагать»;
 K^W-R «червь», $K-R$ «крепкий», K^Y-R «стадо».

Иначе говоря, РИЕ корневые оппозиции указывают на полновесную смыслоразличительную роль противопоставлений между лабиовелярным, симплеветелярным и палатовелярным рядами согласных.

Еще один важный аргумент в пользу существования трех ИЕ велярных рядов мы видим в генетической роли второго артикуляционного фокуса у лабиовелярного и палатовелярного рядов; эта роль заключалась в том, что оппозиция обоих двухфокусных рядов однофокусному была катализатором при возникновении качественного аблаута, содержавшего чередование $*o/*e$. Присутствие второго фокуса в спирантах двух названных рядов, т. е. в X^W и X^Y , эффективно маркировало их при противопоставлении более простому по своей артикуляции спиранту симплеветелярного ряда; в свою очередь силлабема получала маркирующую тембровую окраску под воздействием смежного X^W или X^Y , но не приобретала таковой по соседству с X , у которого актуальный для данного случая дистинктивный признак был выражен нулем. Впоследствии это различие привело к тому, что ПИЕ $*a$, возникшее при вокализации РИЕ не маркированного вторым фокусом X , оказалось вне системы морфонологизовавшихся аблаутных чередований⁶; таким образом, наличие именно т р е х велярных спирантов в составе РИЕ консонантизма объясняет, в конечном счете, почему участниками ПИЕ аблаутного чередования стали только $*o$ и $*e$, но отнюдь не $*a$.

Предлагаемое объяснение, на наш взгляд, привлекательно тем, что оно имеет сугубо внутрисистемный характер и не требует рассмотрения каких-либо специальных факторов извне, ответственных за эту «загадочную» разницу между функциональными судьбами $*a$ и $*o/*e$.

РИЕ велярносспирантные корни принадлежали к трем основным типам: 1) корни с исходом на велярный спирант, типа C_1-H_2 , где символом H обобщенно обозначается любой из велярных спирантов, X^W , X , X^Y , а символом C — всякий другой согласный; 2) корни с велярносспирантным началом, типа H_1-C_2 ; 3) корни, состоявшие из двух велярных спирантов, типа H_1-H_2 , где H_1 и H_2 обязательно не тождественны. Общее количество РИЕ корней, содержавших хотя бы один велярный спирант, равнялось 102, т. е. составляло половину корневого репертуара.

В ходе реконструкции РИЕ велярносспирантных корней мы опирались на следующий набор операционных правил диахронической интерпретации ПИЕ фактов:

Правило 1. Всякое ПИЕ $*a$ или $*ə$ представляло собой результат вокализации некоего H , т. е. одного из трех РИЕ велярных спирантов.

Правило 2. Каждый ПИЕ долгий сонант ($*\bar{u}$, $*\bar{i}$, $*\bar{r}$, $*\bar{l}$, $*\bar{n}$, $*\bar{m}$) возникал ассимиляторно — либо из спиросонантной пары вида $-H_1J_2-$ (где J — символ произвольного краткого сонанта), либо из соноспирантной пары вида $-J_1H_2-$.

⁶ Подробнее этот вопрос рассмотрен в работе: Н. Д. Андреев, Просодика вокализации раннеиндоевропейских гуттуральных спирантов и становление позднейиндоевропейского аблаута, в кн.: «Слоговая акцентуация индоевропейских языков», Л., 1978.

Правило 3. Семантическая корреляция ПИЕ основ вида $C_1\bar{e}C'_3$: $C_1\bar{e}C''_3$ (или $C_1\bar{o}C'_3$: $C_1\bar{o}C''_3$, или $C_1\bar{a}C'_3$: $C_1\bar{a}C''_3$) указывает на детерминативную природу как $-C'_3$, так и $-C''_3$, т. е. на РИЕ велярноспирантный корень первого типа, C_1H_2 - (где ПИЕ $C_1\bar{e}$ — из РИЕ $C_1X_2^Y$, $C_1\bar{o}$ — из $C_1X_2^W$, $C_1\bar{a}$ — из C_1X_2), распространенный различающимися детерминативами $-C'_3$ и $-C''_3$; примером могут служить ПИЕ основы **rēp-* и **rēt-*, обе обозначающие «подпорка, балка, бревно, ствол» (ср. др.-сев. *rāfr* и лат. *rētae*) и восходившие к РИЕ₁ корню $R-X^Y$ - с детерминативами $-P$ - и $-T$ - соответственно.

Правило 4. Смысловая корреляция ПИЕ основ вида $C_1\bar{e}C'_3$: $C_1\bar{a}C''_3$ (или $C_1\bar{o}C'_3$: $C_1\bar{a}C''_3$, или $C_1\bar{a}C'_3$: $C_1\bar{a}C''_3$) свидетельствует о детерминативной природе как $-C'_3$, так и $-C''_3$, т. е. о наличии РИЕ велярноспирантного корня типа C_1H_2 -, распространенного фонемно различными детерминативами $-C'_3$ и $-C''_3$; в качестве примера возьмем ПИЕ основы **bhōg'h-* и **bhāt-* с семантикой «бороться, биться, бить, толкать» (ср. др.-ирл. *bāgaid*, латыш. *buozties*, русск. диалектн. *базнуть*⁷ и кимрск. *bathu*, лат.-галл. *andabata*, русск. диалектн. *ботнуть*⁷), восходившие к РИЕ корню B^H-X^W - при детерминативах $-G^{YH}$ - и $-T$ - соответственно.

Правило 5. Семантическая соотнесенность ПИЕ основ вида $C_1\bar{e}C'_3$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C''_3$ (или $C_1\bar{o}C'_3$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C''_3$, или $C_1\bar{a}C'_3$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C''_3$) проясняет детерминативную природу как $-C'_3$, так и $-C''_3$, т. е. фиксирует РИЕ велярноспирантный корень первого типа, распространенный различающимися детерминативами $-C'_3$ и $-C''_3$; рассмотрим, например, ПИЕ основы **yēg''-* и **yēw-* со значениями «юность, молодость, сила, мощь» (ср. греч. ἡβή, литов. *raįėgà* и ср.-кимрск. *ieu*, авест. *yavan-*), восходившие к РИЕ корню $Y-X^Y$ - с детерминативами $-G^W$ - и $-W$ - соответственно.

Правило 6. Смысловая соотнесенность ПИЕ основ вида $C_1\bar{e}$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C'_3$ (или $C_1\bar{o}$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C'_3$, или $C_1\bar{a}$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C'_3$) раскрывает детерминативный характер $-C'_3$, т. е. показывает РИЕ велярноспирантный корень типа C_1H_2 -, представленный сперва в чистом виде, а затем с детерминативом $-C'_3$; не повторяя анализа ситуаций, описанных нами ранее (например, анализа синонимами ПИЕ основ **mē-* и **mēd-*, обоих со значением «мерить, измерять»⁸), исследуем здесь группу ПИЕ основ с семантикой «ранить, рана»: **wō-*, **wēn-*, **wedh-*, **wel-*, **wer-*, **wes-* (ср. греч. эол. ὠτέλλα из отглагольного **wō-tel-*, глоссу Гесихия *άζσκε* из презентноперфектного **wə-wə-sk-*, латыш. *vāts* из причастного **wō-t*; наряду с этими корневыми образованиями представлены и детерминативные: кимрск. *ym-wan-*, гот. *wunds*, оба из **wñ-*, санскр. *vadhati*, греч. ὠέω, оба из **wōdh-/wōdh-*, др.-ирл. *fuil*, кимрск. *gweli*, оба из **woli-*, алб. *varrë* из **wor-*, санскр. *nir-vāsana-* из **wōs-*), восходивших к РИЕ корню $W-X^W$ - либо непосредственно, либо с детерминативами $-N$ -, $-D^H$ -, $-L$ -, $-R$ - и $-S$ -.

Правило 7. Семантическая близость ПИЕ основ вида $C_1\bar{e}/\bar{o}C'_3$: $C_1\bar{e}/\bar{o}C''_3$ обнаруживает детерминативный характер как $-C'_3$, так и $-C''_3$, т. е. говорит о РИЕ корне первого типа, распространенном с помощью то $-C'_3$, то $-C''_3$; проанализируем, к примеру, ПИЕ основы **g'obh-* и

⁷ См. «Словарь русских народных говоров», 2, Л., 1966, стр. 50; 3, Л., 1968, стр. 130; обе эти формы остались вне поля зрения компаративистов (что, впрочем, можно сказать и о многих других русских диалектных формах, представленных в этом чрезвычайно ценном словаре).

⁸ Н. Д. Андреев, Из проблематики индоевропейских ларингалов, в кн.: «Докл. и сообщ. Ин-та языковедения АН СССР», 12, М., 1959.

**g'ogh-* с семантикой «сук, хворостина» (ср. литов. *žābas* и *žāgaras*), восходившие к РИЕ корню C^Y-X^Y - с детерминативами $-B^H$ - и $-G^H$ - соответственно.

Правило 8. Смысловая близость основ вида $\bar{e}C_2$ -: $\check{a}C_2$ - (или $\bar{o}C_2$ -: $\bar{a}C_2$ -, или $\bar{a}C_2$ -: $\check{a}C_2$ -), где в обеих основах выступает одно и то же $-C_2$ -, доказывает либо детерминативный характер последнего и в силу этого наличие корня третьего типа (см. правило 9), либо принадлежность $-C_2$ - к самому корню в качестве его второго элемента, тем самым квалифицируя данный корень как относящийся ко в т о р о м у типу, H_1C_2 -; подобный случай свидетельствует о ПИЕ редупликации, т. е. об основе вида $H_1\acute{e}-H_1C_2$ -; в качестве примера приведем ПИЕ основы * $\bar{o}r$ - и * $\acute{a}r$ - со значением «подниматься, приходить в движение, вставать, возбуждаться» (ср. санскр. *ārta*, *āra*, греч. *ἄρτο*, *ῥο-ρα* и арм. *y-ar̄nem*, хет. *a-ra-a-i*), восходившие к РИЕ корню X^W-R -, с удвоением ($X^W \acute{e}-X^W R$ -) и без него.

Правило 9. Семантическая контаминация ПИЕ основ вида $\bar{e}C_2$ -: $\check{a}C_2$ - (или $\bar{o}C_2$ -: $\check{a}C_2$ -, или $\bar{a}C_2$ -: $\check{a}C_2$ -), где $-C_2$ -, и $-C_2$ - не идентичны, сигнализирует о детерминативной природе как $-C_2$ -, так и $-C_2$ -, т. е. указывает на РИЕ корень т р е т ь е г о типа, H_1-H_2 -, распространенный посредством $-C_3$ '- или $-C_3$ -' (занимавшими место третьей фонемы в РИЕ дervative, но оказавшимися на второй позиции в ПИЕ деэтимологизованной основе); мы уже рассматривали примеры образований от РИЕ корней X^Y-X - «огонь» и $X-X^W$ - «острый»⁹, поэтому здесь мы разберем другую группу ПИЕ основ, а именно * $\bar{a}p$ -, * $\acute{a}k^u$ -, * $\acute{a}b$ -, * $\acute{a}w$ -, * $\acute{a}d$ -, * $\acute{a}gh$ -, обозначающих «вода, дождь, водоток, река» (ср. санскр. *āpa*-, лат. *aqua*, др.-ирл. *ab*-, санскр. *avatā*-, авест. *adu*-, др.-прусс. *aglo*) и восходивших к РИЕ корню X^W-X - «вода» при детерминативах $-P$ -, $-K^W$ -, $-B$ -, $-W$ -, $-D$ - и $-G^H$ - соответственно.

Правило 10. Если в ПИЕ основе содержатся два гласных ненулевой (краткой или долгой) ступени аблаута, то по крайней мере один из них имел неаблаутное происхождение, т. е. был тем или иным рефлексом вокализованного велярного спиранта.

Теория двух состояний ПИЕ основы, созданная Э. Бенвенистом и Е. Куриловичем, получила к настоящему времени широкое признание¹⁰. Реконструктивный анализ ПИЕ фактов эпохи распада праязыка на диалекты позволил нам сделать вывод¹¹, что в диахронически предшествующие периоды количество состояний ИЕ основы было, несомненно, больше двух.

Обобщая теорию Бенвениста — Куриловича, дадим теперь нашему выводу окончательную формулировку и зафиксируем, что аблаутный гласный мог занимать любую из следующих четырех позиций в ИЕ основе:

I. $C_1\acute{e}C_2$ -, например, **per*- (литов. *peř*); сюда же I. $C_1\acute{e}C_2C_3$ -, например, **peru*- (санскр. *pari*), и I. $C_1\acute{e}C_2C_3C_4$ -, например, **perxn*- (греч. *περῶν*);

II. $C_1C_2\acute{e}C_3$ -, например, **prom*- (др.-сев. *fram*); сюда же II. $C_1C_2\acute{e}C_3C_4$ -, например, **protu*- (санскр. *prati*-);

⁹ Н. Д. А н д р е е в, Чередование индоевропейских гуттуральных, в кн.: «Philologica. Исследования по языку и литературе», Л., 1973.

¹⁰ См., например: Вяч. В. И в а н о в, Разыскания в области анатолийского языкознания, в кн.: «Проблемы индоевропейского языкознания», М., 1964; О. Н. Т р у б а ч е в, Ремесленная терминология в славянских языках, М, 1966 (в этом отношении репрезентативен анализ корня **ker*- и его производных на стр. 246—247); W. С. С о w g i l l, Evidence for laryngeals in Greek, в кн.: «Evidence for laryngeals», Austin, 1960; J. P u h v e l, Laryngeals and Indo-European verb, Berkeley — Los Angeles, 1960; R. A n t t i l a, Proto-Indo-European Schwebeablaut, Berkeley — Los Angeles, 1969.

¹¹ См. публикации, упомянутые в примеч. 3, 9 и 6.

III. $C_1C_2C_3éC_4-$, например, **prtór-* (др.-англ. *furðor*); сюда же III. $C_1C_2C_3éC_4C_5-$, например, **prtéxs-* (лат. *portāre*);

IV. $C_1C_2C_3C_4éC_5-$, например, **prxwos-* (санскр. *pūrvasya*).

Такое положение вещей задавало четыре возможных состояния основы, причем номер рассматриваемого состояния следует определять по количеству корневых и детерминативных согласных, предшествующих аблаутному гласному (редупликационные элементы при определении номера состояния в расчет не принимаются).

Иначе говоря, в отличие от концепции двух состояний, интерпретирующей место аблаутной фонемы только в трехсогласных основах, мы рассматриваем переменный объем ИЕ основы, от двух до пяти согласных, а с добавлением аблаутного гласного — от трех до шести элементов; это означает, что мы считаем необходимым включить в схему состояний также и двухсогласный РИЕ корень, сохранившийся сам по себе, без детерминативов, но в ПИЕ уже переосмысленный как кратчайшая из основ.

Анализируя РИЕ корни первого типа, C_1H_2- , мы должны иметь в виду, что веларный спирант у этих корней в I состоянии оказывался в поствокальной позиции, в III и IV состояниях — в интерконсонантной, а во II состоянии — в предвокальном положении, где он в конце ПИЕ эпохи приобретал тенденцию исчезать, либо оставляя при этом лишь косвенные следы¹², либо не оставляя следа вообще¹³. Заданная таким развитием оппозиция между I и II состояниями основы от корней типа C_1H_2- используется в наших правилах 5 и 6; правило 4 опирается на противопоставление I состояния основы от таких корней ее же III и IV состояниям; в правиле 3 используется наличие двух разных по составу I состояний основ, образованных от корня рассматриваемого типа; для правила 7 исходным пунктом является наличие двух разных по составу II состояний основ, производных от такого корня.

Применение операционных правил 3—9 позволяет, отправляясь от наблюдаемой близости между ПИЕ основами в плане содержания, выполнить следующий шаг внутренней реконструкции — установить генетическую близость этих основ в плане выражения, заданную происхождением от общего РИЕ корня. После того как искомый РИЕ корень восстановлен, создается возможность осуществить новый реконструктивный шаг, на этот раз состоящий в обратном переходе — от плана выражения к плану содержания: речь идет теперь о расшифровке семантико-иерархических отношений между ПИЕ основами, производными от одного и того же РИЕ корня. Наиболее важную часть экспликации такого семантического дерева составляет выявление протосеммы, т. е. самого раннего, исходного значения корня, из которого выводятся все остальные, возникшие позднее и являющиеся, в силу этого, вторичными семемами.

Сравнение ст.-слав. *сѣж*, *сѣмА*, лат. *sēvi*, *sātus* с полной очевидностью демонстрирует чередование ПИЕ основ **sēy-*, **sēm(n)-*, **sēw-*, **sāt-*, которое, согласно правилам 3 и 4, свидетельствует в пользу РИЕ корня $S-X^Y-$ «сеять»; наряду с I состоянием, SeX^YC_3- , и III состоянием, SX^YC_3o- , представленными в перечисленных ПИЕ основах, возможно также II состояние, вида SX^YeC_3- , которое мы и обнаруживаем в лат. *sēgēs* «посев, нива, пашня, поле», восходящем ко II. SX^YeG- . Опираясь на эту реконструкцию, мы не только устанавливаем, что в плане выражения II состоя-

¹² Н. Д. Андреев, Германский глагольный аблаут в свете ларингальной теории, в кн.: «Труды Ин-та языкознания АН СССР», IX, М., 1959.

¹³ Н. Д. Андреев, Особенности структуры индоевропейского корня и чередование индоевропейских гуттуральных, в кн.: «Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков», М., 1972.

ние SX^YeG - представляет собой дериват от РИЕ корня $S-X^Y$ -, но и определяем в плане содержания иерархическое отношение между протосемой «сеять» и вторичными семами «посев, пашня».

Аналогичным образом сравнение греч. $\delta\acute{\iota}\delta\omicron\mu\iota$, $\delta\acute{\omicron}\rho\omicron\nu$, лат. $\dot{d}\acute{o}n\dot{u}t$, $\dot{d}\acute{a}t\dot{u}s$, санскр. $\dot{d}\acute{i}t\acute{a}$ -, согласно правилам 3 и 4, указывает на РИЕ корень $D-X^W$ - «давать»; наряду с I состоянием в основах $*-d\acute{o}-$, $*d\acute{o}r-$, $*d\acute{o}n-$ и III состоянием в $*d\acute{a}t\acute{o}-$, возможно II состояние $D X^W e C_3(C_4)$ -, засвидетельствованное в санскр. $\dot{d}\acute{o}\acute{s}$ - «рука», др.-ирл. $\dot{d}\acute{o}e$ «рука», восходящих ко II. $D X^W e W(S)$ -. Легко видеть, что в плане выражения II состояние $D X^W e W$ - является дериватом от РИЕ корня $D-X^W$, а в плане содержания протосема «давать» первична по отношению ко вторичной семе «рука» (= «то, чем дают»).

Еще в начале века ученик Ф. де Соссюра А. Мейе писал: «В индоевропейском многие основы состояли из одного только корня; тем самым проглядывает древнее состояние языка, когда каждый корень мог служить основой, не будучи снабжен суффиксом... Эти наблюдения позволяют угадать за индоевропейским флективным типом, типом столь своеобразным, предшествующее состояние языка типа более обычного, где слова были неизменяемые...»¹⁴. В другом месте той же книги А. Мейе уточнил свою мысль об этом более раннем типе: остатками его являются первые части сложных слов¹⁵. Продолжая сосюрговскую линию типологической реконструкции РИЕ праязыкового состояния¹⁶, ученик А. Мейе Э. Бенвенист подчеркивал, что «в своей простейшей форме имя равняется корню»¹⁷.

Нам представляется, что логическим завершением развития идей Ф. де Соссюра, А. Мейе и Э. Бенвениста должна стать гипотеза об изолирующем строе РИЕ праязыка, в котором основным способом словообразования было корнесложение. Следствием этой гипотезы является концепция б и н о м а, т. е. двухкорневого сложения как основной формы РИЕ производного слова, — формы, давшей начало всем последующим видам словообразования, включая детерминативное и аблаутное. Типичным примером ПИЕ основы биномиального происхождения может служить $*k'agh-$ «град» (др.-сев. $hagl$, ср. греч. $\kappa\acute{\alpha}\chi\lambda\eta\grave{\eta}$) из РИЕ $K^Y X-G^H L$ -, где семой K^Y-X - было «падать» (лат. $cad\acute{o}$, ср. санскр. $\acute{s}a\acute{c}\acute{a}d\acute{a}$), а G^H-L - означало «лед, ледяной» (укр. $o\acute{z}e\acute{l}e\acute{d}a$, ср. фарси $\acute{z}\acute{a}l\acute{a}$, греч. $\chi\acute{\alpha}\lambda\acute{\alpha}\zeta\acute{\alpha}$).

Рассмотрим еще три биномиальные образования, имеющие в качестве первой части сложного слова корень типа C_1-H_2 -:

1. ПИЕ основу $*kalw$ - «лысый» (лат. $calvus$, ср. ведич. $k\acute{a}l\acute{v}\acute{a}l\acute{i}k\acute{r}t\acute{a}$ -), отражавшую РИЕ $KX-LW$ -, куда $K-X$ - входило в значении «голова» (лат. $caput$, ср. греч. $\kappa\acute{\alpha}\rho$, др.-англ. $hafola$), а протосемой $L-W$ - было «свободный» (греч. $\lambda\acute{\upsilon}\omicron$, $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\epsilon}\upsilon\theta\acute{\epsilon}\rho\omicron\varsigma$, ср. арм. $lucanem$);

2. ПИЕ основу $*dak'r$ - «слеза» (ст.-брет. $dacr$, др.-в.-нем. $zahar$, ср. греч. гом. $\delta\acute{\alpha}\chi\rho\upsilon$), представляющую собой РИЕ сложение $D X-K^Y R$ -, в котором $D-X$ - выступало как протосема «течь» (санскр. $gaja-d\acute{a}-na$ -, хет. $da-me(n)k$ -, ср. авест. $d\acute{a}-nu$ -, арм. $ta-muk$), а K^Y-R - имело значение «едкий» (литов. $\acute{s}armas$, ср. др.-в.-нем. $haran$), — об отношении этого бинома к ПИЕ $*ak'r$ - «слеза» будет сказано ниже, при анализе корней третьего типа;

¹⁴ А. Мейе, Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков, М.—Л., 1938, стр. 171. (Первое издание вышло в начале века.)

¹⁵ Там же, стр. 208.

¹⁶ Ф. де Соссюр, Мемуар о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках, в кн.: Ф. де Соссюр, Труды по языкознанию, М., 1977.

¹⁷ Э. Бенвенист, Индоевропейское именное словообразование, М., 1955, стр. 207.

3. ПИЕ основу **paly-* «бледный» (санскр. *palitá-*, ср. арм. *alikh*, лат. *pallor*) из РИЕ бинома *PX^Y-LY-*, где семей у *P-X^Y-* было «болезнь» (санскр. *pāmān-*, греч. πῆμα), а *L-Y-* значило «след; оставлять» (гот. *laists*).

Корни типа *C₁-H₂-* участвовали в биномиальном образовании не только как первые, но и как вторые части сложения: например, ПИЕ основа **k^uri-* (т. е. **k^uria-*, см. правило 2) «покупать» (греч. πρίασο, санскр. *krīnāti*, др.-ирл. *crīth*) восходит к РИЕ корнесложению *K^WR-YX-*, образованному из *K^W-R-* «обмен» (др. англ. *hwearf*, тохар. *kuryar*) и *Y-X-* «стремиться, рвение» (ст.-слав. *гаръ*, ср. санскр. *yāvan-*, греч. дор. ζᾶλος, др.-в.-нем. *jagōn*).

При переходе от РИЕ эпохи к ПИЕ, т. е. в среднеиндоевропейском (СИЕ) периоде, возникали разного рода переразложения, связанные с частичной или полной дэитимологизацией РИЕ биномов и приводившие к тому, что прежний четырехсогласный бином начинал восприниматься как состоящий из СИЕ трехсогласной основы плюс детерминатив, причем последний не имел четко выраженного собственного значения и вследствие этого получал тенденцию утрачиваться.

К примеру, ПИЕ основа **saly-* «соль» (ст.-слав. *соль*, греч. ἄλιζω) восходила к РИЕ биному *SX-LY*, где *S-X-* имело протосему «солнце» (гот. *sauil* и *sunpō*, греч. дор. ἄλιος, санскр. *sūra-*), а *L-Y-* еще сохраняло значение «оставлять, оставаться» (см. выше), откуда складывалось значение «от солнцепека оставшееся, выпаренное, соль». В СИЕ произошла частичная дэитимологизация, после чего рядом с опрощенным и целостно воспринимавшимся *SXLY-* «соль» появился родственный, но уже с вычлененным детерминативом СИЕ дериват *SXL-Y-* «соленый» (санскр. *salilá-*, ср. латыш. *sālīts*), и, наконец, оказалось возможным образование ПИЕ основы **sal-* со значением «соленая вода, море» (греч. ἄλιη, ср. литов. *salà*, а также лат. *in-sula*, греч. ἔν-αλος, оба из **en-sal-*).

При рассмотрении РИЕ корней второго типа, *H₁-C₂-*, следует исходить из того, что велярный спирант у этих корней в I состоянии всюду (кроме хеттского и армянского) имел тенденцию исчезать, лишь изредка передавая тембровую окраску следовавшему за ним аблаутному гласному; во II, III и IV состояниях он либо вокализровался в ПИЕ **a-* или **э-*, либо включался в долгий сонант (если вторым согласным корня был *J₂*), либо исчезал бесследно; при редупликации вида *H₁é-H₁C₂-* он предопределял результирующую контракционную долготу и тембр ПИЕ гласного перед вторым согласным РИЕ корня, — заданная этим развитием оппозиция состояний ПИЕ основы фиксируется во второй части нашего правила 8.

Сравнивая ст.-слав. *око*, греч. ὄκω, санскр. *ākṣi*, лат. *oculus*, литов. *akis*, мы возводим их все к I состоянию *X^WéK^W(C₃)-* от корня второго типа *X^W-K^W-* «око, глаз, видеть». Анализ греч. ὄπωμα и ὀπίκειω, а также санскр. *īkṣatē*, обнаруживает три разные вида редупликации: полную, *X^WK^We-X^WK^W-*, избыточную, *X^WK^WY-X^WK^WeW-*, а также частичную, *X^W(i)X^WK^WSe-*; последняя особенно интересна тем, что она демонстрирует, как именно в санскрите отражался результат вокализации двух смежных велярных спирантов (ПИЕ **э(i)ək^use-*, индоиран. **i(i)ikṣa-*, откуда санскр. *īkṣa-*).

РИЕ корни типа *H₁-C₂-* участвовали в образовании биномов, причем как в левой, так и в правой части сложения:

1. ПИЕ основа **okuy-* «предсказывать, проричать» (санскр. *acyuta-*, греч. атт. ὀκτεύωμαι) восходит к РИЕ биному *X^WK-YW-*, где *X^W-K-* имело протосемей «дума, размышлять» (гот. *aha*, ср. греч. ὄκνος), а *Y-W-* означало «предстоящий путь, надлежащее направление» (авест. *ya-on-*, ср. лат. *justa*);

2. ПИЕ основа $*k'wəh^{w-}$, $*k'ūh^{w-}$ «светиться, сверкать» (санскр. *śūka-*, русск. *суч*, арм. *šukh*) возводится к РИЕ корнесложению $K^Y W-X^W K^W-$, в котором у $K^Y W-$ протосемой было «пес, собака» (тохар. *ku*, санскр. *śvā*, греч. *κῶν*), а $X^W K^W-$ означало «глаз, глаза́» (см. выше); результирующая семантика: «светиться, как собачьи глаза в темноте» (характеристика, общая с глазами ночных птиц).

Чрезвычайно трудны для исследования РИЕ корни третьего типа, состоявшие из двух нетождественных велярных спирантов, $H_1 H_2-$. В I состоянии они имели ПИЕ рефлексом контракционную долготу с тембром, который определялся качеством второго корневого согласного, $-H_2-$; при редупликации вида $H_1 é-H_1 H_2-$ этот тембр контракционного долгого гласного задавался качеством первого согласного в корне, $-H_1-$; II, III и IV состояния приводили к очень разнообразным процессам вокализации, которые не поддаются краткому описанию¹⁸. На оппозициях I состояния другим состояниям основ от корней третьего типа построены наши правило 9 и правило 8 в его начальной части.

Сопоставление различных ПИЕ основ от РИЕ корня $X^W X-$ «вода» было произведено выше, когда мы иллюстрировали правило 9: санскритская форма отражает I состояние, остальные — II, III и IV.

Корни с двумя велярными спирантами также участвовали в биномиальном образовании, причем как на первом, так и на втором месте сложения:

1. Чередование ПИЕ основ $*āk'r-/*āk'r-$ «слеза» (тохар. *ākār* и литов. *ašarā*, санскр. *āśra-*, ведич. *aśru*) отражало различные состояния РИЕ бинома $X^W X-K^Y R-$, оба компонента которого, $X^W X-$ «вода» и $K^Y R-$ «едкий», уже рассмотрены нами; таким образом, эта загадочная и породившая столько гипотез явная несводимость друг к другу ПИЕ основ $*dak'r-$ и $*āk'r-$ есть не что иное, как различие между двумя РИЕ биномами, имевшими разные первые корни, но один и тот же второй: $D X-K^Y R-$ («течь» плюс «едкий», см. выше) и $X^W X-K^Y R-$ («вода» плюс «едкий»), которые начались в обоих случаях «плакать, (горючие) слезы»;

2. ПИЕ основа $*k'lō-$ «полоскать» (греч. *κλότα*, ср. литов. *šluōstas*, *šlūoja*) II состояние РИЕ бинома $K^Y L-X^W X-$, где протосемой $K^Y L-$ было «наклоняться» (др.-в.-нем. *haldon*, лат. *-clīnō*, ср. лит. в. *šalīs*); в сочетании с $X^W X-$ «вода» создавалось результирующее значение «наклоняться к воде, мыть (посуду), полоскать (белье)».

Таким образом, биномиальные образования вида $H_1 H_2-C_3 C_4-$ и $C_1 C_2-H_3 H_4-$ дают дополнительные доказательства того, что качественные характеристики элементов РИЕ двухспирантного корня, H_1- и H_2- , были различными: например, II состояние $*k'lō-$ указывает на X_1^W- , в то время как I состояние $*āk'r-$ свидетельствует о $-X_2-$; вместе взятые, эти два бинома (как, впрочем, и целый ряд других, не приведенных здесь) подтверждают состав исследуемого РИЕ корня третьего типа, $X_1^W X_2-$ «вода».

Благодаря процессам вокализации, прошедшим в ПИЕ периоде, итоговые отражения велярноспирантных корней трех рассмотренных типов заметно отличались от рефлексов остальных РИЕ корней рядом специфических черт; однако для более ранних эпох, когда велярные спиранты еще удерживали свою изначально консонантную природу, словообразовательная роль РИЕ корней рассмотренных нами типов, $C_1 H_2-$, $H_1 C_2-$ и $H_1 H_2-$, в принципе ничем не отличалась от деривационного поведения РИЕ корней типа $C_1 C_2-$; покажем это на двух примерах:

1. В ПИЕ основах $*ghelū-$ и $*ghlōw-$ «черепаха» (ст.-слав. *желы*, греч. *χεῖλῶνη*, *χεῖλῶνη*) отражены I и II состояния бинома $G^H L-X^W W-$, получен-

¹⁸ Изложение основных особенностей этих процессов дано в статьях, указанных в примеч. 9 и 6.

ного сложением РИЕ корня G^H-L- , вторичной семой которого было «лед, ледяной» (см. выше), а протосемой — значение «твердая оболочка, желвак», с РИЕ корнем $*X^W-W-$ «одевать, быть одетым» (литов. *ãvi, aũtas*, арм. *aganim* из **ãwãn-*); иначе говоря, РИЕ корень, выступавший в биноме $K^Y X-G^H L-$ на втором месте сложения, появился на первом месте в биноме $G^H L-X^W W-$;

2. ПИЕ основа **plut-* «богатство» (греч. *πλοῦτος*) восходит к биному $PL-WT-$, образованному сложением РИЕ корня $P-L-$ «полный» (ст.-слав. *пълнь* греч. *πλήρης*) с РИЕ корнем $W-T-$ «год» (греч. *ἔτος*, санскр. *vatsá-*), при результирующей семантике: «годовое заполнение (хранилищ), богатство».

Итак, РИЕ корни любого типа обнаруживаются на обеих позициях внутри бинома, что и доказывает первоначальное равноправие всех типов в ту эпоху, когда корнесложение было главным (а сперва — и единственным) способом ИЕ деривации¹⁹.

¹⁹ Более подробный анализ многочисленных — около тысячи — ИЕ корнесложных образований содержится в монографии «Раннеиндоевропейский праязык (корнеслов, корнесложение, генезис детерминативов и аблаута)», подготовленной нами к печати.

Роберт А. ХОЛЛ мл.

КРИТИКА ТЕОРИИ ХОМСКОГО*

Начиная с 1957 г., в работах Н. Хомского был сформулирован подход к описанию языка, известный как трансформационно-генеративный (ТГ)¹, который позднее был распространен его последователями. К середине 70-х годов этот подход и лежащие в его основе теоретические доктрины превратились в доминирующую ортодоксию лингвистов США² и повсеместно оказывали решающее влияние³. ТГ подход был, если не «парадигмой» в узком смысле, первоначально предложенной Т. Куном⁴, то по меньшей мере «путеводной звездой» в течение последних двух десятилетий⁵. Этот подход был настолько престижным, что под его воздействием теоретики в других областях знания восприняли хомскианские категории и терминологию (например, Л. Бернштейн⁶ старался обнаружить «глубинную структуру» музыки). С самого начала, однако, теории Хомского и его последователей подвергались критическому рассмотрению, которое, к сожалению, не получило должного внимания. В настоящей статье моя задача заключается в том, чтобы рассмотреть основные направления в критике взглядов Хомского на язык и его изучение в отношении к лингвистической структуре, языковую деятельность людей, идею «врож-

* Как известно, высказывания Н. Хомского о языке с конца 50-х годов получили широкое распространение среди некоторой части зарубежных лингвистов. Нашли они своих сторонников и среди отдельных советских лингвистов. В то же время идеи Хомского получили резко критические отзывы в зарубежной и советской литературе. Многие из зарубежной критической литературы остаются малоизвестными или вовсе не известными широким кругам советских читателей. Поэтому Редакция журнала «Вопросы языкознания» считает полезным опубликовать, с любезного разрешения автора, статью Роберта А. Холла (младшего) «Критика теории Хомского» (Robert A. Hall, Jr., Some critiques of Chomskyan theory, «Neuphilologische Mitteilungen», LXXVIII, 1, 1977, стр. 86—95).

¹ Особенно: N. Chomsky, Syntactic structures, The Hague, 1957; его же, Current issues in linguistics, The Hague, 1964; его же, Aspects of the theory of syntax, Cambridge (Mass.), 1965; его же, Topics in the theory of generative grammar, в кн.: «Current trends in linguistics», ed. by T. A. Sebeok, 3, The Hague, 1966, его же, The general properties of language, в кн.: «Brain mechanisms underlying speech and language», ed. by C. H. Millikan and F. L. Darley, New York, 1967; его же, Language and mind, New York, 1968. Полную библиографию работ Хомского см.: W. Kater, E. Palasak, Chomsky bibliography, «Language Sciences», 40, 1976.

² A. Makkai, Madison-Avenue advertising: a scenario, в кн.: «The first LACUS forum», ed. by A. and V. Makkai, Columbia (S. C.), 1974, а также: J. D. McCawley, ed. by P. Reich, Columbia (S. C.), 1975.

³ Ср., например: N. Ruwet, Introduction à la grammaire générative, Paris, 1967; M. Bierwisch, Modern linguistics: its development, methods and problems, The Hague, 1971; J. P. Maher, [рец. на кн.:] M. Bierwisch, Modern linguistics: its development, methods and problems, «Historiographia linguistica», 1, 1974; и многие другие работы.

⁴ Th. S. Kuhn, The structure of scientific revolutions, Chicago, 1961; R. Anttila, Revelation as linguistic revolution, в кн.: «The first LACUS forum», стр. 171—176.

⁵ Ср.: «Studies in the history of linguistics: traditions and paradigms», ed. by Dell Hymes, Bloomington, 1974, стр. 20—23.

⁶ L. Bernstein, The unanswered question, Cambridge (Mass.), 1976.

денности» языка, типы анализа, практикуемого Хомским и его последователями, соотношение лингвистики и других наук, взгляды Хомского на историю языкознания.

Наиболее серьезные возражения против воззрений Хомского на лингвистическую структуру вызваны положением, согласно которому Хомский рассматривает язык как вполне определенную, закрытую, жесткую и статичную систему⁷. В результате хомскианская модель языка игнорирует открытость лингвистических структур, не принимает во внимание того факта, что эти структуры никоим образом не являются во всех отношениях четкими, логическими, последовательными системами. Если бы язык действительно был таким, как его представляет Хомский, то не существовало бы никакой возможности его изменения с течением времени. Однако с тех пор, как Данте заметил, что «язык не может быть ни долговечным, ни постоянным, подобно остальному, что у нас имеется, например, обычаям и одежде, должен изменяться в связи с расстоянием между местностями и течением времени» (Данте Алигьери, *О народном красноречии*, «Малые произведения», М., 1968, стр. 277), изменчивость считается основной характеристикой человеческого языка. В центре любой языковой системы действительно имеется ядро относительно устойчивых моделей построения. Однако даже эти модели подвержены определенным ограничениям («gubbery constraints», как их назвал Хоккет⁸); на периферии же языковой системы всегда обнаруживаются переходные явления, присущие всем уровням языка.

Одним из основных факторов, способствующих созданию иллюзии того, что язык является застывшим и абсолютно стабильным, был почти исключительно письменный характер (языкового) материала, на котором Хомский и его последователи основывали свой анализ. Таким образом, многие аспекты языкового общения либо были полностью упущены из виду, либо их языковые выражения были втиснуты в грамматику, тогда как в действительности они относятся к произнесению (фонетике) и в первую очередь к интонации⁹. Для теоретиков ТГ подхода¹⁰ типично рассмотрение интонации в качестве вторичной по отношению к грамматике и полностью зависимой от нее, в то время как фактически интонация является первым аспектом языковой структуры, усваиваемым ребенком¹¹. Интонация — это та основа, на которой строится вся остальная значимая языковая коммуникация, а не простая тональная репрезентация грамматических понятий. Так, Д. Болинджер¹² убедительно показал, что повелительные предложения в английском языке отличаются от других типов предложения своей интонацией, а не какими-либо трансформациями.

Является ли язык индивидуальной или социальной деятельностью? Несомненно, язык и то и другое, поскольку он существует исключительно в индивидууме, но используется в социальных целях при общении каждого индивидуума с другими людьми или с самим собой. Хомскианское настойчивое пристрастие к генеративному подходу привело, однако, к одностороннему уклону: исключительное внимание уделяется роли говорящего. Неоднократные утверждения Хомского о том, что он имеет

⁷ Как показано в кн.: Ch. F. Hockett, *The state of the art*, The Hague, 1968, стр. 56—59.

⁸ Ch. F. Hockett, *The state of the art*, стр. 61.

⁹ Ср.: L. Pap, *Linguistic terminology as a source of verbal fictions*, «Language sciences», 1976.

¹⁰ Например: R. P. Stockwell, *The place of intonation in a generative grammar of English*, «Languages», 1960.

¹¹ Ср.: W. von Raffler-Engel, *L'intonazione come prima espressione linguistica dell'infante*, «Il Lattante», 37, № 1, 1966.

¹² D. Bolinger, *The imperative in English*, «To honor Roman Jakobson», 1967.

дело с «идеальным говорящим-слушающим», звучат неубедительно, так как при этом не учитывается важность реакции говорящего на то, что он слышит, и его интерпретация услышанного¹³. Г. Фауст¹⁴ справедливо отметил: «В действительности идеальный говорящий-слушающий Хомского совсем не принадлежит какой-нибудь языковой общности. Это одинокий индивидуум, окруженный со всех сторон речевыми зеркалами».

Человеческий язык является несомненно значимым, и именно общение между людьми — его основная функция¹⁵. Как отметил Ч. Хоккет¹⁶, Хомский поначалу, вслед за своим учителем З. Харрисом¹⁷, ошибочно рассматривал грамматику как «замкнутое в себе исследование, не зависящее от семантики»¹⁸, а значение — как нечто налагаемое сверху после «порождения» структурных комбинаций. Однако грамматика, хотя она и может быть автономной, не может быть независимой от значения, на что указывали многие лингвисты от А. Райхлинга¹⁹ до Б. Грея²⁰ и Д. Болинджера²¹. Невозможно также «сохранить абстрактную математическую точность формы и одновременно объяснить все повседневные возможности семантического употребления», как пишет А. Райхлинг. В своих более поздних работах²² Хомский вынужден был признать существование и релевантность значения²³, но при этом поместил его в недостижимую и недоказуемую «глубинную структуру». Применительно к английскому языку хомскианская «глубинная структура» представляет собой не что иное, как оголенную синтаксическую основу главного предложения с элементами «субъект» и «предикат», некритически заимствованными из традиционной грамматики²⁴. Для других языков «глубинная структура» обычно оказывается, как ни странно, просто английским эквивалентом соответствующих конструкций²⁵, которые тем самым втискиваются в прокрустово ложе английской грамматики точно так же, как в более ранних описаниях живые языки насильно облакались в формы латинского²⁶. Таким образом, Хомский сократил до минимума семантический аспект языка²⁷, предельно распирав синтаксический аспект, что и привело в результате к несоответствиям и искажениям.

¹³ Ch. F. Hockett, Grammar for the hearer, в кн.: «Structure of language in its mathematical aspects», ed. by R. Jakobson, Providence, 1961.

¹⁴ G. P. Faust, [пер. на кн.:] N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, «General linguistics», 10, 1970, стр. 46.

¹⁵ Ср. почти все основные дискуссии о языке, например: E. Sapir, Language, New York, 1921, стр. 13—17, 38—42. L. Bloomfield, Language, New York, 1933, стр. 139—157; Ch. F. Hockett, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 139—141. 570—585; и др.

¹⁶ Ch. F. Hockett, The state of the art, стр. 67—75; ср. также: B. Grunig, Les théories transformationnelles: exposé critique, «La linguistique», 3, 1966, стр. 55—71.

¹⁷ Z. Harris, Methods in structural linguistics, Chicago, 1951, стр. 186—195, 363.

¹⁸ N. Chomsky, Syntactic structures, стр. 106.

¹⁹ A. Reichling, Principles and methods of syntax: cryptanalytical formalism, «Lingua», 10, 1961, стр. 3—5.

²⁰ B. Gray, Towards a semi-revolution in grammar, «Language sciences», 29, 1974.

²¹ D. Bolinger, Meaning and memory, «Forum linguisticum», 1, 1976.

²² N. Chomsky, Aspects of the theory of syntax, и следующие работы.

²³ Ср.: B. Saitjant, Some observations about transformational grammar, «La Linguistique», 2, 1967, стр. 28—29.

²⁴ Как отмечалось в кн.: E. M. Uhlenbeck, Critical comments on transformational-generative grammar 1962—1972, The Hague, 1975, стр. 108—111.

²⁵ Ср., например, для тайского языка: R. B. Noss, The ungrounded transformer, «Language sciences», 23, 1972.

²⁶ Ср.: B. Collinder, Noam Chomsky und die generative Grammatik, Eine kritische Betrachtung, «Acta Societatis linguisticae Upsaliensis», 2, 1970; L. Thébaut, M. Thébaut, La syntaxe des langues romanes et l'universalité des structures profondes, «Bulletin de la Société roumaine de linguistique romane», 1971—1972, 8; G. Steiner, After Babel: aspects of language and translation, Oxford, 1975, стр. 106.

²⁷ См.: E. M. Uhlenbeck, указ. соч., стр. 30—31, 55—56, 89—101.

То, что «поверхностные структуры» языков отличаются друг от друга, признают все. Однако Хомский последовательно подчиняет изучение «поверхностных» явлений изучению «глубинной структуры», утверждая, что последняя и есть единственная основа, на которой лингвистическая теория может выполнить то, что, по его мнению²⁸, является ее основной задачей: «разработать описание лингвистических универсалий» и основанную на этом «общую грамматику». Однако, исходя из недостижимости «глубинной структуры», эти универсалии никогда не могут быть выявлены путем простого сравнения фактов различных языков или путем межязыковых обобщений²⁹. Поставленная цель может быть достигнута только на основе априорных рассуждений, вроде тех, которые представлены в книге под редакцией Е. Баха и Р. Хармса³⁰.

Как отмечал Ч. Хоккет³¹, всякие поиски такой «общей грамматики» выглядят как разрозненные и случайные «снайперские выстрелы». Аналогичное замечание сделано Дж. Стайнером³², который писал: «на каждом уровне языка претензии на универсальность оказываются необоснованными или ниспровергаются аномалиями. [...] Вместо того, чтобы быть строгим и исчерпывающим, описание „универсальных лингвистических признаков“ часто оказывается не более, как неполным перечнем отдельных наблюдений.»

Различие между «глубинной» и «поверхностной» структурой соотносится с двусторонней оппозицией «компетенции» и «употребления». Эти два понятия обнаруживают явное подобие сосюрровскому разграничению между *langue* и *parole*, но не в значении противопоставления коллективного и индивидуального употребления, а в том смысле, что они отражают абсолютную потенциальную способность говорящего к языковой деятельности, противопоставленную частичным проявлениям этой деятельности в отдельных случаях. Как хомскианское, так и сосюрровское противопоставления страдают неизбежным недостатком бинарных оппозиций, ибо исключают возможность третьего. Хомский оказался не в состоянии увидеть различие между врожденной, специфически человеческой способностью усваивать и использовать языковые системы, с одной стороны, и *know-how*, которую каждый индивидуум приобретает с возрастом в данной языковой общности и по мере усвоения данного языка — с другой стороны. Но различие это не ново и было успешно сформулировано Данте в хорошо известном фрагменте из «Рая»:

«Естественно, чтоб смертный говорил;
Но — так вль по-другому, это надо,
Чтоб ~~к~~ природа, а он сам решил»

(Данте Алигьери,
Божественная комедия,
[М., 1967, стр. 431].

Объединив умение говорящего пользоваться языком и его (бесспорно генетически предопределенную) способность к усвоению языка, Хомский измыслил абстрактную, совершенную, по определению, «компетенцию», которая не соответствует ничему наблюдаемому или выводимому из наблюдаемых фактов и бесполезна для описания любого языка, как отмечали

²⁸ N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*, стр. 95.

²⁹ Как это попытались сделать некоторые ученые [*Universals of language*], ed. by J. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963].

³⁰ *Universals in linguistic theory*, ed. by E. Bach, R. Harms, New York, 1967.

³¹ Ch. F. Hockett, *The state of the art*, стр. 76.

³² G. Steiner, *After Babel*, стр. 95; 98—108.

многие лингвисты³³. Оставив без внимания роль индивидуума как слушающего, Хомский жестко ограничил возможности объяснения онтогенеза каждого идиолекта. Если отрицать, как это последовательно делает Хомский³⁴, что говорящий формирует свой идиолект путем наблюдения и имитации других говорящих, можно оказаться в положении, когда в дальнейшем теоретизировании приходится полагать только на то, что говорящий привносит в свое собственное языковое развитие. Хомский попытался выдвинуть из тупика, который он сам себе создал, предложив гипотезу о существовании врожденного «механизма усвоения языка» — «Language-Acquisition-Device» («L. A. D.»)³⁵.

Существование такого специального механизма, отличного от нормальных процессов усвоения знания человеком, не подтверждается никакими данными. Как отметил Г. Путнам³⁶, аргумент Хомского в доказательство идеи врожденности сводится к следующему восхищенному высказыванию: «Ах! как сложно умение, которым овладевает каждый нормальный взрослый человек. Каким же еще оно может быть, если не врожденным?»³⁷. В сущности языковая структура сложна не до такой степени, и Н. Стеммер³⁸ наглядно показал, что нет никакой необходимости с абстрактной теоретической точки зрения рассматривать усвоение языка человеком как отличное в том или ином отношении от деятельности людей или животных, в которой проявляется их способность к обучению вообще. В ходе последних обсуждений³⁹ выяснилось, что с позиций более общего подхода, при учете данных обучения на основе восприятия и реакций «субъект — субъект» (S — S reactions), нет необходимости рассматривать наследственность и окружающую среду как взаимоисключающие факторы в усвоении языка или любого другого знания. Предположение о существовании специального механизма усвоения языка (L. A. D) также противоречит данным непосредственного наблюдения над тем, как дети овладевают первым языком⁴⁰.

Техника ТГ описания заключается, по сути, в установлении серии правил-инструкций человеку или машине, применением которых данное сочетание элементов заменяется другим сочетанием, причем правила дей-

³³ Например: Ch. F. Hockett, The state of the art, стр. 77; W. F. Twaddell, Straw men and pied pipers, «Foreign language annals», 6, 1973, стр. 324—325; E. A. Esper, Analogy and association in linguistics and psychology, Athens (Georgia), 1973, стр. 166—167; B. L. Derwing, Transformational grammar as a theory of language acquisition: a study in the empirical, conceptual and methodological foundations of contemporary linguistic theory, Cambridge, 1973, стр. 259—266; E. M. Uhlenbeck, указ. соч., стр. 40—56, 102—108; I. Robinson, The new grammarians' funeral: a critique of Noam Chomsky's linguistics, Cambridge, 1975, стр. 57—69; G. Hammarström, Linguistic units and items, Berlin, 1976, стр. VI — VII; C. A. Kates, A critique of Chomsky's theory of grammatical competence, «Forum linguisticum», 1, 1976.

³⁴ N. Chomsky, [реп. на кн.:] V. F. Skinner, Verbal Behavior, «Language», 35, 1959, и во многих других местах.

³⁵ N. Chomsky, Topics in the theory of generative grammar, стр. 10, и во многих более поздних работах; ср. также: B. L. Derwing, указ. соч., стр. 50—53.

³⁶ H. Putnam, The «innateness» hypothesis and explanatory models in linguistics, «Synthese», 17, 1967, стр. 20.

³⁷ Ср. также: S. Saint-Jacques, указ. соч., стр. 37—40; W. F. Twaddell, указ. соч., стр. 320—323; E. M. Uhlenbeck, указ. соч., стр. 55—56; I. Robinson, указ. соч., стр. 69—73.

³⁸ N. Steiner, An empiricist theory of language acquisition, The Hague, 1973.

³⁹ F. C. Peng, On the fallacy of language innatism, «Language sciences», 37, 1975; D. C. Hobb, E. L. Wallace, G. R. Tucker, Language, thought and experience, «Modern language journal», 55, 1971.

⁴⁰ Ср.: W. von Raffler-Engel, The L.A.D., our underlying unconscious, and more on «felt sets», «Language sciences», 13, 1970; егo же, Theoretical phonology and first language acquisition, «Folia linguistica», 4, 1974.

ствуют только в одном направлении. Такой процедуре внутренне присущ некоторый элемент априоризма, поскольку для начального и каждого последующего этапа анализа требуется абсолютно определенный круг данных, причем не допускается никакой неопределенности. Наблюдения над реальной языковой деятельностью реальных людей, однако, неизбежно вскрывают наличие всевозможных видов неопределенности: слабая определенность является характерной чертой языковых систем⁴¹. Тем не менее в ТГ исследованиях все неопределенное исключается априори⁴². С самого начала Хомский проявил гораздо большую озабоченность «корректностью» правилотворения (rule-construction), чем полнотой и даже точностью анализируемого материала⁴³, — этим объясняется его общеизвестное пренебрежение к «процедурам обнаруживания» и необходимость появления работы Р. Лонгака⁴⁴.

В выборе для анализа только «правильно оформленных» предложений наличествует также и элемент логической замкнутости. Как пишет Р. Носс⁴⁵, «правильно оформленные предложения — это такие предложения, которые порождаются строгим применением правил, выводимых из тщательного изучения правильно оформленных предложений». Это то же самое движение в замкнутом круге, которое мы находим в традиционной нормативной грамматике, и такое совпадение не случайно: в сущности ТГ анализ выступает с аналогичными утверждениями прескриптивного характера, но туманно изложенными в виде компактных квазиматематических формул. Как отметил Э. Уленбек⁴⁶, «синтаксический анализ, который проводит Хомский, является весьма традиционным. В действительности — это способ грамматического разбора предложения, который практикуется почти повсеместно в школе. Эта система грамматического анализа основывается на ложном предположении, которое упорно отстаивали многие поколения исследователей синтаксиса, и, согласно которому, анализ предложения представляется в виде последовательного расчленения его содержания». Без критерия правильной оформленности (грамматичности, правильности, что в конечном итоге одно и то же) не могут функционировать ни традиционная грамматика, ни ТГ анализ. Противоречие между требованием грамматичности и реальными фактами языка было отмечено еще в 1961 г. А. Хиллом⁴⁷ и вновь подчеркнуто Б. Груниг⁴⁸ и Р. Хоки⁴⁹.

Неестественные сочетания элементов составили значительную часть довольно скудного и разрозненного материала, на котором в большинстве случаев Хомский и его последователи основывают свои пространные теории⁵⁰. Такие маловероятные фразы, как *flying planes can be dangerous* «летающие самолеты опасны» или «летать на самолетах опасно» или *the shooting of the hunters* «стрельба охотников» или «расстрел охотников» не без основания послужили предметом насмешек⁵¹. Отмечалось⁵², что эти нетипичные фразы, взятые сами по себе, вне контекста, снова и снова ци-

⁴¹ Ср.: Ch. F. Hockett, The state of the art, стр. 59—69.

⁴² Ср.: A. Reichling, указ. соч., стр. 16—17.

⁴³ Ср.: Ch. F. Hockett, The state of the art, стр. 76.

⁴⁴ R. E. Longacre, Grammar discovery procedures, The Hague, 1964.

⁴⁵ R. B. Noss, указ. соч., стр. 10.

⁴⁶ E. M. Uhlenbeck, указ. соч., стр. 7—8.

⁴⁷ A. A. Hill, Grammaticality, «Word», 17, 1961.

⁴⁸ B. Grunig, указ. соч., стр. 62—64.

⁴⁹ R. L. Hawkey, A critique of certain basic theoretical notions in Chomsky's Syntactic Structures, «Folia linguistica», 4, 1970.

⁵⁰ Ср.: B. Saint-Jacques, указ. соч., стр. 35—36.

⁵¹ Например: R. B. Noss, указ. соч.

⁵² E. M. Uhlenbeck, указ. соч., стр. 27.

тируются самым анекдотичным образом в хомскианских дискуссиях. Многие выражения и предложения, которые считаются «двусмысленными» и «неграмматичными» в своей письменной форме, оказываются совершенно ясными и обычными, когда они произносятся с соответствующей интонацией и в соответствующем контексте. Так, (один из многочисленных примеров) выражение *John's book in the woods*, которое, как считает Хомский⁵³, «мы не можем образовать», представляется вполне возможным, если противопоставляются две книги, одну из которых Джон хранит дома, а другую — в лесу⁵⁴. Нередки случаи, когда фраза, первоначально казавшаяся неграмматичной, в конце концов оказывается вполне грамматичной⁵⁵. Хомский и его последователи часто весьма своевольно решают, что следует считать грамматичным или неграмматичным, в основном потому, что они всегда смешивают действительно неграмматичное и просто необычное или невероятное в плане культуры («необычное с гносеологической точки зрения»), как пишет Уленбек⁵⁶.

Хомскианское описание языка почти полностью укладывается в корпус терминов, отражающих особое внимание к письменным репрезентациям и формулам. Л. Пап⁵⁷ хорошо выразил свое возражение следующим образом: «Возможно потому, что трансформационно-генеративная теория сформировалась в основном в среде (такой, как в Массачусетском технологическом институте), где доминировали математика, символическая логика и техника, а также формулы и графы на доске, эта школа не только любит символические обозначения и диаграммы, но ей также нравится говорить о „переклещении“ элементов справа налево, слева направо, вверх или вниз. В этом и других случаях (например, в частом невнимании к просодическим признакам при анализе предложений) проявляется нездоровая тенденция сторонников ТГ подхода говорить о языке, как если бы он был первично письменным, а не устным». Как отмечает далее Л. Пап, хомскианское использование выражений «слева» и «направо» для указания на временную последовательность языковых элементов является наивно этноцентричным, восходящим к традициям алфавитного письма на Западе. ТГ грамматика была занята почти исключительно «манипуляциями с карандашом и бумагой», как это назвал Э. Эспер⁵⁸, и игнорировала действительно языковое поведение, особенно тот его аспект, который связан с временными промежутками в речи.

Те же самые особенности, которые обсуждались в связи с хомскианским взглядом на язык вообще — жесткость системы, введение недоказуемой «глубинной структуры» (именуемой «лежащей в основе репрезентацией»), абстрактная «компетенция», искусственно легкая определяемость и производность от письменной репрезентации — появляются и в «генеративной фонологии», начиная с работы М. Халле⁵⁹. Этот подход был разоблачен как неадекватный Ф. Хаусхолдером⁶⁰ и справедливо охарактери-

⁵³ N. Chomsky, Remarks on nominalization, в кн.: «Readings in English transformational grammar», ed. by R. Jacobs and P. Rosenbaum, Waltham (Mass.), 1970, стр. 197.

⁵⁴ Ср.: R. B. Noss, указ. соч., стр. 9. О других примерах неправильного представления Хомским того, что мы можем и не можем сказать, см.: I. Robinson, указ. соч., стр. 141—144.

⁵⁵ V. B. Mackaï, «Pretty damn seldom...»: on the grammaticality of ungrammatical sentences, в кн.: «The first LACUS forum».

⁵⁶ E. M. Uhlenbeck, указ. соч., стр. 62—70.

⁵⁷ L. Pap, указ. соч., стр. 5.

⁵⁸ E. A. Esper, Mentalism and objectivism in linguistics, New York, 1968, стр. 222—225.

⁵⁹ M. Halle, Phonology in a generative grammar, «Word», 18, 1962.

⁶⁰ F. W. Householder, Jr., On some recent claims in phonological theory, «Journal of linguistics», 1, 1965; «Journal of linguistics», 2, 1966, стр. 99—100.

зован Ч. Хоккетом ⁶¹ как «обанкротившийся». Совместная работа Хомского и М. Халле ⁶² только подтвердила эту оценку Ч. Хоккета, которая была поддержана в критических выступлениях других лингвистов ⁶³.

Почти с момента своего зарождения, с древних времен и до современности, интерес к изучению языка на Западе был связан с философией и логикой ⁶⁴. В XIX в. психология, в своей новообретенной независимости от философии, уделяла много внимания лингвистическим проблемам, зачастую с позиций самоанализа и кабинетного философствования ⁶⁵. Деятели литературы и искусства также считали себя достаточно компетентными, чтобы высказывать суждения по поводу лингвистической теории, как это делали Б. Кроче ⁶⁶ и К. Фосслер ⁶⁷. Лингвистам понадобилось почти полтора столетия, чтобы вывести науку о языке из подчиненного состояния, поставить ее наравне с этими ранее определившимися областями знания и достигнуть автономии, которую большинство ученых считают важнейшей для дальнейшего развития лингвистики ⁶⁸. Хомский же лишил лингвистику с трудом завоеванной независимости, вновь передав ее в качестве служанки философии, логике и психологии (и притом различным исчерпавшим себя направлениям в этих науках). В результате он пренебрег более тесной связью лингвистики с культурной антропологией ⁶⁹ и гуманитарными науками ⁷⁰. Лингвистика поэтому остро нуждается в возвращении в лоно гуманитарных наук ⁷¹.

Выдвигая свои теории, которые в такой значительной степени противопоставляются открытиям лингвистики до 1957 г., Хомский занял позицию, охарактеризованную Ч. Фёгелином и Ф. Фёгелин ⁷² как «поза затмения», предав анафеме многое (если не большую часть) из того, что было достигнуто в прошлом столетии. Современные и более ранние исследования языка в изложении Хомского предстают перед читателем в грубо искаженном виде. Высказывание С. Лэма ⁷³ о Хомском ⁷⁴ дает правильное пред-

⁶¹ Ch. F. Hockett, *The state of the art*, стр. 4.

⁶² N. Chomsky and M. Halle, *The sound pattern of English*, New York, 1968.

⁶³ G. Hammarström, *The problem of nonsense linguistics*, «Acta Societatis Linguisticae Upsaliensis», 2, 1971; его же, *Generative phonology: a critical appraisal*, «Phonetica», 26, 1973; его же, *Linguistic units and items*, Berlin, 1976, J. P. Maher, [рец. на кн.:] R. P. Stockwell and R. K. S. Macaulay, *Linguistic change and generative theory*, «Language sciences», 15, 1973; *The d of sound and nonstandard drownd*, «Language sciences», 39, 1976; S. M. Lamb, R. Vanderslice, *On thrashing classical phonemics*, в кн.: «The second LACUS forum», ed. by P. Reich, Columbia (S. C.), 1975; W. M. Christie, Jr., *Another look at classical phonemics*, «Language sciences», 39, 1976.

⁶⁴ Ср.: R. H. Robins, *Ancient and mediaeval grammatical theory in Europe*, London, 1951; его же, *A short history of linguistics*, Bloomington, Indiana University Press, 1968.

⁶⁵ E. A. Esper, *Mentalism and objectivism in linguistics*, стр. 152—153.

⁶⁶ В. Croce, *Estetica come scienza del linguaggio e linguistica generale*, Bari, 1902.

⁶⁷ K. Vossler, *Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft*, Heidelberg, 1904; его же, *Sprache als Schöpfung und Entwicklung*, Heidelberg, 1905.

⁶⁸ Ср., например: L. Bloomfield, *Why a linguistic society?* «Language», 1, 1925; E. Sapir, *The status of linguistics as a science*, «Language», 5, 1929; Ch. F. Hockett, [рец. на кн.:] «Current trends in linguistics», 13, 1977 (в печати в «Current anthropology»).

⁶⁹ Ср.: Ch. F. Hockett, *The state of the art*, стр. 79—80.

⁷⁰ Ср.: I. Robinson, указ. соч., стр. 174—186.

⁷¹ V. Yngve, *The dilemma of contemporary linguistics*, в кн.: «The first LACUS forum».

⁷² Ch. F. Voegelin, F. M. Voegelin, *On the history of structuralizing in America*, «Anthropological linguistics», 3, 1963.

⁷³ S. M. Lamb, [рец. на книгу:] N. Chomsky, *Current issues in linguistics and its aspects*, «Aspects of the theory of syntax, «The American anthropologist», 69, 1967, стр. 414.

⁷⁴ N. Chomsky, *Aspects of the theory of syntax*.

ставление о хомскианском способе ведения полемики в целом: «Парад показных аргументов, использование различных значений одного и того же слова — прием, который автор довел до предела совершенства. Сущность этого приема заключается в скольжении терминов от одного значения к другому. Дополненный вспомогательной стратегией перенесения значений с одного термина на другой, этот прием используется в нападках на реальных или воображаемых оппонентов в издевательских сражениях, сфабрикованных по случаю». Склонность Хомского к искажению взглядов других ученых стала общеизвестной⁷⁵. В некоторых случаях критические замечания Хомского бьют настолько мимо цели, что по существу уже не имеют никакого отношения к рассматриваемому вопросу, как это видно в его рецензии на работу Б. Скиннера⁷⁶. Эта рецензия, в частности, неоднократно помещалась в хрестоматиях, а утверждения, сделанные в рецензии, были широко и некритически восприняты как достоверные. Представленное К. Маккоркуоделем⁷⁷ доказательство необоснованного характера нападков Хомского на Скиннера фактически осталось неизвестным для лингвистов⁷⁸.

Отношение теорий Хомского к ранним лингвистическим теориям — главным образом к «общей грамматике» в XVII и XVIII вв., начиная с грамматики Пор-Рояль 1660 г., также представлено в совершенно ложном свете, особенно в поисках Хомским предшественников его теорий⁷⁹. В работах ряда ученых⁸⁰ были представлены многочисленные доказательства того, что «картезианская лингвистика» не существовала вообще, а Хомский неправильно понимал взаимоотношение между грамматикой Пор-Рояль и грамматикой Вожда. К сожалению, реклама и престиж, сопутствовавшие измышлениям Хомского, были настолько значительными, что они затмили серьезное, солидное и глубоко обоснованное исследование Р. Донзе⁸¹, посвященное грамматике Пор-Рояль. Неоправданное преувеличение Хомским роли рационализма XVII в. привело к тому, что ре-

⁷⁵ Ср., например: W. M. Wiest, Some recent criticism of behaviorism and learning theory, with special reference to Breger and McGaugh and to Chomsky, «Psychological bulletin», 67, 1967; Ch. F. Hockett, The state of the art, стр. 63—64; G. P. Faust, указ. соч., стр. 44—45; W. F. Twaddell, Straw men and pied pipers; H. Aarsleff, The tridition of Condillac: the problem of the origin of language in the eighteenth century and the debate in the Berlin Academy before Herder, в кн.: «Studies in the history of linguistics traditions and paradigms», ed. by Dell H. Hymes, стр. 115—121.

⁷⁶ N. Chomsky, [рец. на кн.:] B. F. Skinner, Verbal Behavior.

⁷⁷ К. MacCorquodale, B. F. Skinner's Verbal Behavior: a retrospective appreciation, «Journal of the experimental analysis of behavior», 12, 1969, стр. 831—841; его же, On Chomsky's review of Skinner's Verbal Behavior, «Journal of the experimental analysis of behavior», 13, 1970, стр. 83—99.

⁷⁸ Ср. также: E. A. Esper, Analogy and association in linguistics and psychology, стр. 196 (примеч. 60).

⁷⁹ N. Chomsky, Cartesian linguistics: a chapter in the history of rationalist thought, New York, 1966.

⁸⁰ H. Aarsleff, The history of linguistics and Professor Chomsky, «Language», 46, 1970; его же, Cartesian linguistics: history or phantasy?, «Language sciences», 17, 1971; его же, The tradition of Condillac: the problem of the origin of language in the eighteenth century and the debate in the Berlin Academy before Herder; L. Dostert, Descartes on language, «Studies in linguistics in honor of G. L. Trager», The Hague, 1972; A. Joly, Cartésianisme et linguistique cartésienne; mythe ou réalité?, «Beiträge zur romanischen Philologie», 11, 1972; W. K. Percival, On the non-existence of Cartesian linguistics, в кн.: «Cartesian studies», Oxford, 1972; его же, The notion of usage in Vaugelas and in the Port Royal grammar, в кн.: «History of linguistic thought and contemporary linguistics», Berlin — New York, 1976.

⁸¹ R. Donzé, La grammaire générale et raisonnée de Port-Royal. Contribution à l'histoire des idées grammaticales en France, Berne, 1967.

альный вклад ученых XVI в. в развитие науки о языке не получил заслуженного внимания⁸².

Не вся критика теорий Хомского в свою очередь свободна от недостатков. Наиболее невыдержанным в этом отношении можно назвать выступление И. Робинсона⁸³: его критические наблюдения отмечены непревзойденным мастерством, преподносятся с язвительным остроумием и сопровождаются колкими замечаниями, но он не предлагает какие-нибудь конкретные альтернативы, кроме возврата к изучению литературы и теорий Б. Кроче (!). Покойный Г. Хердан⁸⁴ изложил свои возражения четко и кратко, однако стиль его выступления был настолько раздражительным и резким, что редакторы журнала «Zeitschrift für Phonetik» поместили примечание с извинением. Опровергнуть хомскианские теории можно только на основе такого же абстрактного подхода, как и его собственный. Однако, выступив с этих позиций, Ч. Хоккет⁸⁵ навлек на себя неоправданное обвинение в игнорировании фактов, предъявленное Дж. Лакоффом⁸⁶. Аналогичным образом Н. Стеммер⁸⁷ представляет пространные теоретические доказательства, но с удивительно малым количеством примеров. Достоинства критики неизмеримо превосходят любые возможные недостатки и ошибки. Однако эти достоинства не были оценены должным образом ввиду, по меньшей мере, следующих четырех обстоятельств: многие критические работы были опубликованы в периферийных малоизвестных изданиях; последователи Хомского в целом на редкость глухи к критике; появилось целое поколение молодых ученых, которым «внушили ложное представление о том, что все лингвисты до Хомского (за исключением, разумеется, Гумбольдта, Сепира и некоторых других кандидатов на причисление к лику святых) были безнадежно заблуждающимися путаниками, от чьих немощных притязаний Хомский героически освободил лингвистику»⁸⁸; были введены в действие неуместные политические соображения, когда, например, Бракен⁸⁹ заклеил всякую оппозицию взглядам Хомского, назвав ее «контрреволюционной подчиненностью гуманитарных наук».

Тем не менее, в целом, критические работы, которые мы вкратце рассмотрели в настоящей статье, представляют собой внушительное опровержение всех сторон хомскианской теории. Даже само понимание Хомским языка и основ его изучения подверглось тщательному рассмотрению и не выдержало проверки. Что вероятнее всего сохранится для будущего из всего сделанного Хомским? — несколько знаков, таких, как очень полезные → и ← для обозначения синхронного замещения в отличие от диахронного изменения, обозначаемого знаками > и <, а также некоторые приемы компрессии лингвистических явлений с помощью квазиалгебраических обозначений. Трансформации являются действительно ценным добавлением к изучению синтаксических и словообразовательных отношений, но в том виде, в котором их предложил Харрис, а отнюдь не Хомский⁹⁰.

⁸² H. J. I z z o, The linguistic philosophy of Benedetto Varchi, sixteenth-century Florentine humanist, «Language Sciences», 40, 1976; ег о же, Transformationalist history of linguistics and the Renaissance, «Forum linguisticum», 1, 1976.

⁸³ I. R o b i n s o n, указ. соч.

⁸⁴ G. H e r d a n, The crisis in general linguistics, «La linguistique», 1, 1967; ег о же, Götzendämmerung at M. I. T., «Zeitschrift für Phonetik und Kommunikationswissenschaft», 21, 1968.

⁸⁵ Ch. F. H o c k e t t, The state of the art.

⁸⁶ G. L a k o f f, Empiricism without facts, «Foundations of language», 5, 1969.

⁸⁷ N. S t e m m e r, указ. соч.

⁸⁸ S. M. L a m b, указ. соч., стр. 414.

⁸⁹ H. M. B r a c k e n, Chomsky's Cartesianism, «Language Sciences», 22, 1972, стр. 6.

⁹⁰ Cp.: W. F. T w a d d e l l, Syntax: past, present, and future. Paper read at the January 1972 Linguistics Meeting of the English language Institute, University of Michigan (preprint), 1972.

Генеративный подход, с внутренне присущей ему ограниченностью, которую на него накладывает его однонаправленность, оказывается непригодным для адекватного описания синтаксиса или других аспектов лингвистической структуры, например, морфологии⁹¹. «Глубинная структура» просто не существует; это — чисто произвольное измышление, излишнее затруднение синтаксического анализа и должно быть отсечено «бритвой Оккама»⁹². [У. Оккам (1300 — ок. 1350) — английский средневековый философ и богослов, крупнейший представитель номинализма. Оккам утверждал, что понятия, не сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся проверке в опыте, должны быть удалены из науки. Этот принцип получил название «бритвы Оккама». — *Прим. перев.*] Даже первоначальное воплощение «глубинной структуры» — синтаксические «ядра» нельзя во всех случаях постулировать как способ объяснения всех синтаксических явлений⁹³. В целом, чем скорее мы откажемся от эксцессов, к чему нас призывает Гарвин⁹⁴, тем лучше.

Перевели с английского Лузина Л. Г., Полубиченко Л. В.

⁹¹ Ср.: S. C. D i k, Some critical remarks on the treatment of morphological structure in transformational generative grammar, «Lingua», 18, 1967.

⁹² Ср.: E. C o s e r i u, Semantik, innere Sprachform und Tiefenstruktur, Tübingen, 1969; N. D a n i e l s e n, Das generative Abenteuer, «Språklike Bidrag», Lund, 6, 1971; е г о ж е, Plädoyer gegen die generativen Tiefenoperationen. Kritik einer Scheinlehre, «Archiv für das Studium der neueren Sprachen», 240, 1973; R. R o m m e t v e i t, Deep structure of sentences versus message structure, «Norwegian Journal of linguistics», 1, 1972.

⁹³ W. W i n t e r, Transforms without kernels?, «Language», 41, 1965.

⁹⁴ P. G a r v i n, Moderation in linguistic theory, «Language sciences», 9, 1970.

АХМАНОВА О. С., АВДУКОВА А. М.

ОБЪЕКТИВНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ОППОЗИЦИЙ

Среди трудов А. И. Смирницкого, посвященных разработке советской марксистской методологии языкознания, важное место занимает книга «Объективность существования языка»¹. Вопрос о том, где и как существует язык,— основа онтологии нашего предмета. Его изучение остается по-прежнему в центре внимания теоретической языковедческой мысли. В работе А. И. Смирницкого не только рассматриваются основные вопросы языка и речи, дается ясная картина достижений советского языкознания в этой области, но и высказываются весьма интересные и оригинальные суждения по целому ряду частных аспектов этой огромной проблемы.

Сосредоточившись на более общих проблемах взаимоотношения языка и речи и вытекающих отсюда лингвофилософских выводах, А. И. Смирницкий не выделял специально вопрос о природе морфологических оппозиций, поскольку его дальнейшее изучение требует отдельной и более углубленной разработки большого фактического материала. Однако, сформулировав ряд основных положений и выводов, А. И. Смирницкий создал для этого необходимые предпосылки. Заметим в связи со сказанным, что его основной тезис о том, что язык существует в речи и через речь, ни в коей мере не противоречит современным исследованиям в области физиологии мозга². Сейчас уже ясно, что физиологи, изучающие человеческий мозг, безусловно находятся на пороге чрезвычайно важных открытий в области «нейролингвистики», которые, разумеется, представляют большой интерес для языковедов и в первую очередь для тех из них, которые изучают сложнейшие проблемы устройства речи. Но при всем этом для филолога единственным реальным объектом исследования остаются устные и письменные тексты, устная и письменная речь, так или иначе фиксированная на письме, ферромагнитной ленте и т. п. и, таким образом, реально предоставленная в его распоряжение. Кроме того, возможности современной звукозаписывающей и звукоанализирующей аппаратуры колоссально расширили само понятие «текста». Теперь уже ясно, что языковедческое исследование ни в коем случае не может ограничиваться тем, что написано или напечатано, поскольку в любом исследовании, имеющем своим предметом естественные живые человеческие языки, в центре внимания непременно будет стоять «текст» во всей его полной, песочращенной реализации, т. е. живая звучащая речь, записанная на ферромагнитную пленку³. Известно, что во-

¹ А. И. Смирницкий, Объективность существования языка, М., 1954.

² В этой связи безынтересно обратиться к статье И. С. Кардашева «О стратегии поиска внесемных цивилизаций» (ВФ, 1977, 12), в которой, между прочим, приводится следующее определение жизни (оно вряд ли может лечь в основу вообще биологии как науки о жизни). Оно было предложено А. А. Ляпуновым и гласит: «Высокоустойчивое состояние вещества, использующее для выработки сохраняющих реакций информацию, кодируемую состояниями отдельных молекул» («Проблемы кибернетики», 1963, 10, стр. 184).

³ См. также: О. С. Ахманова, Л. В. Минаева, Место звучащей речи в науке о языке, ВЯ, 1977, 6.

прос о плане выражения тех или иных языковых единиц нередко трактуется в терминах звуковых образов. А. И. Смирницкий убедительно показывает, что основой исследований в этой сложнейшей области языкознания является не «образ», а реальное, объективно данное звучание⁴.

Очень важно напомнить в этой связи о том, что А. И. Смирницкий предусмотрел случаи «неполного» существования языка, которые характерны для мертвых языков, доступных нам только в письменной своей форме. Понятно, эта степень «неполноты существования» может быть разной. В частности, например, латинский язык, хотя и причисляется к «мертвым» языкам и поэту характеризуется более низкой степенью «живизности»⁵, тем не менее продолжает объективно существовать, широко применяется и изучается в разных формах и для разных целей. Но, конечно, отсутствие живых форм его существования в качестве естественного средства общения определенных этнических социальных групп значительно изменяет цели и методы его научного изучения по сравнению с современными языками, особенно теми, которые не только обслуживают то или иное национальное единство, но используются как средство межнационального общения.

Как известно, о морфологии и ее категориях написано очень много. В частности, один из авторов настоящей статьи уже неоднократно обращался к этому разделу языкознания, разъясняя существо морфологических категорий, их отвлечения от соответствующих грамматических и категориальных форм, их соотношения с лексическими морфологическими категориями и т. д.⁶ Вообще в литературе вопроса нет недостатка в исследованиях, посвященных более общим проблемам морфологической категоризации, месту и возможностям в этом процессе аналитических форм, соотношению морфологических категорий и категориальных форм и т. д. Однако в основном внимание в исследованиях этого рода направляется на метатеорию этой области знания. Исходным обычно становится та или иная система морфологических категорий, уже выделенная ранее тем или иным исследователем, т. е. речь идет уже не о фактах языка, а о ранее сформулированных понятиях и соответствующих им метаязыковых выражениях. Иначе говоря, морфологические исследования все чаще строятся не на анализе современных английских текстов (причем в первую очередь, конечно, текстов звучащих, поскольку английский язык — это живой язык и существует прежде всего в своей естественной звуковой форме), а на уже предложенных системах морфологических оппозиций, принимаемых в качестве непосредственного объекта для дискуссий и научных споров. Иначе говоря, речь обычно идет об отвлечениях второго порядка, т. е. об отвлечениях и обобщениях, основанных не на фактическом функционировании форм словоизменения в реальном живом языке, а на уже сделанных ранее обобщениях. Естественно, что при этом внимание сосредоточивается на тех или иных более частных вопросах, представляющих особенно большие трудности и включающих также такие проблемы метаязыкового плана, как, например, соотношение категорий времени и вида.

Наибольшей полнотой отличается система грамматических морфологических оппозиций, разработанная А. И. Смирницким на материале английского глагола и включающая одиннадцать категорий: 1) репрезентации

⁴ А. И. Смирницкий, указ. соч., стр. 26—27.

⁵ Там же, стр. 5.

⁶ О. С. Ахманова, Фонология, морфонология, морфология, М., 1966, стр. 83—85; О. Ахманова, Phonology, Morphology, Morphology, The Hague — Paris, 1971, стр. 104—106; О. С. Ахманова, Э. Г. Валиева, С. К. Соловьев, О морфологических категориях в современном английском языке, ФН, 1977, 4.

(глагольной, именной, адъективной), 2) залога, 3) временной отнесенности, 4) вида, 5) времени, 6) наклонения, 7) лица, 8) числа, 9) заявления — вопроса, 10) утверждения — отрицания, 11) экспрессивности ⁷.

Из других трактовок этого материала ближе всего примыкают к только что изложенной выводы Б. А. Ильиша и Л. С. Бархударова, ограничивающихся соответственно десятью и восьмью категориями ⁸. В первом случае опущена категория репрезентации, а во втором — категории заявления — вопроса, утверждения — отрицания и экспрессивности.

Итак, применительно к морфологии английского глагола уже реализованы первые два шага на пути научного познания — «от живого созерцания к абстрактному мышлению»: рассмотрена определенная совокупность языковых фактов и предложены вполне определенные и последовательные «эмические» выводы — научная материалистическая абстракция, отвлеченная от тех конкретных наблюдений, которые когда-то были сделаны учеными. Но это только первые две ступени в процессе научного познания. Необходима постоянно действующая третья ступень — проверка данной эмической системы практикой речеупотребления в разных регистрах речи. Поскольку имеется в виду живой естественный человеческий язык, то без проверки разработанных теоретических положений и построений практикой действительного речеупотребления дальнейшего развития науки данной области быть не может.

Последние 10 лет на кафедре английского языка филологического факультета МГУ ведется исследовательская работа, направленная на изучение того, каким образом и в каких регистрах, с какой степенью полноты в современной английской речи действительно реализуются те или иные морфологические противопоставления. Как убедительно показали работы Н. Н. Слонимской, М. В. Дорошенко, М. П. Григорьева, такие, например, грамматические формы, как *I shall have been working, he will have been being taught* и т. п., в которых сочетается выражение категориальных форм будущего времени, длительного вида страдательного залога с категориальной формой предшествования, не встречаются не только в научном стиле изложения, но и в художественной литературе ⁹. Фактически неупотребительными в научной литературе и особенно в письменной ее форме оказываются также формы, сочетающие прошедшее время, длительный вид и пассив, прошедшее или настоящее время, предшествование и длительный вид (ни одного случая реализации на 1000 глагольных употреблений). Даже формы, включающие в себя прошедшее время и длительный вид, встречаются не чаще 5 раз на 1000 глагольных употреблений ¹⁰.

Вопрос еще более осложняется, если учесть принципиальное различие между функционированием в тексте маркированных ¹¹ и немаркированных

⁷ А. И. Смирницкий, Морфология английского языка, М., 1959, стр. 240—255.

⁸ Б. А. Ильиш, Строй современного английского языка, Л., 1965; Л. С. Бархударов, Очерки по морфологии английского языка, М., 1975.

⁹ Н. Н. Слонимская, Морфологическая система языка как объект сопоставительного исследования (на материале категории временной отнесенности). КД, М., 1974; М. В. Дорошенко, Морфологическая система английского языка как предмет лингвостилистического анализа. КД, М., 1978; М. П. Григорьев, Вопросы минимизации морфологических грамматических оппозиций и оптимальное построение научного текста. КД, М., 1977.

¹⁰ Данные по научному регистру приводятся по материалам диссертации М. П. Григорьева, который изучает минимизацию морфологических противопоставлений в научном тексте не только описательно, но и прескриптивно.

¹¹ «Маркированный (обозначенный, отмеченный, оформленный, положительный) имеющий явное (положительное) языковое выражение; характеризующийся наличием коррелятивного признака; противоп. немаркированный» (О. С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1969, стр. 223).

форм, конституирующих ту или иную грамматическую категорию. Оказывается, что в значительном количестве употреблений (а в случае с формой настоящего длительного — в абсолютном большинстве реализаций)¹² формы длительного вида и категории предшествования не являются нейтральными, а придают высказыванию стилистическую окрашенность. Например: «Every day she was soothing this smouldering aching struggle...» (V. S. Pritchett, Handsome is as handsome does); «Aren't you being rather vulgar?» (там же); «She had been struggling with herself in private» (Th. Hardy, The distracted preacher); «The interior of the house was being carefully demolished» (G. Greene, The destructors); «They're always trying to separate us»; «The moment that he had been dreading all day had arrived»; «Mummy and Daddy were always throwing things away and never thinking of their feelings» (A. Wilson, Raspberry jam); «...and meanwhile he was only just beginning to enjoy his new life» (J. Cary, The Breakout); «The aunt, too, had married as Fanny was marrying: a man who was no companion to her, a violent man» (D. H. Lawrence, Fanny and Annie); «Will he be wearing a uniform?» asked Angela. «No, dear, of course not. He is receiving the very best attention» (E. Waugh, Mr. Loveday's little outing).

Из сказанного, однако, не следует, что длительный вид (наиболее склонный к метасемиотическим коннотациям, т. е. положительной стилистической окрашенности маркированных членов противопоставления) вообще не употребляется в основной своей грамматической функции. Но, как уже отмечалось выше, случаев чисто семантического функционирования в стиле художественной литературы, например форм, объединяющих пассивный залог и длительный вид, почти нет совсем. В тех немногих случаях, когда они встречаются, они неизменно характеризуются положительной стилистической коннотацией, например: «It was Angela's first visit (to the County Asylum) and it was being made at her own suggestion» (E. Waugh, Mr. Loveday's little outing); «You're being cheerful. That's brave of you» (A. Huxley, The Gioconda smile); «His own life was simply being wasted for nothing». «I suppose I'm being spied on all the time» (J. Cary, The Breakout); «The punkah was still being pulled over the bed, but Hummil had departed this life at least three hours» (R. Kipling, At the end of the passage); «Daddy was always being upset at what Johnnie did» (A. Wilson, Raspberry jam).

Выше уже указывалось на необходимость различать разные функциональные стили (или «регистры»), говоря о тех или иных более частных разновидностях языковых единиц и их взаимоотношениях. Было обращено внимание на то обстоятельство, что даже в художественной литературе маркированные формы морфологических оппозиций встречаются редко и сколько-нибудь регулярного противопоставления соответствующих категориальных форм вообще не наблюдается. Кроме того, в разных регистрах обнаруживается существенное расхождение в самом характере метасемиотичности маркированных форм, который в стиле художественной литературы обусловлен экспрессивно-эмоционально-оценочными обертонами, а в научном регистре — ситуацией общения с аудиторией. Этим и объясняется большее число реализаций маркированных форм в устной форме научной речи по сравнению с письменной, в которой употребление этих малохарактерных для научного регистра форм сведено к абсолютному минимуму. Все подобного рода сложности и особенности никогда не принимаются и, по-видимому, даже не могут приниматься во внима-

¹² М. В. Дорощенко, Что следует понимать под метасемиотическим («стили- стическим») функционированием морфологических противопоставлений, «Вестник МГУ», 1976, 3, стр. 33.

ние во всей своей полноте при составлении обычно действующих «матриц» и таблиц.

Такова в самых общих чертах картина объективного существования морфологических оппозиций в двух основных регистрах речи — функциональных стилях «сообщения» и «воздействия».

Выше критерий практики был представлен в плане обращения к реальному функционированию морфологических оппозиций в разных стилях современной английской речи. Однако в понятие «практики» мы не можем не включить крайне остро стоящие сейчас вопросы обучения иностранному языкам. Поэтому внедрение достижений языкознания в практику преподавания иностранного языка снова со всей настойчивостью ставится перед нами как актуальнейшая задача¹³.

Детальное изучение свыше 60 учебников английского языка для специалистов различных профилей, учебников теоретической и нормативной грамматики и пособий, изданных за последние 10—15 лет, оставляет впечатление, что, создавая учебную литературу, авторы не основываются на современных языковых фактах, не рассматривают язык в его живом функционировании и, кроме того, не всегда принимают во внимание последние достижения науки. Фактически отсутствует текстологический анализ материала, который должен был бы основываться на скрупулезном изучении соотношения устной и письменной речи, т. е. того, что реально представляет собой язык, когда он рассматривается не в виде надуманных фраз, а в его живом функционировании. Проявляется пренебрежительное отношение к реальному тексту, к подлинной английской речи. В большинстве случаев авторы даже не пытаются выяснить, в каком соотношении находятся табличные сводки форм, на которых они основывают предлагаемый учебный материал, с объективностью существования английского языка. В результате учебное время тратится на отработку грамматических форм, практически не употребляемых в живом английском языке. Так, например, изучающим английский язык предлагаются упражнения на «категорию временной отнесенности» в виде фраз для перевода: *К концу семестра мы выучим много новых слов и выражений* или *К этому времени она все забудет*, которые в соответствии с «правилами» учащиеся должны «гиперграмматически» переводить, употребляя маркированные формы категории временной отнесенности: «We shall have learnt many new words and expressions by the end of the year», «She will have forgotten everything by that time». То, что это действительно упражнения в гиперграмматичности, подтверждается тем, что в реальном речепотреблении подлинно правильными будут следующие предложения: «We'll learn many new words and expressions by the end of the term», «She'll forget everything by then»¹⁴. Отметим, что хотя категория временной отнесенности, представленная в учебниках полными перечнями возможных форм, и является существенным достижением теоретической морфологии английского языка, тем не менее их реальное употребление фактически очень сокращено не только в устной, но и в письменной речи¹⁵. Но, к сожалению, лишь в четырех из рассмотренных

¹³ Насколько остро ощущается в настоящий момент потребность в серьезном пересмотре существующих способов и приемов овладения языком, с особой наглядностью проявилось в материалах дискуссии по вопросу о языке и мышлении (ВФ, 1977, 12, стр. 66—75).

¹⁴ Н. Н. Слонимская, указ. дисс.

¹⁵ По данным А. К. Корсакова, форма Future Perfect употребляется 1 раз на 475 стр., Present Perfect Continuous — 1 раз на 24 стр., Past Perfect Continuous — 1 раз на 26 стр., Future Perfect Continuous — 1 раз на 16 000 стр. (А. К. Корсаков, The use of tenses in English, Львов, 1969, стр. 3).

учебников¹⁶ табличные данные видо-временной системы английского глагола сопровождаются пояснениями особенностей функционирования отдельных форм этой категории.

В связи со всем сказанным особо следует подчеркнуть важность текстологического подхода для достижения эффективных результатов в процессе обучения иностранному языку: языку нельзя обучать «вообще». Это возможно только на основе различного вида текстов с целью выяснения, какие из них соответствуют профилю данной аудитории. И в этой же связи нельзя не отметить, что пока что не существует ни одного учебника, в котором бы ясно было показано (с пользой для специалистов различных отраслей народного хозяйства), что представляют собой маркированные и немаркированные формы и в какой степени они являются необходимыми для тех, кто стремится практически овладеть языком в пределах своей специальности.

Широкое развитие международных контактов, и, соответственно, возросшая потребность в знании иностранных языков у специалистов различных отраслей народного хозяйства еще более остро, чем когда бы то ни было, ставят вопрос о необходимости достижения оптимальных результатов в изучении иностранных языков в максимально короткое время. Поэтому необходима разработка надежных стилевых систем, которые могли бы быть положены в основу языковой подготовки специалистов разных профилей. Решению этой проблемы для филологов-англистов посвящены многочисленные учебные пособия, созданные за последние 15 лет на кафедре английского языка филологического факультета МГУ. Но это до сих пор остается исключением. Систематических исследований, которые служили бы необходимой теоретической и практической базой для овладения как устной, так и письменной формами научной речи, все еще очень мало. В целом же состояние и уровень подготовки специалистов даже гуманитарного профиля не обеспечивают способности чтения лекций, выступления с докладом, создания научной статьи, участия в дискуссии на иностранном языке. Поэтому проблема м и н и м и з а ц и и научно-технического языкового общения стоит в настоящее время очень остро и требует пристального внимания специалистов-филологов как одна из первостепенных и важнейших народнохозяйственных задач¹⁷.

Мы попытались выделить три, как нам представляется, наиболее существенные стороны поставленной нами проблемы, а именно: а) онтологию грамматических оппозиций исходя из работ А. И. Смирницкого, посвященных объективности существования языка вообще; б) имеющиеся в этой области весьма существенные достижения и пути научного изучения этой проблемы применительно к грамматическим морфологическим категориям английского глагола; в) насущность преодоления серьезных недостатков в преподавании английской грамматики и иностранных языков вообще, поскольку английский язык является важнейшим средством международного общения.

Сделан, естественно, только первый шаг, первая попытка поставить вопросы и показать актуальность их дальнейшего изучения.

¹⁶ О. С. А х м а н о в а, Английский язык, М., 1954; А. К. К о р с а к о в, The use of tenses in English, Львов, 1969; Е. М. G o r d o n, I. P. K r y l o v a, A Grammar of present-day English, М., 1974; Т. И. М а т ю ш к и н а - Г е р к е и др., Учебник английского языка, М., 1974.

¹⁷ См.: О. А к h m a n o в а, R. F. I d z e l i s, What is the English we use, М., 1973; О. С. А х м а н о в а, Естественные языки и постановка проблемы создания искусственного вспомогательного языка в эпоху научно-технической революции, «Научно-техническая революция и функционирование языков мира», М., 1977.

АХУНЗЯНОВ Э. М.

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ И ТРАНСФЕРЕНЦИИ
В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ

Несмотря на то, что имеется большая лингвистическая и методическая литература как у нас, так и за рубежом, среди ученых пока еще нет единого общепринятого понимания сущности интерференции. Нет также единого мнения по вопросу о том, какое влияние — положительное или отрицательное — оказывает интерференция на речевую коммуникацию, каковы ее формы, в каких сферах она проявляется, в чем заключаются причины и каковы источники ее возникновения.

Явление интерференции в лингвистической литературе имеет ряд определений. Можно выделить две группы ученых, придерживающихся широкого и узкого понимания этого явления. Согласно первой точке зрения, в основном восходящей к взглядам ученых Пражского лингвистического кружка, под интерференцией понимается отклонение от норм контактирующих языков, включая сюда все виды и типы взаимодействия и сближения языков (взаимовлияние, контактирование, слияние языков, смешение языков, заимствование, гибридизация и т. п.).

Лингвистическая интерференция в данном случае понимается как результат взаимодействия систем и элементов систем двух языков, как вторжение норм одной системы в пределы другой в условиях языковых контактов. Интерференция в широком понимании — это изменение в структуре или элементах структуры одного языка под влиянием другого языка, причем не имеет значения, идет ли речь о родном, исконном для говорящего языке, или о втором языке, так как интерференция может осуществляться в обоих направлениях.

Другая группа ученых под интерференцией понимает только перенос норм родного языка на другой язык в процессе речи. Это особенно характерно для работ по методике преподавания неродного языка, где интерференция обычно толкуется лишь как отрицательный перенос навыков родного языка на изучаемый язык.

Таким образом, термин «интерференция» в лингвистической, а особенно в методической литературе, приобретает иногда отрицательную окраску. Такое узкое понимание интерференции, хотя не лишено основания, является, на наш взгляд, неприемлемым.

Правильно отмечают Ю. Д. Дешериев и И. Ф. Протченко: «Нередко интерференцию неправоммерно сводят к влиянию первого — родного языка на второй. Между тем в исследовательской работе, содержание которой определяется запросами теории и практики, возникает необходимость рассматривать гораздо более широкий круг вопросов, касающихся интерференции. К их числу относятся: а) воздействие родного языка на второй; б) воздействие второго языка на первый; в) разграничение интерференции на уровне языка, с одной стороны, и речи — с другой»¹.

¹ Ю. Д. Дешериев, И. Ф. Протченко, Основные аспекты исследования двуязычия и многоязычия, сб. «Проблемы двуязычия и многоязычия», М., 1972, стр. 28—29.

У. Вайнрайх различает две стадии интерференции. В речи она проявляется впервые в высказывании билингва как результат его личного знакомства с другим языком. В языке мы встречаемся с явлением интерференции, которая в речи билингвов стала обычной и общепринятой. «В речи, — говорит Вайнрайх, — интерференция подобна песку, переносимому потоком воды; в языке — это песок, осевший на дно озера»².

Бесспорно, что первоначально интерференция возникает в речи билингва, но при благоприятных условиях она может распространиться и в среде монолингвов, становясь, таким образом, фактом языка. Так, например, русские лексические заимствования в татарском языке сначала были фактом речи, а позднее стали достоянием языка. Поэтому интерференция не обязана всегда оставаться интерференцией, т. е. отклонением от нормы: при частом повторении она сама становится нормой. Кто из татар может усомниться в исконности таких русских заимствований в татарском языке, как *арыш* (рожь), *салам* (солома), *ужем* (озимь), *мич* (печь) и т. п., которые воспринимаются теперь как исконно татарские слова и стали неотъемлемой составной частью словарного запаса одноязычных носителей татарского языка.

Некоторые исследователи предлагают отличать интерференцию от языковых изменений, происходящих при заимствовании. Л. И. Баранникова пишет: «В работах, посвященных прямому двуязычию или процессам взаимодействия языков, нередко смешиваются факты интерференции и заимствования, а между тем это — явления не только различные, но во многом прямо противоположные. Разграничение заимствования и интерференции, как нам кажется, помогает выяснить сущность интерференции. При заимствовании элементы одной системы, проникая в другую, подвергаются в последней различного рода ассимиляции: 1) чужие звуки заменяются „своими“, т. е. происходит субституция... При интерференции изменениям подвергается сама „заимствующая“ система, в ней появляются новые единицы, развиваются новые типы отношений между структурными элементами»³. Л. И. Баранникова считает, что при заимствовании слов не заимствуются их семантические связи, слово в заимствующем языке оказывается семантически одиноким, не имеющим внутренних связей с другими близкими словами, не развивает новых связей в семантической системе того языка, в который оно входит.

При интерференции, по ее мнению, большую роль играют именно те внутрисистемные отношения, которые никак не могут заимствоваться извне. При этом Л. И. Баранникова ссылается на статью Б. А. Серебренникова об устойчивости морфологической системы языка, который пишет: «Из чужого языка заимствуется лишь то, что связано с конкретной предметностью, качественностью. И, наоборот, нельзя заимствовать то, что не имеет никакой предметности, качественности. Можно заимствовать такие слова, как *трактор*, *экскаватор*, даже прилагательные типа *добрый*, *хороший*, *красный* и т. п. Но ни один язык не может заимствовать окончания русского родительного, дательного, винительного или творительного падежей, поскольку сами эти окончания не содержат ни грана субстанции, признака, качества»⁴.

² U. Weingrich, Languages in contact, The Hague — Paris, 1970, разд. 2.14, стр. 11—12.

³ Л. И. Баранникова, Сущность интерференции и специфика ее проявления, сб. «Проблемы двуязычия и многоязычия», стр. 89—90.

⁴ Б. А. Серебренников, Об устойчивости морфологической системы языка, «Вопросы теории и истории языка в свете трудов И. В. Сталина по языкознанию», М., 1952, стр. 207.

Эти положения являются спорными. Во-первых, потому, что дискуссионным является сам вопрос о непроницаемости грамматических структур контактирующих языков. Одни ученые, например, А. Мейе, считали, что «грамматические системы двух языков непроницаемы друг для друга»⁵; вслед за ним ту же мысль повторил Э. Сефир: «...мы вообще не вправе умозаключить о способности одного языка непосредственно оказывать преобразующее морфологическое влияние на другой язык»⁶. С не меньшей силой отстаивалась и противоположная точка зрения; так, например, Г. Шухардт писал: «Даже тесно объединенные структуры, такие как флексия, не могут избежать влияния иностранных языков»⁷.

На отдельные факты проницаемости грамматического строя того или иного языка под воздействием контактирующего с ним иносистемного языка указывали и другие языковеды. Так, например, И. А. Бодуэн де Куртене предполагал возможность влияния урало-алтайских языков (или других неиндоевропейских языков) на развитие падежной системы и категории числа в армянском языке⁸.

Ж. Вандриес приводит ряд фактов, свидетельствующих о проникновении отдельных элементов грамматического строя из одного языка в другой. Так, например, словенцы, жители сербо-хорватской колонии в итальянской провинции Компобассо, поселившиеся там еще в XV в. и говорящие на словинском языке по настоящее время, заимствовали из итальянского определенный член *le*, который регулярно употребляется в их речи (см. *da mi kaze le pute* «пусть мне он покажет пути»). Там же приводится пример из португальского языка в Индии, который под влиянием английского стал использовать морфему *s* как показатель принадлежности, а также примеры проникновения французского и английского элементов в бретонской и ирландской языки и обратного влияния последних на поглощающие языки⁹.

По мнению многих современных лингвистов, не существует ограничений для влияния одной морфологической системы на другую, особенно в условиях двуязычия. Г. А. Меновщиков приводит материал, свидетельствующий о том, что в диалектах алеутов о-ва Медного заимствованы целиком не только русские личные окончания глаголов, но и морфологический способ образования глаголов настоящего, прошедшего и будущего времени¹⁰.

Аналогичные явления наблюдаются и в области фонетики. Например, в татарском языке в результате массового усвоения интернациональной социально-политической, научно-технической и общекультурной лексики с соблюдением орфографических и орфоэпических норм русского языка, сильно изменилась фонетическая система татарского языка, появился целый ряд новых звуков. Так, например, в татарском литературном языке в заимствованных словах появились нехарактерные для него гласные звуки [о], [ы], [э] и согласные [в] (губно-зубной), [к], [г] (заднеязычные), [ц], [щ], [ч] (аффрикаты), а также стечение двух согласных в слоге (*студент, старт, банк* и т. д.), стечение гласных на границе двух слогов (*океан, зоолог, идеология, аэродром* и т. д.).

⁵ A. Meillet, *Le bilinguisme des hommes cultivés*, «Conférences de l'Institut de Linguistique», Paris, 1934, стр. 5—14.

⁶ Э. Сефир, *Язык* (Введение в изучение речи), М.—Л., 1934, стр. 160.

⁷ H. Schuchardt, *Dem Herrn Franz von Miklosich zum 20 November 1883*, «Slavo-Deutsches und Slavo-Italienisches Yzaz», 1884; C. E. Vazell, *International Congress of Linguists*, 6th. Actes, Paris, 1949, стр. 303.

⁸ И. А. Бодуэн де Куртене, *О смешанном характере всех языков*, «Избр. труды по общему языкознанию», М., 1963, стр. 365.

⁹ Ж. Вандриес, *Язык*, М., 1937, стр. 266.

¹⁰ Г. А. Меновщиков, *К вопросу о проницаемости грамматического строя языка*, ВЯ, 1964, 5, стр. 102—103.

Это относится не только к тюркским, но и к другим языкам народов СССР. Так, А. П. Феоктистов отмечает, что «под влиянием русского языка подверглась некоторой перестройке фонетическая структура многих языков народов СССР... Финноугорским языкам не свойственно скопление двух и более согласных в начальной позиции слова. В современных мордовских языках имеются слова, в которых встречаются группы из нескольких согласных в различной позиции. Например: *кшна*, „ремень“, *кшши* „железо“, *пстиемс* „лягаться“, *прялкс* „изголовье“, *каркс* „пояс“ и т. д.»¹¹.

Кроме того, во многих языках народов СССР, в том числе и в татарском, заимствование русских слов обусловило зарождение и развитие неизвестных ранее стилей и стилистических категорий, фразеологизмов, жанрово-стилистической дифференциации художественной литературы, если можно сказать, — идейно-эстетического облика слов и выражений. Таким образом, разнообразны источники интерференции, разнообразны сферы ее проявления и распространения.

Все это говорит о том, что заимствование не ограничивается только случаями заимствования материальных единиц чужого языка, обозначающих субстанцию или признаки и качества.

Во-вторых, нельзя согласиться с мнением Л. И. Баранниковой о том, что заимствованное слово в заимствующем языке оказывается семантически одиноким, не имеющим внутренних связей с другими близкими словами, не развивает новых связей в семантической системе того языка, в который оно входит. Заимствованное слово в семантической системе заимствующего языка не может быть семантически одиноким хотя бы потому, что может привести к изменению функций по иноязычному образцу, отождествляемых каким-либо образом единиц своего языка. Так, например, в русском языке слово *статья* может обозначать статью закона, а также небольшое сочинение, помещенное в газете или журнале. Татарский язык заимствовал это слово только в значении статьи закона, а в значении газетной или журнальной статьи употребляется арабское заимствование *макалә*.

Как правильно отмечал Л. П. Якубинский, словарное заимствование, как обмен словами между разнородными в языковом отношении группами населения не всегда является только результатом обмена предметами и понятиями. От лексических заимствований, которые являются результатом обмена предметами и понятиями, он отличал другой тип заимствований, когда происходит замена своего слова чужим или возникновение наряду со своим словом другого синонимического или синонимобразного¹². Так, например, татарское слово *эгъза*, означающее часть тела (орган), употреблялось также в значении «член (организации, группы)», но в наши дни в этом значении все больше закрепляется заимствованное из русского языка слово *член*, и сейчас трудно найти рабочего, который говорил бы *партия эгъзасы* вместо *партия члены*, или колхозника, который сказал бы *колхоз эгъзасы* вместо *колхоз члены*. Слово *эгъза* в современном языке в этом значении стало стилистически ограниченной формой выражения.

Подобным же образом возникли разноязычные по происхождению синонимы, как татар. *язучы*, араб. *эдин* и русск. *автор*. Первые два слова употребляются в значении «писатель, литератор», а русское слово *автор* употребляется в более широком значении — творец, создатель (литературного произведения, научного труда, изобретения и т. п.). Аналогичные

¹¹ Э. М. А х у п з я н о в, П. Я. С к о р и к, Н. М. Т е р е щ е н к о, А. П. Ф е о к т и с т о в. Русский язык — один из основных источников развития и обогащения языков народов СССР, сб. «Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР», М., 1969, стр. 78—79.

¹² Л. Я к у б и н с к и й, Несколько замечаний о словарном заимствовании, «Язык и литература», I, 1—2, Л., 1926, стр. 6, 18.

примеры имеются не только в татарском, но и в других языках. Такие синонимические группы образуются как из исконных слов, так и путем использования словарных заимствований. Следовательно, тезис о том, что слово в заимствующем языке оказывается одиноким, не имеющим внутренней связи с другими близкими словами, не развивает новых связей в семантической системе того языка, в который оно входит, является неоправданным. Наоборот, оно в подавляющем большинстве случаев тесно связано с другими элементами системы и дополняет отсутствующие в ней звенья, расприрает их семантические связи.

Анализ взаимодействия структурных элементов контактирующих языков, воздействия одного языка на другой на лексико-семантическом и грамматическом уровнях дает основание различать два понятия: и н т е р ф е р е н ц и ю и т р а н с ф е р е н ц и ю.

Основная лингвистическая проблема, возникающая в связи с изучением интерференции, состоит в следующем: в какой мере две контактирующие структуры могут сохраниться в неизменном виде и в какой степени они будут влиять друг на друга, изменять друг друга, в какой степени будут способствовать развитию и обогащению контактирующих языков. Под интерференцией принято понимать очень широкое явление, охватывающее все виды и формы взаимовлияния языков.

Следовательно, интерференция должна рассматриваться как положительное явление, способствующее взаимообогащению контактирующих языков и выработке общих линий их конвергационного развития, проникновению структурных элементов одного языка в другой, создавать предпосылки для дальнейших качественных сдвигов в развитии их систем.

Совершенно другое дело, когда под интерференцией понимают перенос навыков родного языка на изучаемый язык, который оказывает негативное, тормозящее влияние на усвоение второго языка. Перенос этот сам по себе не может оказать какого-либо заметного влияния на нормы и структуру изучаемого языка. Ведь в данном случае не имеет место взаимовлияние языков, мы сталкиваемся только с фактами неосознанного, ошибочного переноса норм родного языка на второй изучаемый язык.

Для того чтобы отграничить это явление от всех других видов взаимодействия языков, называемых интерференцией, для научной точности и удобства было бы целесообразно называть их другим близким по значению термином — т р а н с ф е р е н ц и я (от лат. *trans-fero* «переносить»), означающим перенос элементов, признаков и правил из другого языка¹³.

Трансференция в отличие от интерференции как явления положительного должна расцениваться как явление отрицательное, которое порождает речевую избыточность, создает значительные помехи на пути к освоению второго языка.

Употребление этого термина, на наш взгляд, оправдывается тем, что он вносит ясность и избавляет нас от той разногласия, которая существует в понимании сущности интерференции в лингвистической литературе.

Неодинаковы также и причины их возникновения. Если причины интерференции объясняются главным образом экстралингвистическими факторами, то причины трансференции тесно связаны с лингвистическими факторами, дающими богатый материал, подтверждающий марксистский тезис о диалектическом единстве языка и мышления.

По вопросу о соотношении языка и мышления при двуязычии в лингвистической литературе были высказаны две гипотезы о двух типах двуязы-

¹³ «TRANSFERENZ — Das Resultat eines Vorgangs der — Interferenz (s. auch — Entlehnung). Nach Clyne (im Anschluß an Weinreich) die („Übernahme von Elementen, Merkmalen und Regeln aus einer anderen Sprache“) (стр. 16, 192)» (T h. L e w a n d o w - s k i, Linguistisches Wörterbuch, 3, Heidelberg, 1976, стр. 931).

чия, обусловленных особенностями кодирования действительности в сознании говорящих. Согласно первой гипотезе, элементы действительности кодируются только один раз в жизни при первом восприятии и имеется некое общее хранилище следов восприятий, из которого «черпает» следы восприятий каждый из языков, известных двуязычному носителю. «Если восприятия, сопровождавшиеся речевыми сигналами, были когда-то в прошлом „отмечены“ или закодированы и помещены в общее хранилище, то надо полагать, что они хранятся там в некоторой надязыковой форме, в виде „мыслей“ или „идей“, или же в форме, с точки зрения языка нейтральной, например в виде зрительных образов или цепочек двигательных операций. В таком случае языки, известные двуязычному говорящему, представляют собой два независимых инструмента, с помощью которых он черпает из общего хранилища, а восприятия, первоначально зарегистрированные через посредство одного языка, могут беспрепятственно извлекаться из памяти и описываться непосредственно на другом языке, если только это допускают правила его грамматики»¹⁴.

Такое двуязычие предполагает параллельную связь эквивалентных средств двух языков с существующей в сознании говорящих единой в своей основе системы понятий. Эта единая система служит общим мыслительным фундаментом для обоих сосуществующих языков, которые в силу этого не только сосуществуют, но и взаимодействуют. Получается, что каждому понятию соответствуют два способа выражения: один из первого, другой из второго языка. Такой характер взаимодействия языков Л. В. Щерба называл «смешанным языком с двумя терминами»¹⁵. В качестве примера приводились лужичане, свободно владеющие как родным, так и немецким языками, или дети в семьях со смешанными браками. В этом случае второй язык усваивается через посредство первого, с постоянной оглядкой на него, что и служит залогом действительного полного совершенного овладения вторым языком.

Правда, мнение Л. В. Щербы о существовании языка с одним планом содержания и двумя планами выражения остается еще недоказанным. В сознании билингвов, безусловно, сосуществуют две языковые системы, и выбор каждой из них определяется условиями общения. Другое дело, что эти системы сложно переплетаются и билингвы стремятся установить тождество планов выражения и планов содержания двух языков, смешивая при этом элементы, принадлежащие к различным структурам.

Другая гипотеза, в противоположность этому, гласит, что элементы действительности кодируются и хранятся в памяти вместе с элементами того языка, сквозь призму которого они были восприняты, и что каждый язык имеет, таким образом, свое особое хранилище следов восприятий. «Наоборот, — пишет П. Колерс, — если восприятия в прошлом кодировались и помещались в памяти в форме, специфически связанной с тем языком, на котором человек мысленно называл их, то в таком случае у двуязычных людей для каждого из языков должны иметься отдельно хранимые массивы восприятий, иначе говоря, каждый элемент воспринимаемой действительности им приходится кодировать несколько раз, по числу известных им языков. Это значит, что невозможно непосредственно назвать или извлечь из памяти некоторое переживание, пользуясь не тем языком, на котором оно было закодировано. Сделать это можно будет, только выполнив специальную дополнительную операцию — перевод»¹⁶.

¹⁴ П. Колерс, Межязыковые словесные ассоциации, «Новое в лингвистике», VI, М., 1972, стр. 254—255.

¹⁵ Л. В. Щерба, О понятии смешения языков, в кн.: Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, 1, Л., 1958, стр. 48.

¹⁶ П. Колерс, указ. соч., стр. 255.

При этом надо иметь в виду то обстоятельство, что содержание внешнего мира человек усваивает через призму языка, воспринимает окружающие предметы и явления в понятийных категориях, данных в его родном языке. На этом языке он овладевает операционной структурой мыслительной деятельности. Следовательно, содержание и способы познавательной деятельности в существенной мере зависят от овладения родным языком, от степени усвоения его лексико-семантических и структурных закономерностей.

Из положения о том, что «язык *есть* практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание...»¹⁷, следует, что мысль не только формулируется, но и формируется в речи, что в сознании билингва, владеющего двумя языками не в одинаковой степени совершенства, не может быть полного и абсолютного равенства двух или нескольких языков. Разные языки, которыми владеет билингв, не могут в равной степени выполнять функции формирования мысли и служить реальностью мысли. Наши наблюдения свидетельствуют о том, что даже при относительно одинаковом владении двумя языками, только один из них является действительностью мысли, и при особенно ответственных операциях билингв пользуется именно этим языком.

Системы знаний и способы действительности легко актуализируются и проявляются на том языке, на основе которого они формировались. Психологический анализ деятельности учащихся в процессе выполнения преобладающих пока в методике и школьной практике учебных заданий показал, что в этой деятельности нарушается единство мышления и речи: мыслительная деятельность учащихся базируется на средствах родного языка, а результаты ее оформляются средствами изучаемого языка.

Интересные наблюдения, подтверждающие этот тезис, приведены в кандидатской диссертации М. Гарифуллиной по работе с картиной. Автор отмечает, что работы учащихся на родном языке свидетельствуют о доступности данного задания и способности большинства школьников написать на основе предложенной картины и своих наблюдений логичные, эмоционально окрашенные описания весеннего сада. Рассмотрим для примера работы двух учащихся, в которых наиболее выпукло отразились указанные особенности.

На русском языке

На родном языке

I

«В школе есть большой сад. Это весна. Дети копают землю. Дети работают в саду. В саду есть сосна, дуб, помидоры. Там растет яблоня. Они сажали грядки».

«Наступила долгожданная весна. Дни становятся все теплее. Голубое небо покрыто белыми пушистыми облаками. Они, как парусные корабли, плывут. Льдины ушли по реке на север. Вернулись птицы, улетевшие от нас в теплые края. Расцвели яблони. Дети сажают в школьном саду помидоры, огурцы, лук и другие овощи. Поливают деревья. Азат сажает цветы. Рустем поливает яблони. Дети весело работают в саду. Им очень весело».

¹⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 3, стр. 29.

II

«У школы есть большой сад. Дети работают там. Сад большой. В саду есть деревья. Мальчик посадил деревья. В саду растут яблоны. Мальчик поливает из лейки. В саду растет тополь».

«Был весенний красивый день. Светило солнце, пели вернувшиеся из дальних стран птицы. Деревья утопают в зелени нежных весенних листьев. Дети пришли в свой сад. Там же расцвели яблони. Рустем поливает цветы. Остальные дети сажают овощи. Учительница наблюдает за работой своих учеников. Она довольна их работой, улыбается».

Работы учащихся на родном языке отличаются не только по объему информации, количеству фраз и слов, они являются результатом качественно различной мыслительной деятельности. Приведенные и многие другие работы учащихся на татарском языке говорят о развитии логического и образного мышления детей, их способности наблюдать и яркими средствами описывать окружающую природу (*деревья утопают в нежной весенней листве, по голубому небу плывут облака, похожие на парусные корабли, облака в небе напоминают сказочные острова* и др.). В целом можно сказать, что познавательная деятельность школьников в данном случае имела элементы творчества¹⁸.

Эти наблюдения позволяют сделать вывод о том, что познавательный процесс совершается на основе родного языка, а коммуникативный процесс совершается на втором языке. Таким образом, при несовершенном двуязычии возникает разрыв между мыслительной деятельностью и речевыми возможностями билингва. В этом, на наш взгляд, кроется основная причина, порождающая трансференцию в речи людей, изучающих второй язык.

Другой причиной возникновения трансференции является национальное своеобразие грамматических и лексических значений. В силу того, что общие законы мышления, его отражательный характер одинаковы для людей, говорящих на разных языках, понятия имеют внеациональный характер. Языковые же значения, если исключить какое-то количество терминов науки и интернациональные слова, имеют национальный характер¹⁹. Поэтому они видоизменяются от языка к языку, вследствие чего структура значений никогда не повторяется в различных языках, но и никогда не тождественна структуре понятий, стоящей вне языка и образующей логическую основу всех языков. Национальное своеобразие лексических значений проявляется прежде всего в том, что слова, тождественные по смыслу, занимают в разных языках неравное положение, выполняют в них не одинаковые функции, и, следовательно, не являются абсолютно однозначными.

Смысловая насыщенность словаря, разветвленность значений слов и их семантических оттенков в языках бывает далеко не одинакова.

Справедливо высказывание о том, что «переход от одного языка к другому не есть простое, механическое „наклеивание“ одних „ярлыков“ на место других, т. е. на одни и те же, заранее данные, сами по себе ясно выделенные мысли. Напротив, в очень большом числе случаев приходится

¹⁸ М. Гарифуллина, Программированное обучение русскому языку в начальных классах татарской школы. КД, Казань, 1976.

¹⁹ Следует заметить, что значения интернациональных научных терминов в различных языках обычно совпадают. Как правило, они однозначны, их объем и содержание выражаемых ими понятий более или менее близки, и применительно к таким терминам как раз и можно говорить о точном смысловом соответствии в любом языке.

сталкиваться не только с различным изображением явно того же самого, но и с такими разными данными для оформления мысли, которые наталкивают на образование не вполне одинаковых мыслей и не только заставляют „подчеркивать“ в предметах, явлениях и отношениях их разные стороны, но и приводят к разной классификации, к разной „сортировке“ соответствующих элементов действительности»²⁰. Так, например, глагол *идти* в русском языке означает движение, которое может совершаться в любом направлении. В татарском языке установилась иная точка зрения на распределение процесса, обозначенного в основе этого глагола, в пространстве. Если «идти т у д а», то в татарском языке употребляется глагол *бару*: «дети идут в школу» — *балалар мактапкә баралар*; если «идти с ю д а», то употребляется глагол *килу*: «к нам идет какой-то человек» — *безгә таба ниндидер бер кеше килә*; а если «идти д о м о й», то употребляется глагол *кайту* «возвращаться»: «я иду домой» — *мин өйгә кайтам*. Но по-татарски нельзя сказать *мин өйгә киләм* или *мин өйгә барам*. Эти специфические для разных языков точки зрения на действительность, создающие национальную самобытность соотносимых лексических единиц разных языков, являются причиной многих ошибок при изучении второго языка, возникающих в результате трансференции.

Ошибки эти могут возникнуть в результате отождествления словарных эквивалентов изучаемого и родного языков, в том числе и их дистрибутивных возможностей, что выражается как в употреблении сочетаний слов, чуждых норме изучаемого языка, так и в привнесении в изучаемый язык особенностей, характерных для лексико-семантических, синтаксических связей слов родного языка.

Прежде всего это выражается в идентификации в сознании билингвально-несовпадающих лексических значений двух языков. Нередко стремление билингва передать значение слов изучаемого языка по аналогии с нормами словоупотребления в родном языке: ср. русск. *сливочное масло* с татар. *ак май* («белое масло»), русск. *крепкий чай* с татар. *куе чай* («густой чай»).

Наблюдаются случаи, когда две, три лексические единицы, имеющие в русском языке разные значения, на татарский язык передаются только одним словом. Сюда относятся такие русские глаголы, как *читать* и *учиться* — *уку*; *варить* и *печь* — *пешеру*; *сыпать* и *лить* — *салу*; *идти* и *ехать* — *бару*; *поставить* и *положить* — *кую*; *копать* и *рыть* — *казу*; *ловить* и *поймать* — *тоту*; *говорить* и *сказать* — *эйту* и т. п. В данном случае нескольким означающим с разными означаемыми в русском языке в татарском соответствует только одно означающее с единым недифференцированным означаемым. Этим объясняется возникновение в речи татар, изучающих русский язык, таких распространенных ошибок, как *Я читаю в школе* вм. *Я учусь в школе*, *В этом году я пойду читать* вм. *В этом году я пойду учиться*.

Причиной лексико-семантической трансференции могут служить также и различия в ассоциативной связи слов, являющиеся неодинаковыми в разных языках. Так, например, по-русски говорят *петух поет*, *кукушка кукует*, а в татарском языке глаголы *поет* и *кукует* передаются одним глаголом *кычкыру* — *кричать* (*этэч кычкыра*, *кәжжүк кычкыра*). Русские глаголы *приносить*, *приводить*, *привозить* в татарском языке передаются глаголом *китеру*: *приносить воду* ~ *су китеру*, *привозить дрова* ~ *утын китеру* и т. д. Отсюда возникают такие распространенные погрешности в русской речи татар как *петух кричит* вм. *петух поет*, *кукушка кричит* вм. *кукушка кукует*, *приводит воду* вм. *приносит воду* и т. д.

²⁰ А. И. Смирницкий, О. С. Ахманова, О лингвистических основах преподавания иностранных языков, «Ип. яз. в шк.», 1954, 3, стр. 47.

Таким образом, причинами лексико-семантической трансференции могут быть расхождения в лексико-семантической структуре и сочетаемости лексических единиц, расхождения в логико-предметном значении, различия в ассоциативной связи слов разных языков, неодинаковая дифференцированность значений отдельных семантических единиц и дистрибутивных возможностей их в контактирующих языках.

Здесь уместно вспомнить слова В. И. Абаева, который, наблюдая свое собственное произношение, утверждает, что «при переходе с одного языка на другой можно в совершенстве усвоить произношение чужого языка, полностью овладеть его лексикой, не примешивая к ней ни одного слова из старого родного языка, но трудно, почти невозможно отрешиться целиком от привычных семантических связей и ассоциаций... Именно потому, что семантика и идиоматика относятся к самым интимным сторонам языка, до которых мы доходим только при весьма совершенном знании, они остаются при субстратном анализе вне сферы нашей досягаемости»²¹.

Сопоставительный анализ лексико-семантических систем двух языков в известной степени позволяет предсказать, что для носителей одного из этих языков будет представлять регулярные трудности при изучении второго языка и позволит прогнозировать возможные ошибки при изучении переродного языка.

Изучение второго языка, особенно на начальном этапе, всегда будет происходить с оглядкой на родной язык. Говорящий дословно переводит с родного языка на изучаемый, а не образует самостоятельных сочетаний слов и предложений по нормам изучаемого языка. Создается так называемый смешанный план речи. На более высокой ступени овладения чужим языком смешанный план вытесняется двуязычной речью, в которой формы родного языка уже не влияют на сложение единиц по правилам и нормам изучаемого языка. Таким образом, человек, изучающий другой язык, как бы выходит из круга своего языка, входит в новый круг и приобретает новую точку зрения, отличную от прежних способов выражения мысли на родном языке. Следовательно, полное овладение изучаемым языком возможно лишь при условии, когда формы родного языка уже не являются помехой для правильного построения предложений на другом языке, т. е. тогда, когда уже билингв владеет двуязычной речью, не смешивая при этом один язык с другим, т. е. автономным двуязычием.

«Автономное двуязычие предполагает, что говорящий четко различает системы языков, на которых он говорит, у него четко дифференцированы установки на языки, что механизм порождения на каждом из этих языков работает практически независимо. Переход от порождения текста на одном языке на порождение текстов на другом языке происходит путем переключения с одного механизма на другой»²². Стимулами такого перехода могут быть различного рода изменения ситуаций общения: состава общающихся, их количества, условий общения и т. д. «Идеальный биглот, — писал У. Вайнрайх, — переключается с одного языка на другой в зависимости от воспринятых им изменений речевой ситуации (собеседник, тема и т. д.), но не при неизменности речевой ситуации и особенно не внутри фразы»²³.

Но до тех пор, пока такая степень овладения вторым языком не достигнута, учет явлений трансференции родного языка на изучаемый язык на всех его уровнях является одним из решающих факторов, способствующих свободному овладению вторым языком.

²¹ В. И. Абаев, О языковом субстрате, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, 1956, стр. 66.

²² А. Е. Супрун, Лингвистические основы изучения грамматики русского языка в белорусской школе, Минск, 1971, стр. 25.

²³ U. Weiprecht, Languages in contact, The Hague — Paris, 1970, стр. 73.

ТОРОПОВА Н. А.

К ИССЛЕДОВАНИЮ ЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ

В настоящей работе подвергается анализу аспект аффирмативности и пресуппозиции логических частиц в немецком, русском и английском языках¹ и выясняется их роль в функционировании этого класса слов. Кроме того, определяется состав компонентов, принципиально важных для описания семантики частиц. Частицы в данной работе рассматриваются не в отдельных предложениях, а с учетом их более широких смысловых связей. Такой подход к частицам, который в общем можно охарактеризовать как контекстный, во многом определяет и наши результаты анализа.

В литературе отмечаются две основные функции логических частиц — как средства соотнесения понятий² и как средства актуального членения предложения на логико-грамматическом уровне³. Наше описание частиц касается только их первой функции, а вторая может быть предметом специального рассмотрения. Предварительно коснемся некоторых теоретических вопросов, непосредственно связанных с темой обсуждения. Понятие пресуппозиции (презумпции) восходит к идеям, как известно, немецкого логика Г. Фреге. По его определению, пресуппозиции являются естественными предпосылками суждений. Так, предложения *Кеплер умер в нищете* — *Кеплер не умер в нищете* имеют одинаковую предпосылку (*Voraussetzung*) о существовании Кеплера. Г. Фреге считал, что основное суждение часто сопровождается другими имплицитными суждениями, но к пресуппозициям относил только предпосылки существования⁴. В настоящее время понятие пресуппозиции используется гораздо шире. Оно применяется для интерпретации самых различных явлений, из которых только часть относится к области лингвистики. В языкознании современное значение термина «пресуппозиция» связывают с именем П. Стро-

¹ Ср.: R. Horn, A presuppositional analysis of *only* and *even*, «Papers from the Fifth regional meeting, Chicago linguistic society», Chicago, 1969, стр. 98; B. Frazer, An analysis of *even* in English, в кн.: «Studies in linguistic semantics», New York — Chicago, 1971, стр. 152; W. Dieter, Präsuppositionen in der Linguistik, в кн.: «Präsuppositionen in Philosophie und Linguistik», Frankfurt am Main, 1973, стр. 470; K. H. Ebert, Präsuppositionen im Sprechakt, там же; Е. Н. Старикова, Имплицитная предикативность в современном английском языке, Киев, 1974, стр. 57; Г. Е. Крейдлин, Лексема *даже*, «Семиотика и информатика», 6, М., 1975, стр. 104; Е. Е. Михелевич, Логико-смысловые частицы в современном немецком языке (к вопросу о грамматической системе морфологически неизменяемых слов). АКД, М., 1960, стр. 12; А. Т. Кривоносов, Система «взаимопроницаемости» неизменяемых классов слов, ВЯ, 1975, 5.

² А. Т. Кривоносов, Система неизменяемых классов слов (на материале немецкого языка), Саратов, 1974, стр. 55. Функция соотнесения понятий является основным признаком, по которому логические частицы отличаются от других частиц, например, модальных или формообразующих, описание которых в нашу задачу не входит.

³ В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 134, 135.

⁴ G. Frege, Über Sinn und Bedeutung, «Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik», 100, 1892, стр. 40—46 (перевод этой работы на русский язык и оценку ее значения для современной науки см. в кн.: «Семиотика и информатика», 8, М., 1977).

сона⁵. П. Стросон выделяет особый вид импликации, которая по существу сходна с предпосылками Г. Фреге⁶. Оба автора говорят о смысловых отношениях между предложениями, суть которых можно передать формулой «X предполагает Y». В дальнейшем на основании этой формулы эксплицируются значения целых пропозиций, отдельных слов и грамматических конструкций. Так, пресуппозицией предложения *Мэри убрала комнату* является факт того, что комната была грязной. При отрицании (*Мэри не убрала комнату*) пресуппозиция сохраняется. В предложении *Джон курит, но он честный человек* пресуппозицию можно сформулировать следующим образом: кто-то предположил, что курильщики нечестные люди. Немецкие глаголы *erwarten* «ожидать», *hoffen* «надеяться», *fürchten* «бояться» предполагают в качестве субъекта действия человека, что составляет их общую пресуппозицию, а кроме того, некоторые глаголы обладают еще и дополнительной пресуппозицией: *hoffen* связано с ожиданием чего-то хорошего, а *fürchten* — плохого⁷. Приведенные примеры не исчерпывают всего многообразия смысловых отношений, описываемых посредством пресуппозиций. В лингвистике под пресуппозицией обычно понимается имплицитное суждение, представленное в форме предложения, которое является смысловым компонентом другого эксплицитного выражения⁸. Но не все имплицитные суждения, сопровождающие предложение, являются его пресуппозициями. Усилия ученых направлены на то, чтобы разграничить пресуппозиции и следствия⁹ и отделить пресуппозиции от утверждений. В качестве формального критерия выделения пресуппозиций часто используют отрицание. Как мы уже показали, утвердительная и отрицательная формы предложений имеют одинаковую пресуппозицию. Иными словами, отрицание не затрагивает пресуппозиций предложения, не распространяется на них¹⁰. В определенных случаях отрицание может быть специально ориентировано на пресуппози-

⁵ P. F. Strawson, On referring, в кн.: «Philosophy and ordinary language», Urbana, 1963.

⁶ Ср. там же, стр. 175.

⁷ F. Kiefer, Über Präsuppositionen, «Semantik und generative Grammatik», II, Frankfurt am Main, 1972, стр. 279—287.

⁸ G. Lakoff, Über generative Semantik, «Semantik und generative Grammatik», II, стр. 308, 355; F. Kiefer, указ. соч., стр. 302.

⁹ Уяснение этих понятий представляет для лингвиста определенные трудности. Во-первых, сама пресуппозиция нередко определяется как следствие. Во-вторых, понятие следствия оперируют и в лингвистическом, и в логическом смысле, но часто под одним термином. Некоторые авторы (И. Д. Арутюнова, О. Дюкро) подчеркивают, что пресуппозиция всегда предшествует высказыванию. По данному вопросу можно согласиться с Д. Франк: то, что для говорящего предпосылка, для слушающего — следствие. Для следствий-пресуппозиций П. Стросон предлагал термин *imply* в отличие от *entail* (для обозначения логических импликаций). Ср.: И. Д. Арутюнова, Предложение и его смысл, М., 1976, стр. 359; O. Ducrot, Präsuppositionen und Mitverständnisse, в кн.: «Präsuppositionen in Philosophie und Linguistik», стр. 254; J. S. Petöfi, H. Rieser, «Präsuppositionen» und «Folgerungen» in der Textgrammatik, там же, стр. 495; D. Franck, Zur Problematik der Präsuppositionsdiskussion, там же, стр. 22; P. F. Strawson, указ. соч., стр. 175; I. Beller, Über eine Bedingung für die Kohärenz von Texten, в кн.: «Semantik und generative Grammatik», I, Frankfurt am Main, 1972, стр. 3.

¹⁰ Используя этот формальный признак, ученые в то же время обращают внимание на сложность вопроса, в частности, на проблему разграничения лингвистического и логического отрицаний. Д. Франк, например, считает, что отрицание как критерий выделения пресуппозиций действителен для простых предложений, когда его утвердительная форма может иметь только одну отрицательную, выраженную языковыми средствами. В этом случае значения *nein* или *das ist falsch* передаются однозначно. Логическое отрицание («S ist falsch») автор называет слабым, а отрицание в естественном языке — сильным. Прежде чем использовать отрицание в указанном смысле, нужно сопоставить сферы действий обоих отрицаний.

цию. *Peters Kinder gehen schon zur Schule* «Дети Петра уже ходят в школу» → *Peter hat Kinder* «У Петра есть дети» (пресуппозиция) ← *Peter hat doch gar keine Kinder* «У Петра вовсе нет детей» (отрицание пресуппозиций)¹¹.

Довольно распространенным является определение пресуппозиций как фонда общих знаний собеседников. Некоторые авторы связывают это определение с прагматическими пресуппозициями, которые, в отличие от семантических, всегда известны слушателю¹². Среди прагматических нередко выделяют пресуппозиции, имеющие универсальное значение для коммуникативных актов¹³. К ним относится, например, желание говорящего быть услышанным и понятым собеседником. В предложении *Peter ist größer als Max, aber ich will nicht, daß du das weißt* «Петр выше Макса, но я не хочу, чтобы ты об этом знал» это условие не соблюдается¹⁴. Хотя универсальные коммуникативные пресуппозиции не связаны с конкретным содержанием, их нарушение в какой-то степени отражается на смысле высказываний, и поэтому приведенный пример не воспринимается как вполне нормальный языковой факт. Существует более широкое понимание пресуппозиций как вообще условий, при которых предложение имеет смысл¹⁵. Сюда включаются любые условия, необходимые для нормального процесса коммуникации.

Таким образом, единого и точного определения понятие пресуппозиции в лингвистике не имеет, но оно получает все более широкое распространение в практике исследований.

Рассматривая категорию аффирмативности в интересующем нас плане, обратимся опять к трудам Г. Фреге. Утверждение и отрицание, по его мнению, взаимосвязаны и ориентированы друг на друга. Утверждая что-то в положительной форме, мы считаем мысль истинной и отвергаем отрицание. Употребляя отрицательную форму, мы отвергаем тем самым истинность суждения. Оформляя свою мысль, человек делает выбор между двумя противоположностями. Отклонение одного и принятие другого представляет собой единый процесс¹⁶. Эти идеи находят отражение в языкознании, особенно в работах Г. Вайнриха и Х. Бринкмана. Любое предложение в каждом языке рассматривается как детерминированное относительно *Ja/Nein* независимо от того, озвучены эти значения или нет. *Ja/Nein* — это ассертивная морфема, которую языки создали, чтобы соотнести новую информацию говорящего с предварительной информацией собеседника¹⁷. Развивая эти положения, Х. Бринкман говорит о возможности неполного отрицания, т. е. об ограничении¹⁸. Для нас важна также мысль автора о том, что отрицание противопоставляет ожидание и действительность. К тому же отрицание создает перспективу высказывания (*Horizont*), так как тот, кто отрицает, в состоянии сказать нечто боль-

¹¹ W. Dieter, указ. соч., стр. 468. См. также: U. Egli, *Zweiwertigkeit und Präsupposition*, «Linguistische Berichte», 1971, 13, стр. 74—78.

¹² K. H. Ebert, указ. соч., стр. 423.

¹³ C. J. Fillmore, *Verben des Urteilens. Eine Übung in semantischer Beschreibung*, в кн.: «Semantik und generative Grammatik», 1, стр. 129.

¹⁴ D. Franck, указ. соч., стр. 13.

¹⁵ E. Keenan, *Two kinds of presupposition in natural language*, в кн.: «Studies in linguistic semantics», стр. 45, 49.

¹⁶ G. Frege, *Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel*, 1, Hamburg, 1969, стр. 201, 214; в то же время, *Schriften zur Logik*, Berlin, 1973, стр. 72—75. Г. Фреге проводит интересные наблюдения над языковым отрицанием, подчеркивая, что только отрицание сказуемых распространяется на всю пропозицию, т. е. соответствует логическому в изложенном смысле. С отрицанием же других членов предложения связано много вопросов, от решения которых он временно отказывался.

¹⁷ H. Weirich, *Linguistik der Lüge*, Heidelberg, 1966, стр. 49—55.

¹⁸ H. Brinkmann, *Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung*, Düsseldorf, 1962, стр. 358.

шее, т. е. сделать утверждение¹⁹. Отрицание ориентировано на утверждение ретроспективно и перспективно²⁰.

Логиками давно отмечено также утвердительно-отрицательное значение слова *только*. В общевыделяющем суждении *Только люди разумны* выражена мысль, что нет ни одного существа, кроме человека, который обладал бы признаком разумности. Выделяющее суждение представляет собой соединение двух суждений — утвердительного и отрицательного²¹. В последнее время стало также обычным толкование семантики логических частиц посредством компонентов типа «и никто другой» «и другие тоже», что, безусловно, отражает их утвердительно-отрицательные значения. Суть этих значений описана В. Г. Адмони. В предложении *Sie liest sogar Bücher* «Она читает даже книги» частица *sogar* выражает включение понятия, выраженного в дополнении *Bücher*, в число других семантически близких ему понятий (*газеты, журналы* и т. п.). А в предложении *Sie liest nur Bücher* «Она читает только книги» частица *nur*, наоборот, отграничивает дополнение от них²². Частица *sogar* обнаруживает, таким образом, утвердительное значение (*Bücher + etwas anderes*), а *nur* — отрицательное (*Bücher und nichts anderes*). Нетрудно заметить, что определения даны относительно семантически близких понятий: газеты, журналы и т. п. Мы назовем их противочленами логических частиц. Сами частицы всегда сопровождают знаменательное слово, свой ядерный элемент, который они соотносят с противочленами.

Как же конкретно рассматриваются частицы в плане затронутых нами общих вопросов? Определяя пресуппозиции логических частиц, ученые отграничивают их от утверждений (Assertion). Сопоставим ряд толкований на материале разных языков²³.

Only *Muriel voted for Hubert.* «Только Мюриель голосовала за Хуберта»

В джазе только девушки.

Прес.: 1а *Muriel voted for Hubert.*

1а. *В джазе девушки.*

Утв.: 1б. *No one other than Muriel voted for Hubert*

1б. *И больше никого.*

Even *Muriel voted for Hubert.* «Даже Мюриель голосовала за Хуберта».

Даже первоклассники меня поняли.

Утв.: 2а. *Muriel voted for Hubert.*

2а. *Первоклассники меня поняли.*

Прес.: 2б. *Other people voted for Hubert.*

2б. *Кто-то другой меня понял.*

2в. *От первоклассников это трудней всего ожидать.*

Otto war auch in Hamburg «Отто был тоже в Гамбурге».

Первоклассники меня тоже поняли.

Утв.: 3а. *Otto war in Hamburg.*

3а. *Первоклассники меня поняли.*

Прес.: 3б. *Jemand war in Hamburg.*

3б. *Кто-то другой меня понял.*

¹⁹ Там же, стр. 359.

²⁰ W. We i ß, Die Negation im deutschen Satz, «Wirkendes Wort», 1961, Hf. 2, стр. 65, 66.

²¹ Н. И. К о н д а к о в, Логический словарь-справочник, М., 1975, стр. 103.

²² В. Г. А д м о н и, Введение в синтаксис современного немецкого языка, М., 1955, стр. 86.

²³ Приводимые ниже примеры и их интерпретация заимствованы из следующих работ: Р. Н о г п, указ. соч., стр. 99, 105; Е. В. П а д у ч е в а, Понятие презумпции в лингвистической семантике, «Семантика и информатика», 8, 1977, стр. 105—110; К. Н. Е б е р т, указ. соч., стр. 324.

Под индексом *a* мы поместили исходные предложения за вычетом частиц. В толкованиях с индексом *b* отражены утвердительно-отрицательные отношения частиц и их противочленов. Кроме этого, имеется еще одна дополнительная экспликация 2в.

Между примерами (1) и (2), (3) имеется существенное различие: предложения 1а отнесены к пресуппозициям, а 2а и 3а — к утверждениям. Возникает вопрос: почему исходные предложения без частиц, например, *Muriel voted for Hubert*, с частицей *только* получают статус пресуппозиций, а с *даже* и *может* — утверждений? Не вдаваясь в теоретическое обсуждение, можно заметить, что формулировки 1б фактически включают 1а. *No one other than Muriel ...* значит не что иное, как *Muriel voted*. Аналогично: *И больше никого* → *Никого, кроме девушки* → *Девушки были*. В утверждениях, таким образом, повторяются значения, отнесенные к пресуппозициям. Авторы приведенных примеров выделяют пресуппозиции, ссылаясь на отрицание, но выше мы уже отметили трудности, связанные с применением этих критериев. Применить его к частицам еще сложнее, потому что очень немногие из них допускают возможность прямого отрицания, как в русском *не только* или в немецком *nicht nur* и *nicht einmal*²⁴.

Логические частицы формируют представление о том, что выделяемое понятие употреблено не изолированно, а имеет отношение еще к чему-то. Они предполагают наличие своих противочленов, что и составляет их основную пресуппозицию. Пресуппозиции и утверждения (Assertion) различаются обычно по признаку «известное — неизвестное». С этим связано их определение относительно контекста. Пресуппозиции — это обусловленные контекстом значения предложения, а утверждения — значения, не зависящие от него²⁵. Каким образом можно установить факт известности значения? Простым и естественным методом представляется анализ не отдельных предложений, а предложений, вписанных в более широкий контекст. По логике вещей, пресуппозиции слов и предложений должны иметь какое-то отношение к предшествующему содержанию. Так, пресуппозиции предикатных имен (*холостяк*, *скупец* и т. п.) соответствуют семантическим признакам субъекта²⁶. В предложении *Он холостяк* компонент пресуппозиции «мужской» уже отражен в местоимении. Если продолжить воспроизведение контекста в обратном направлении, то, вероятно, там можно найти и компонент «взрослый». Известность пресуппозиций слова *холостяк* получает вполне реальное подтверждение. Ассертивный же признак «неженатый» встречается впервые, он действительно неизвестен и с предшествующим контекстом не связан. Аналогично нами рассмотрены контекстные связи логических частиц в немецком языке²⁷. Суть анализа заключалась в поиске противочленов каждой частицы. В общем виде можно сказать, что они всегда известны. Что касается значений 1а, выделенных Р. Хорном и Е. В. Падучевой в качестве пресуппозиций, то их известность и, следовательно, отнесенность к пресуппозициям не подтверждается. По нашим наблюдениям, они всегда выполняют ассертивную функцию.

Представление о противочленах частиц формируется, как правило, на основании предшествующего контекста или вытекает из содержания данного предложения. Отвлекаясь от частных форм проявления противочленов можно свести к пяти видам: 1) противочлен вербально обозначен:

²⁴ Вообще не ясно, что следует считать отрицательной формой предложения с частицей. Отрицание всей пропозиции или частицы с ее ядерным элементом? Равнозначны ли эти два отрицания?

²⁵ Д. Фганск, указ. соч., стр. 21, 22. В работе дана систематизация точек зрения по разбираемому вопросу.

²⁶ Н. Д. Арутюнова, Предложение и его смысл, стр. 365.

²⁷ На связь частиц с предыдущей речью обратил внимание А. М. Пешковский в работе «Наш язык», ч. I, М. — Л., 1925, стр. 84.

Ich trompetete. Auch der Feind trompetete (J. Becher) «Я барабанил. Враг тоже барабанил». Противочлен частицы *auch* эксплицитно выражен в предыдущем предложении; 2) противочлен определяется парадигматическими связями ядерных элементов: *Sogar Kranke mußten arbeiten* «Даже больные должны были работать». Частица *sogar* соотносит *Kranke* ↔ *Gesunde*; 3) круг противочленов очерчен логической пресуппозицией (общеизвестным фактом): *Sie hat nur ein leichtes Kleid an* «На ней было только легкое платье». За счет частицы сказано, что на человеке было и что по общепринятым нормам должно быть, но отсутствует (*keinen Mantel, keine Jacke, kein warmes Kleid* и др.). В данном случае можно говорить и о тематических группах слов (*sachliche Wortgruppen*); 4) представление о противочленах формируется на основании умозаключений. «*Ja, schluchzt Adam und schält noch schneller. Vielleicht kann man durch eine gewaltige Arbeitsleistung den Schaden wieder gut machen. Aber Bruder Isidor sieht gar nicht hin, für ihn ist Adam Luft* (Jobst) «„Да“, — всхлипывает Адам и чистит еще быстрее. Может быть усердной работой можно опять поправить дело. Но брат Исидор совсем не смотрит на него, Адам для него — пустое место». В основе этого высказывания лежит энтимаема условно-категорического силлогизма, т. е. сокращенное умозаключение.

1 посылка: *Wenn man schnell und gut arbeitet, sieht man das.*
(имплицитная)

2 посылка: *Adam schält noch schneller.*

Тезис: *Bruder Isidor mußte das sehen.*
(имплицитный)

Отрицание тезиса: *Bruder Isidor sieht gar nicht hin.*

Положительный противочлен отрицания *nicht* входит в состав имплицитного тезиса (*mußte sehen*) и отрицается (*sieht gar nicht hin*); 5) противочлен частицы представлен ситуацией. Такой противочлен типичен для *nicht* в императивных предложениях: *Nicht schlagen* «Не бить!» *Weine nicht!* «Не плачь!». То, что отрицается (запрещается), находится перед глазами. Язык опирается на паралингвистические средства, используя их в качестве функционального компонента. Конкретные действия являются пресуппозицией отрицания, его положительным противочленом.

Таковы в общих чертах формы проявления противочленов логических частиц. Отдельные частицы обнаруживают специфику в отношении этих форм, тяготеют, например, к одной или меняют ее в зависимости от значения или других факторов. Но как бы ни был представлен противочлен, он всегда известен собеседникам, составляет фонд их общих знаний и может быть отнесен к пресуппозициям частиц. К утверждениям же (Assertion) относятся значения, отражающие отношения между ядерными элементами частиц и противочленами. Прежде всего противочлен либо отрицается как участник ситуации, либо включается в число таковых. Соответственно можно говорить об отрицательных и утвердительных значениях частиц. Для пояснения сказанного вернемся к примеру *Ich trompetete. Auch der Feind trompetete*. В предложении *Ich trompetete* слово *ich* само по себе не является противочленом какой-либо частицы. Мы еще не знаем, какому воздействию с ее стороны оно подвергнется. Лишь после того, как сказано второе предложение, ясно, что *ich* стало как бы образцом сравнения. Частица соотносит два субъекта (*ich* ↔ *der Feind*) как идентичные по своим действиям, она утверждает двух участников ситуации и ничего не отрицает. Значения утверждения и идентификации не отно-

сятся к пресуппозициям. Это асертивные значения, сопровождающие предложение *Der Feind trompetete*.

Обратимся к другой частице. *Alle trompeteten. Nur der Feind trompetete nicht* «Все барабанили. Только враг не барабанил». Во-первых, слово *nur* вынуждает нас сменить противочлен, во-вторых, оно соотносит *alle* и *der Feind* со значением противоречия, а не идентификации. За счет частицы изменилось многое — и характер противочлена, и отношение между ним и ядерным элементом. Асертивную функцию выполняет суждение за вычетом частицы (в нем отражено утвердительно значение *nur*) и отношение часть — целое на основании противоречия (суть отрицания)²⁸.

Таким образом, нельзя адекватно описать означаемые частиц, исходя лишь из логических преобразований изолированных фраз, без учета противочленов частиц.

Для адекватного описания семантики частиц принципиально важны два вида их пресуппозиций: 1) относительно противочленов и 2) пресуппозиции ожидания. Изложенное дает достаточное представление о первом виде пресуппозиций, остановимся подробнее на втором.

Пресуппозиции ожидания могут формироваться на основе конситуации, могут иметь форму общеизвестных положений или эксплицитных языковых формулировок. Они всегда отрицаются частицами, т. е. мы понимаем, что вместо ожидаемого (должного, обычного) выступает нечто другое. Пресуппозиции ожидания обнаруживают многие частицы, но не все или не во всех своих значениях, т. е. вопрос связан с семантикой частиц. Пресуппозицию ожидания имеют, например, все ограничительные частицы (*nur, bloß, allein, einzig, ausschließlic, lediglic*) и не имеют идентифицирующие (*auch, gleichfalls, ebenfalls, ebenso, genauso*). Наиболее очевидны эти пресуппозиции у частиц с присоединительно-противопоставительным значением «даже» — *sogar, selbst, nicht einmal, auch: Alle haben die Köpfe geschüttelt. Sogar mein Vater hat seine Zweifel gehabt* «Все покачали головами. Даже у моего отца были сомнения». Пресуппозиция ожидания: *Der Vater zweifelt nicht (mußte nicht zweifeln)* и т. п. Без более широкого контекста мы не знаем причин этой предпосылки, но понимаем, что она есть. Частица отрицает пресуппозицию ожидания и утверждает: *mein Vater hat seine Zweifel gehabt*. По отношению к противочлену (*alle*) *sogar* имеет утвердительно-присоединительное значение. Таким образом, с одной стороны, утверждение пресуппозиций, а с другой, их отрицание. Нередко представление об ожидании имеет форму логических пресуппозиций, отражающих общеизвестные положения: *Selbst zur Zeit des Neumondes schlug das Wetter nicht um* «Даже в новолуние погода не изменилась». Логическая пресуппозиция ожидания — *Zur Zeit des Neumondes schlägt das Wetter gewöhnlich um* «В новолуние погода обычно меняется». За счет частицы *selbst* эта пресуппозиция отрицается. Интересно, что *auch* в значении «даже» функционирует только при опоре на логические пресуппозиции и этим отличается от других своих значений: *Wie leicht man friert, wenn man allein ist. Auch wenn es heiß ist (Remarque)* «Как легко мерзнет человек, если он один. Даже если жарко». Пресуппозиция ожидания (общеизвестный факт): *Wenn es heiß ist, friert man nicht* «Если жарко, человек не мерзнет». Она отрицается частицей *auch* и условие *wenn es heiß ist* присоединяется к числу других: *selbstverständlich friert man, wenn es kalt ist* «естественно, человек мерзнет, если холодно».

²⁸ Подробнее о значении частицы *nur* см.: Н. А. Торопова, Ограничительная функция логико-смысловой частицы *nur* в современном немецком языке, сб. «Структура предложения и классы слов в романско-германских языках», 3, Калинин, 1974. В других выпусках этого сборника (№ 1 — 1972, № 4 — 1974) можно найти описание противочленов отдельных логических частиц.

Ограничительные частицы не всегда функционируют в опоре на эксплицитные пресуппозиции, как это видно на примере употребления *nur* (*Keine Menschen. Nur ein altes Ehepaar*). Они могут иметь и логические предпосылки, которые определяются конситуацией: *Ich hatte mittags nur eine Tasse Bouillon in der Chauffeurkneipe getrunken* (Remarque) «В обед я выпил только чашку бульона в закуской». Этим начинается повествование, поэтому *nur* не имеет ретроспективных смысловых связей, но в подтексте предложения «спрятана» логическая пресуппозиция об объеме обеда и о том, что чашка бульона должна входить в его состав. *Nur* отрицает эту пресуппозицию. Аналогично функционирует частица *einzig* «единственно, один»: *Da ist die ganze Kompanie draufgegangen, einzig er ist... durchgekommen* (Noll) «Вся рота погибла, один он пробился»; *Abends fehlte er tatsächlich im Speisesaal, aber nur mit seiner Person, denn an allen Tischen sprach man einzig von ihm* (St. Zweig) «Вечером он действительно отсутствовал в столовой, но только лично, потому что за всеми столами говорили единственно о нем». В первом примере пресуппозиция ожидания — это смысл предложения *Da ist die ganze Kompanie draufgegangen*, а во втором — это имплицитное суждение, определяемое конситуацией: за столами во время ужина возникают разные темы разговоров. Обе пресуппозиции отрицаются. Различие между *nur* и *einzig* идет по линии отношений ядерного элемента и противочлена. *Einzig* обозначает вычленение единственной части из множества, что особенно отчетливо выступает в сочетаниях типа *das einzig würdige Problem, das einzig Solide* «единственно достойная проблема», «единственно солидное» и т. п. Предполагается обязательное наличие нескольких объектов, из которых вычленяется один. Для *nur* значение множественности противочлена («несколько») нерелевантно, ибо здесь часть не характеризуется в количественном отношении. С ограничительной частицей *allein* наблюдается действие логических пресуппозиций в обратном направлении: *Eine laute Stimme allein überzeugt bekanntlich nicht* (Fürnberg) «Один громкий голос, как известно, не убеждает». По содержанию это логическая пресуппозиция. Но она не отрицается, а сама отрицает какую-то частную ситуацию или желание, направленные против нее. С другими ограничительными частицами такого явления нам не встретилось. При этом речь идет только о возможности противоположного использования логических пресуппозиций. С частицей *allein* они функционируют и в обычном порядке, т. е. составляют подтекст высказывания. Образным примером может служить русское *Одним видом взял*, где русская частица совпадает по значению с немецкой. Логическая пресуппозиция ожидания — *Одним видом не возьмешь*. Соответственно и немецкое предложение можно представить в утвердительной форме — *Mit lauter Stimme allein hat er sie überzeugen können*. Частица *allein* отличается от *nur* и *einzig* значением необходимого дополнения («этого мало, должно быть больше»). Естественно, это значение не всегда столь прозрачно, как в рассмотренных случаях.

Процессуально-временные частицы со значением «еще» и «уже» редко используются в качестве иллюстраций, что, возможно, объясняется «неуловимостью» их семантики. Существующие описания пресуппозиций этих слов противоречивы. М. Дохерти выделяет у немецкой частицы *nach* утвердительные пресуппозиции, а у *schon* отрицательные. Так, *Er schläft noch* предполагает наличие действия до момента речи (*Er schläft*) и, наоборот, *Er schläft schon* имеет пресуппозицию *Er schläft nicht*, т. е. отсутствие действия в более ранний период²⁹. На материале русского языка частиц *еще* и *уже* касается Е. В. Падучева, считая, что их значение опи-

²⁹ M. D o h e r t y, «*Noch* and «*schon*» and their presuppositions, в кн.: «*Generative grammar in Europe*», Dordrecht, 1973, стр. 154.

сывается через одну и ту же пресуппозицию³⁰. С такими утверждениями мы не согласны и предлагаем свое решение вопроса. Рассмотрим предложение *Im Mai haben wir Äpfel gegessen* с частицами *noch* и *schon*. *Noch im Mai haben wir Äpfel gegessen* «Еще в мае мы ели яблоки». Речь идет о старых яблоках, на что указывает «еще». *Noch* соотносит *im Mai* с другими месяцами, что составляет пресуппозицию противочленов. ... *декабрь* → *январь* → *февраль* → *март* → *апрель* → *noch im Mai*. Пресуппозиция ожидания: до мая яблоки обычно не хранятся. *Schon im Mai haben wir Äpfel gegessen* «Уже в мае мы ели яблоки». Имеются в виду рано созревшие яблоки. *Schon* соотносит *im Mai* с другими месяцами (пресуппозиция противочленов): *июнь* → *июль* → *август* → *сентябрь* и т. д. Пресуппозиция ожидания: в мае обычно не бывает свежих яблок. Это наглядное сопоставление показывает, что частицы *noch* и *schon* «смотрят» в разные стороны, соответственно в них разные пресуппозиции относительно противочленов, они способны также изменить содержание логической пресуппозиции. Обратимся к более сложным случаям употребления этих частиц.

Отвечает нормам языка

Не отвечает нормам языка

1. *Sie ist noch jung.*

Она еще молодая

1а. **Sie ist schon jung.*

*Она уже молодая.

2. *Sie ist noch nicht gekommen*

Она еще не пришла.

2а. **Sie ist schon nicht gekommen*

*Она уже не пришла.

3. *Sie ist schon alt*

Она уже старая.

3а. **Sie ist noch alt.*

*Она еще; старая.

4. *Sie ist schon gekommen*

Она уже пришла.

4а. **Sie ist noch gekommen.*

*Она еще пришла.

Неотмеченные предложения (справа) демонстрируют семантическую избирательность частиц. *Noch* сочетается со значениями, имеющими перспективу развития: *noch jung* → *bejahrt* → *alt*. *Jung* обозначает качество, которое со временем изменится. Соответственно и действие: *noch nicht gekommen* → *kann (wird) kommen*. Смысловые связи *noch* направлены вперед, а *schon* назад. *Schon* сочетается со словами, завершающими определенный ряд: *jung* → *schon alt*, *nicht gekommen* → *schon gekommen*. *Schon* ориентировано на предшествующие стадии и обозначает их завершительный этап. Пресуппозиции *noch* связаны с тем, что будет, а *schon* — с тем, что было. *Die Zwetschgen, noch winzig und grün, waren kaum zu unterscheiden vom Blattgrün* (Frank) «Сливы, еще маленькие и зеленые, были едва различимы среди листьев». Пресуппозиция ожидания: сливы бывают и будут другими. Вопрос осложняется тем, что *noch* может иметь двойные пресуппозиции, особенно с глаголами (непредельными): *Ich war zwei oder dreimal im Zimmer, aber Sie schliefen noch* (Dodd) «Я была два или три раза в комнате, но Вы еще спали». Первая пресуппозиция ожидания: когда заходили в комнату, предполагали, что человек не спит. Вторая перемещена в будущее — человек должен проснуться. По сравнению с *noch* пресуппозиции частицы *schon* менее очевидны: *Als sie aufsaß, war die Sonne über dem Grat schon rot* (Frank) «Когда она взглянула, солнце над горным хребтом было уже красным». Пресуппозиция ожидания: возможность увидеть солнце на любой из предшествующих стадий. Таким образом, пресуппозиции частиц *noch* и *schon* противоположны.

Для общего представления нужно привести несколько иллюстраций с частицами, не имеющими пресуппозиций ожидания. Так, их утрачивает *noch* в случае появления добавочного значения: *Der Junge stöhnte und ver-*

³⁰ Е. В. Падучева, указ. соч., стр. 109.

Итак, логические частицы обнаруживают два вида пресуппозиций — пресуппозиции относительно противочленов и пресуппозиции ожидания. Для полного описания семантики частиц нужно учесть также конкретные отношения между соотносимыми понятиями, т. е. значения части и целого, необходимого дополнения, замещения, идентификации, добавочные значения и т. п.

Результаты нашей работы можно рассматривать также в плане синтаксической семантики, с точки зрения проблем и задач, поставленных, например, О. И. Москальской³². Нетрудно заметить, что логические частицы имеют определенное отношение к семантике текста. Как наглядно показывает приведенная схема, они могут объединять предложения в небольшие логико-семантические единства. Утвердительно-отрицательные значения частиц служат логической основой таких объединений. Частицы часто выступают и в составе силлогизмов, которые функционируют тоже на их основе. Следует также учитывать использование частиц как средства актуального членения предложений.

³² О. И. Москальская, Вопросы синтаксической семантики, ВЯ, 1977, 2, стр. 49—52, 54—56.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

МУРЬЯНОВ М. Ф.

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ СТАРОСЛАВЯНСКИХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ

В материалах IV Международного съезда славистов в резюме доклада В. Леттенбауэра «Названия цвета в славянских языках» высказана мысль, что в исследованиях цветообозначений недостаточно этимологизировать, что более результативным окажется выяснение особенностей в «духовном восприятии мира цветов»¹. Такая постановка вопроса нуждается в ответе литературоведа, этим ответом явилась статья А. М. Панченко «О цвете в древней литературе восточных и южных славян», носящая, по оговорке автора, предварительный характер и основанная «на отрывочных материалах»². В монографии «История цветообозначений в русском языке» (М., 1975) Н. Б. Бахилина систематизировала лексику цветообозначений от XI в. до современности по данным уникальных словарных картотек Института русского языка АН СССР. После этого появилась статья М. А. Суровцовой «Выражение цветовых значений в общеславянском языке»³.

М. А. Суровцова начинает анализ «с прилагательных, обозначающих ахроматические цвета», «затем семантические ряды слов располагаются в спектральном порядке». Такой подход к проблеме неисторичен, физического принципа систематики не существовало для средневековья, группировка цветов проводилась в доньютоновском сознании по принципу символики, где имеет значение не наука, а скорее свидетельство энциклопедиста Исидора Севильского (ум. 636), писавшего, что язычники различают своих божков по цвету⁴. Наука, когда ей понадобился термин для обозначения разложенного солнечного света, приспособила для этого мистическое spectrum, букв. «привидение»; сегодня для метрологических целей используется не спектр, а сложные координатные системы и атласы образцов⁵. Принцип символики имел лингвистические последствия — он способствовал развитию лексики, связываемой с предпочитаемыми цветами и табуировал цвета избегаемые. Системы предпочтений имели локальные различия: если, по слову Магомета, одно лишь созерцание зеленого равноценно богослужению⁶ (почти у всех арабских государств флаги зеленые или с зеленой полосой), то буддисты — это «последователи несравнен-

¹ «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», 2. Проблемы славянского языкознания, М., 1962.

² ТОДРЛ, 23, Л., 1968. Ср. реплику: М. Ф. Мурьянов, Синие молнии, сб. «Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти В. В. Виноградова», Л., 1971.

³ Сб. «Этимологические исследования по русскому языку», 8, М., 1976.

⁴ «Isidori Etymologiae sive Originum libri XX», ed. W. M. Lindsay, Oxford, 1911, lib. XVIII, 41, 3.

⁵ Ср.: Е. Н. Юстова, Вопросы измерения и стандартизации цвета. АДД, Л., 1975.

⁶ Н. Ritter, *Das Meer der Seele*, Leiden, 1955, стр. 459. Это изречение, отсутствующее в Коране и не зафиксированное в Кошкордансе к суьне (А. J. W e n s i n s k, *Concordance et indices de la tradition musulmane*, Leiden, 1933—1965), вероятно, представляет собой шиитский хадис.

но благородной желтошапочной религии»⁷; участники крестьянского восстания «желтых повязок» в Китае (184—204) мечтали уничтожить «синее небо» и установить «желтое небо». Вспомним вопрос, поставленный А. Н. Веселовским: «почему, например, у чувашей *черный* часто означает: хороший, честный?»⁸. В христианстве как раз в эпоху, к которой относятся старославянские тексты — в IX—XII вв., — складывался цветовой канон литургики, построенный по календарному принципу чередований, соответственно с иерархией праздников⁹. Он наложил запрет на желтое, а для высших духовных моментов утвердил завещанное изначальной традицией белое, являющееся символом света¹⁰ (греч. *λευκός*; «белый» и лат. *lux* «свет» имеют общую этимологию).

Сделать символику основой систематики цветообозначений в старославянском языке — такая программа действий вряд ли осуществима, слабая изученность и обусловленная ею бессистемность самой символики явились бы первой помехой этому. Статья Б. Ландсбергера «О цветах в шумеро-аккадском языке», наиболее обстоятельное исследование архаических цветообозначений, содержит добросовестное признание, что она «хотя и стремится к некоторой систематике, однако далека от нее»¹¹; практически это выразилось в распределении материала по носителям цвета: камни, шерстяные ткани, луна, кожа больного (для диагностики болезней), ботаническая номенклатура и т. д. Преждевременно строить более совершенную систематику старославянских цветообозначений, где накопленных фактов пока гораздо меньше, чем в шумеро-аккадском материале по колористике. Права Р. М. Цейтлин, полагающая, что «исследования таких семантических групп СЯ не могут быть в настоящее время высокопродуктивными из-за ограниченности числа прямых источников»¹².

Что же касается спектра, то он как фактор физической реальности заложен в биологическом механизме зрения, на него, если можно так выразиться, рассчитана конструкция глаза¹³, но рассчитана природой, а не человеком, который пользуется своим зрением и находит слова для выражения зрительных ощущений, не понимая, как это происходит. Во всяком случае, в древности бытовало превратное представление о природе зрения. Спектр был известен по радуге, игравшей важную роль в символике¹⁴, но порядку следования цветов в радуге не придавали значения, их путали в живописи, да и подсчет этих цветов давал неодинаковые ре-

⁷ «Источник мудрецов. Тибетско-монгольский терминологический словарь буддизма», отв. ред. Б. В. Семичов, Улан-Удэ, 1968, стр. 16.

⁸ А. Н. Веселовский, Историческая поэтика, Л., 1940, стр. 83. Носитель чувашского языка палеославист А. С. Львов (ИРЯЗ АН СССР) разъяснил мне, что это недоразумение, чувашский язык не знает такого явления и его не зафиксировал «*The-saurus linguae Tschuvaschorum*» Н. И. Ашмарина (вып. 16, Чебоксары, 1941).

⁹ Лучшее изложение этого вопроса см. в кн.: А. К у г з е я, *Der älteste Liber Ordinarius der Trierer Domkirche, Münster*, 1970, стр. 213—219.

¹⁰ Например, тайный ритуал освящения мира (мюра)—прерогатива патриарха—идет при дневном свете, в белых ризах: *M o s e s b a r K e r p h a*, Myron-Weihe, hg. von W. Strothmann, Wiesbaden, 1973, стр. 85—89.

¹¹ B. L a n d s b e r g e r, Über Farben im Sumerisch-Akkadischen, «*Journal of Cuneiform Studies*», 21, Cambridge (Mass.), 1969, стр. 140.

¹² Р. М. Цейтлин, Лексика старославянского языка, М., 1977, стр. 55.

¹³ В этом смысле правильно замечание Р. А. Будагова о зависимости семантики от спектра в греческих цветообозначениях: Р. А. Б у д а г о в, Что такое развитие и совершенствование языка?, М., 1977, стр. 43.

¹⁴ A. S c h i m m e l, Der Regenbogen als Symbol, «*Religion und Religionen. Festschrift für G. Mensching*», Bonn, 1967. Ср.: «Улан гуа находилась в трауре. К ней с неба спустился некто подобный свету радуги, с которым она благополучно совокупилась, забеременела и родила сына, прозванного Боданчар» («Источник мудрецов», стр. 15).

зультаты — у сирийского миниатюриста VI в. венской рукописи Книги Бытия¹⁵ и у арабского писателя Махбуба¹⁶ радуга двухцветна, у каппадокийца Василия Великого¹⁷ и в Изборнике Святослава 1073 г.¹⁸ — трехцветна, у Исидора Севильского¹⁹ — четырехцветна. Для Аристотеля радуга была трехцветной²⁰ и не мыслилась как цветовой эталон, что видно из «Библиотеки» Фотия — в ней упомянуто на основании не дошедших до нас античных текстов, что пифагорейцы, платоники и Аристотель находили в зрении способность различать двенадцать цветов²¹. Сенека считал цвета радуги ложными, в отличие от «настоящего» цвета материальных предметов²².

Защищаемый славистом А. М. Панченко «общепринятый» тезис, согласно которому «нормальное цветовое зрение является присущим всему человеческому роду без различия рас, всегда и всюду общеврожденным и в одинаковой мере развитым свойством и что поэтому все люди обладают полностью однородным цветовым восприятием и всегда обладали им», не отличаясь в этом от шимпанзе²³, сопоставим с мнением китаиста Ю. А. Сорокина: «Давно известно, что обозначение цвета — та точка, в которой отчетливо ощутимо различие в „видении мира“ как в истории развития одного народа, так и между отдельными народами. Богатый материал по этой проблеме можно найти, например, в работе Ф. Кайнца „Психология языка“»²⁴.

Древние, размышляя над феноменом цвета, спрашивали, что он такое — субстанция или акциденция, присущ он вещи или является ее оболочкой. Сейчас формулировка должна быть иной: цвет существует в окружающих нас предметах материального мира или только внутри нас? Освещенный предмет излучает волновую энергию; в зависимости от того, какова длина этих электромагнитных волн диапазона 380—700 миллимикрон, поступающих в глаз человека, зрительный центр головного мозга вырабатывает то или иное цветовое ощущение. Как вырабатывает — наука ответить на этот вопрос пока не может²⁵, но уже того, что цвет «рождается» в зрительном центре головного мозга, достаточно, чтобы признать философски неправильным лингвистическое соединение в единую группу, выделяемую «по отношению к реальной действительности» слов «со значением „возвышенность“ (типа *брѣгъ, гора, хлѣмъ*), „цветовой признак“ (типа *бѣль, чръвльнѣ, чрънь*), „двигаться“ (типа *бѣжати, ити, теши*)»²⁶. *Гора*

¹⁵ S. R ö s c h, Der Regenbogen in der Malerei, «Studium generale», 13, Berlin — Göttingen — Heidelberg, 1960, стр. 423.

¹⁶ «Patrologia Orientalis», 5, Paris, 1910, стр. 596.

¹⁷ «Lexikon der christlichen Ikonographie», hg. von E. Kirschbaum, 3, Freiburg, i. Br., 1974, стр. 524.

¹⁸ «Изборник 1073 г.», СПб., 1880, л. 247: «въ доузѣ своиства сѣтъ чръвенок и сине и зелено. и багърадо сѣштиньмъ коупнокъствьство. и кдино и неизмоутно. и нераздѣльно съ бытъемъ. тѣмъ же образьмъ стаа тронга кдино сѣшти бѣжство».

¹⁹ J. H o f f m a n n, Die Anschauungen der Kirchenväter über Meteorologie, Diss., Tübingen, 1907, стр. 81—82.

²⁰ S. R ö s c h, указ. соч., Ср.: P. K u c h a r s k i, Sur la théorie des couleurs et des saveurs dans le «De sensu» aristotélicien, REG, 67, 1954.

²¹ «Patrologia Graeca», 103, Paris, 1860, стлб. 1582 В.

²² Y. L e G r a n d, Couleur et perception, «Journal de psychologie», 58, 1961, стр. 266.

²³ А. М. Панченко, указ. соч., стр. 4.

²⁴ Ю. А. Сорокин, Роль этнопсихолнгвистических факторов в процессе перевода, сб. «Национально-культурная специфика речевого поведения», М., 1977, стр. 172. Ср.: F. K a i n z, Psychologie der Sprache, 5.1. Teil, Stuttgart, 1965. Еще более богат материал в кн.: К. Р. Мегрелидзе, Основные проблемы социологии мышления, Тбилиси, 1973, стр. 182—198.

²⁵ H. G i r p e r, Bausteine zur Sprachinhaltsforschung. Neuere Sprachbetrachtung im Austausch mit Geistes- und Naturwissenschaft, Düsseldorf, 1969, стр. 436.

²⁶ Р. М. Цейтлин, указ. соч., стр. 55.

«рождается» не в зрительном центре головного мозга, она существует независимо от него, чего нельзя сказать о цветовом признаке, он существует только внутри органов зрения и качественно зависим от них. Глаз пчелы не видит цвета, начинающего спектральный ряд, видимый глазу человека, но видит нечто находящееся далее окончания этого ряда. Иначе говоря, пчела не видит красное, оно кажется ей беловатым, другие цвета для нее тоже сдвинуты; пчела видит ультрафиолет, имеющийся в излучении интересующих ее лепестков²⁷. Каким видит — этого человеку знать не дано, воображение здесь отказывает.

Цвет, порождаясь материей, в своем колористическом качестве существует только как свойство воспринимающей нервной системы, которое имеет особенности видовые (разница между человеком и пчелой) и индивидуальные (разница между живописцем и дальтоником), а у одного и того же человека — возрастные (в старости цвета блекнут) и связанные с суточным циклом²⁸. Материально в цвете данной вещи только то, что она излучает волны такой-то длины. Дальнейшее является психическим процессом, при всей кажущейся вещественности цвета, которую не следует путать с действительной вещественностью краски, носителя цвета. Материальность возобновляется в момент, когда мы произносим название увиденного цвета или пишем его. Слушающий или читающий воссоздает в своем цветном воображении то, что ему сообщено, хотя перед его глазами реального носителя такого цвета нет — это опять психическая стадия. Равные психические способности всех народов реализуются неодинаково, сообразуясь с реальными условиями обитания. У коренных жителей Арктики должны быть развиты иные особенности цветного зрения и воображения, нежели у аборигенов джунглей; свои биологические особенности есть в органах зрения обитателей горных областей, где спектральный состав света не такой, как на низменности. Все сказанное может повергнуть иного читателя в некоторое недоумение: уж не является ли цвет фикцией? Тем более, что невозможность войти в чужое зрение и доподлинно узнать, какими видит цвета другой человек, дает основание сконструировать такой диалог с самим собой — ловушку Витгенштейна: В о п р о с: Как я узнал, что этот цвет красный? О т в е т: Я учил русский язык²⁹. Естествоиспытатель Г. Гельмгольц, разрабатывавший теорию цветового зрения, сказал в своей ректорской речи в Берлинском университете (1878): «Поскольку качество нашего ощущения информирует нас о свойствах внешнего воздействия, которым ощущение вызвано, это качество может считаться его *знаком* (ein Zeichen), но не *отображением* (ein Abbild). Ибо от образа (vom Bilde) требуется какого-то рода равенство с изображенным предметом... Знак же вовсе не нуждается в каком-либо подобии с тем, знаком чего он является»³⁰. Ф. Энгельс указал, что Гельмгольц напрасно ищет в ограниченности нашего зрения «доказательство того, что глаз доставляет нам ложные и ненадежные сведения о свойствах видимого нами»; «... уже тот факт, что мы можем доказать, что муравьи *видят* вещи, которые для нас невидимы, и что доказательство этого основывается на одних только восприятиях *нашего* глаза, показывает, что специальное устройство человеческого глаза не является абсолютной

²⁷ P. C a r r i c a b u r u, La vision des couleurs chez les insectes, «Journal de psychologie», 74, 1977.

²⁸ В. В. Г о л у б е в, Суточный ритм цветоразличительной функции зрительного анализатора человека. АРД, М., 1974; G. H. M. W a a l e r, Genetics and physiology of colour vision, Oslo, 1975.

²⁹ Н. G i r r e r, указ. соч., стр. 91.

³⁰ Н. von H e l m h o l t z, Philosophische Vorträge und Aufsätze, Berlin, 1971, стр. 255.

границей человеческого познания. К нашему глазу присоединяются не только еще другие чувства, но и деятельность нашего мышления... Разумеется, мы никогда не узнаем того, в каком виде воспринимаются муравьями химические лучи. Кого это огорчает, тому уж ничем нельзя помочь»³¹.

Подмеченное Ф. Энгельсом присоединение к зрению такого могучего фактора как мышление является, с сопутствующим мышлению языком, той особенностью цветового видения человека, которая дала основание В. И. Ленину отрицательно оценить философские выводы, сделанные Гельмгольцем: ведь под покровом знаковой системы они внесли «совершенно ненужный элемент агностицизма»³². Науке пужны не бесплодные эмоции по поводу невидимого, неизвестного, а прежде всего осмысление, упорядочение наших представлений о видимом, в частности — нужен всесторонний анализ цветового языка.

П. Шантрэн исходил из того, что в феномене цвета надо различать ощущение, восприятие, название, причем в отношении древности мы имеем возможность обсуждать только название, которое, между прочим, социально обусловлено: для названия мастей животных литовцы, «этот народ пастухов», и арабы имеют множество традиционных слов, в отличие от французов; французская номенклатура невелика и основана на быстро меняющейся моде, по прошествии нескольких лет только знатоки могут вспомнить, какой именно цвет назывался, например, оперным³³.

Старославянские тексты мало что дают по лексике цветообозначений, жанровая специфика сохранившихся текстов обычно не давала повода перечислять цвета. Но была ли эта лексика в живом языке, какой она была по количеству и качеству? С одной стороны, ясно, что когда разрабатывались тончайшие цветовые нюансы кусочков смальты киевских мозаик XI в., то художественное задание такого рода не в состоянии выполнить артель глухонемых, эти вещи нужно было как-то называть. С другой стороны, лингвистика не может дать гарантий, что киевляне XI в. оценили бы или сумели бы перевести на свой язык колористический язык киевлян XX в. — например, такую строфу М. Вороного о заходящем солнце:

Мов жар червоні і кармінові
Круг його хмари хиткі, хвилясті —
І позлогисті, і бурштинові,
І фіалкові, і попелясті...

(«Червоне коло»)

Старославянские тексты, как правило, являются переводами византийских. Как обстояло дело в византийской литературе, объясняет А. П. Каждан: «Византийские художники владели обширной хроматической гаммой. Это тем более любопытно, что их современники-писатели пользуются сравнительно ограниченным набором цветов. Золотая, алая

³¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Собр. соч., 20, стр. 555, 554.

³² В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 18, стр. 248.

³³ См. выступление П. Шантрэна в дискуссии: «Problèmes de la couleur. Exposés et discussions du Colloque du Centre de recherches de psychologie comparative», Paris, 1957, стр. 325. Для сравнения: Исидор Севильский насчитывал 13 мастей лошади (Etymologiae lib. XII, 1,48; XVIII, 41), в русском языке их было около 30 (Г. Ф. О д и н ц о в, История русских гипнологических цветообозначений, сб. «Исследования по словообразованию и лексикологии древнерусского языка», М., 1978). А вот диалог персидского царя Шапура I и Шемузля (середина III в.): «— Вы говорите, что Мессия придет на осле. Я хочу послать ему коня переливающейся масти, какой у меня есть. — А разве у тебя есть тысячецветный конь, как тысячецветным будет его осел?» (O. M i c h e l, Ἰλλος, «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», hg. von G. Kittel, 3, Stuttgart, 1938, стр. 338).

и белая — вот те краски, из которых писатель, как правило, складывает свой портрет»³⁴. Что «язык» изобразительного искусства и язык в прямом смысле этого слова неадекватны, понимал уже Ион Хисский (V в. до н. э.), написавший воображаемый диалог школьного учителя и Софокла по поводу эпитета *пурпурный*, употребленного одним поэтом как определение щек юноши. Если бы живописец — замечает учитель, — окрасил пурпуром щеки юноши на портрете, результат не был бы счастливым. Ты прав не более, чем во многих других случаях, — отвечает Софокл, — где цветовой эпитет, наверное, будет противоречить законам живописи, хотя его поэтическое достоинство признается всеми³⁵.

Человек с нормальным зрением способен различать до миллиона цветовых тонов³⁶, живописцы состязаются в еще большем изощрении³⁷. Но самые высокоразвитые языки не обозначают отдельными названиями и тысячной доли этого количества. Хорошо это или плохо? Идеальный язык отдаленного будущего должен иметь по дюжине синонимов для каждого из миллиона тонов, или же, наоборот, желателен принцип экономии, оставляющей место и для невербального интеллекта? Или нужно переходить на потное письмо, разработанное для игры цветовыми переливами композитором А. Ласло³⁸?

Р. А. Будагов пишет: «Широко распространено мнение, согласно которому совершенствование лексики обнаруживается прежде всего в числе слов: в старых литературных языках было меньше слов, чем в новых языках, следовательно, лексика „прогрессирует“, слов становится все больше и больше. Между тем такая точка зрения оказывается поверхностной. Число слов само по себе мало о чем говорит. Язык может располагать огромным словарем, но если этот словарь не „обработан“, если дифференциация между близкими по значению словами либо мало осознается говорящими, либо не существует вовсе, если структура многозначных слов распадается на простую „сумму значений“ и не имеет смыслового центра, то лексика подобного языка, богатая в количественном отношении, оказывается бедной функционально, недостаточно точной в процессе общения людей. В языке понятие количества менее существенно, чем понятие качества»³⁹.

Эту правильную мысль подтверждает пример дальневосточной культуры, где развитие от низшего к высшему сопровождалось уменьшением роли красочного и достигнута способность скупой палитрой получать полноценные результаты⁴⁰. Вот знаменитый хайку М. Басе (1644—1694) —

³⁴ А. П. К а ж д а н, Цвет в художественной системе Никиты Хониата, «Византия. Южные славяне и древняя Русь. Западная Европа. Сборник в честь В. Н. Лазарева», М., 1973, стр. 132.

³⁵ L. G e r n e t, Dénomination et perception des couleurs chez les Grecs, «Problèmes de la couleur», стр. 319. Ср.: E. I r w i n, Colour terms in Greek poetry, Toronto, 1974.

³⁶ H. G i p p e r, Die Farbe als Sprachproblem, «Sprachforum», 1. Jg., Münster — Köln, 1955 стр. 137. По Джадду, существует около 40 млн. цветовых различий, которые могут быть описаны словами, указывающими направление изменения их цвета: Р. М. И в е н с, Введение в теорию цвета, М., 1964, стр. 310.

³⁷ Ср.: А. А. М е л и к - П а ш а е в, Способность к применению цвета в качестве выразительного средства как компонент художественной одаренности. АКД, М., 1976.

³⁸ A. L á s z l ó b, Die Farblichtmusik, Leipzig, 1925.

³⁹ Р. А. Б у д а г о в, указ. соч., стр. 35.

⁴⁰ T. I z u t s u, The elimination of color in Far Eastern art and philosophy, «Eranos-Jahrbuch», 41, Leiden, 1974. Греческие статуи создавались раскрашенными (P. R e u t e r s w ä r d, Studien zur Polychromie der Plastik, 1—2, Stockholm, 1958—1960). Сегодня эстетическое чувство противится восстановлению их окраски, она помешала бы восприятию главного. На заре цветного кинематографа С. Эйзенштейн предвидел опасность, что его развитие может пойти по пути увлечения техническими трюками, без должной степени художественного освоения цветовой палитры (С. Э й з е н - ш т е й н, Избр. произведения, 3, М., 1964).

поэта, разработавшего принципы жанра миниатюры:

Облака вишневых цветов!

Звон колокольный доплыл... Из Уэно

Или Асакуса?

Р. Роллан «выразил пожелание, чтобы вместо того чтобы заставлять школьников „развивать мысль“ на заданную тему, то есть учить их многословию, детям прививали бы умение выражать сильные чувства в краткой форме в соответствии с нормами хайку. Этот метод с тех пор практикуется в некоторых школах»⁴¹.

Лаконичность японского искусства слова не является чем-то беспрецедентным, уменьшение частотности цветообозначений в языке Библии при переходе от Ветхого завета к Новому считается явлением того же порядка⁴². Здесь напрашивается образ из «Пастыря» Ермы (середина II в.) — строительство башни, разноцветные камни для которой народ доставлял с близлежащих гор. Непосредственно к возводимой башне их подносили на руках посвященные девственницы, и при укладке на свое место камни превращались в ослепительно белые — силой чистоты уложивших их рук⁴³. Однако развитие византийской эстетики не пошло по пути такого обесцвечивания. Наоборот, лексика получила приращение, в котором сказывается знакомый дух византийского многоглаголания: *μύρινον* «мышино-серое», *κόρατος* «черное как ворон», *ἀέρινον* «воздушно-голубое», *ἀληθινάερον* «истинно-воздушное», *οὐράνιον* «небесно-голубое», *χελιδονεῖδης* «цвета ласточки», *θαλασσοβόφα* «цвета морской воды»⁴⁴.

Неубедительно суждение А. П. Каждана об «априорно негативном отношении» византийского литературного вкуса к разноцветности, «пестроты»: «многокрасочное описание для византийского читателя было не только непривычным, но и эстетически ему чуждым»⁴⁵. Приводимые А. П. Кажданом факты и малочисленны, и допускают иное толкование; существуют однозначно противоположные свидетельства, начиная с того, что Исаак, любя Иосифа больше всех своих сыновей, *сотвори емоу ризоу пестроу* (Быт 37,3)⁴⁶ — здесь Септуагинта, называя *χρῶν ποικίλος*, дает то, чего не было в древнееврейском подлиннике, где подразумевалась «одежда с рукавами»⁴⁷. Видение рая в сне Созомена в «Изборнике 1076 года», которому пригрезились *цветове мнози различни* и пребывание в райском дворце, где ему показывали *свѣтълыя и пестрыя и златыя ризы*⁴⁸ — все это переведено с греческого⁴⁹, сопоставимо с многокрасоч-

⁴¹ См. об этом: Р. Этъямбл, К вопросу о распространении стихотворной формы хайку в славянском мире, «Сравнительное изучение литератур. Сборник к 80-летию М. П. Алексева», Л., 1976, стр. 545.

⁴² А. Негшанп, Farbe, «Reallexikon für Antike und Christentum», hg. von Th. Klauser, 51. Lfg., Stuttgart, 1967, стр. 413.

⁴³ Негшас, Le Pasteur, Introduction, texte critique, traduction et notes par R. Joly, Paris, 1958, Sim IX, 3—4.

⁴⁴ Источники см.: А. Негшанп, указ. соч., стр. 426.

⁴⁵ А. П. Каждан, указ. соч., стр. 132.

⁴⁶ В древнейших паримейниках — *ризоу красноу*. См.: А. В. Михайлов, Книга Бытия пророка Моисея в древнеславянском переводе, 4, Варшава, 1908, стр. 312.

⁴⁷ H. Seesemann, ποικίλος, «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», 6, Stuttgart, 1959, стр. 483. См. также: H.-P. Müller, Der bunte Vogel von Jer 12,9, «Zeitschrift für alttestamentliche Wissenschaft», 79, 1967. Иврит имеет замечательную особенность в цветообозначениях: *šādōm*, обычно переводимое как «красное», в системе означает наличие света + наличие окрашенности, но если имеет место позиция *šādōm* — *yārōq*, то в этом случае *šādōm* означает свет + окрашенность + интензивность окрашенности. См.: P. Fronzaroli, Paléontologie linguistique, «Actes du I-er Congrès International de linguistique sémitique et chamito-sémitique», The Hague—Paris, 1974, стр. 175.

⁴⁸ «Изборник 1076 года», под ред. С. И. Коткова, М., 1965, л. 269 об., 273.

⁴⁹ Н. А. Мещерский, К вопросу об источниках Изборника 1076 года, ТОДРЛ, 27, Л., 1972, стр. 321—328.

ностью рая в переводном Успенском сборнике — здесь перечислены *дрѣва различна · и цѣтвы цѣтвуюца различны · и овошца различны ихъ же не видѣ никто же николи же · сѣдѣхоу же пѣтицѣ на дрѣвѣхъ тѣхъ · различны имоуца одежде · овѣмъ бѣше яко злато периж · а друугимъ багърѣно · инѣмъ чървлено · а друугимъ синѣ и зелено · и различными красотами и пѣстротами оукрашени · друуги же бѣлы яко и снѣгъ*⁵⁰.

В Усп. сб. находится редкий по смелости и красоте колористический троп: *видѣсте многашѣды на вѣстоуцѣ слнцѣ вѣсходѣше · и жьлѣты испоуцаюца лоуча · така бѣахоу стѣимъ тѣлеса · акы и нѣкимъ лоучамъ · жьлѣтовиднымъ рѣкамъ · крѣвавымъ вськодоу по нимъ текоуцямъ · и тѣло ихъ освѣщаюцемъ вельми паче · нежели небо слнцѣ · сию крѣвь мѣченици оубо видѣше крашаахоу · сѣ · бѣси же зрѣше боахоу сѣ* (л. 285б).

В процитированном выше описании радуги по «Изборнику 1073 года» нет желтого, его избегали называть в христианской литературе⁵¹. На Руси красным (первоначальное значение — красивым, лучшим) углом избы называли тот, где находились иконы, а противоположный ему угол — желтый⁵², в поверьях *желтыня*, *желтея* — мать лихорадок, семи дочерей Ирода⁵³. Иуду в средневековой живописи изображали желтой краской⁵⁴. Если безусловно желтое не любили называть своим именем, почему Усп. сб. приравнивает к желтизне цвет крови? В оригинале «Похвалы всем святым» Иоанна Златоуста речь идет о цвете шафрана (*ἀκτίνες κροκοῦ εἶδες*)⁵⁵, который античные поэты применяли к утренней заре, но в синодальном переводе фигурируют *багряновидные* лучи⁵⁶, не соответствующие ни подлиннику, ни реальным краскам восхода солнца — очевидно, переводчику хотелось заретушировать непонятное⁵⁷. Но Иоанн Златоуст пояснил свой троп: «то была не просто видимая кровь, но кровь спасительная, кровь святая, кровь достойная небес, кровь постоянно напоющая добрые растения церкви»⁵⁸. Основой интерпретации должна быть, следовательно, символика, реальной желтизны в той крови, о которой идет речь, так же нет, как нет ее и в углу избы, противоположном иконному. Символику добрых растений использовал и современник Златоуста Амвросий Медиоланский, когда он писал, что нет ничего лучше, чем «видеть свисающие гирлянды винограда, словно ожерелья прекрасного поля, снимать гроздья золотого или пурпурного цвета. Подумаешь, что сверкают аметисты, мерцают жемчужины» — это для него образ душ, которые в судный день как урожай снимает десница божия («Шестоднев», 3, 52)⁵⁹.

⁵⁰ «Успенский сборник XII—XIII вв.», под ред. С. И. Коткова, М., 1971, л. 289а.

⁵¹ Иногда и за ее пределами. В иранской поэме «Вис и Рамин» (XI в.) Вис, недобвольная своими платьями 60 цветов, находит, что желтое годится для бездельников, синее — для траура, белое — для отвратительных старух (G. Widengren, *Narlekintocht und Mönchskutte*, «Orientalia Suecana», 2, Uppsala, 1953, стр. 55).

⁵² «Словарь русских народных говоров», 9, Л., 1972, стр. 116.

⁵³ Там же, стр. 111, 118.

⁵⁴ А. Негманн, указ. соч., стр. 433. У французов *rire jaune* «желтый смех» — деланный, плохо скрывающий неудовольствие, досаду, смущение.

⁵⁵ «Patrologia Graeca», 50, Paris, 1862, стр. 709.

⁵⁶ «Творения Иоанна Златоуста», 2, ч. 1, СПб., 1899, стр. 756.

⁵⁷ А. Негманн (указ. соч., стр. 395) приводит случай, когда цвет крови — «золотистый» (ἑκατόχρος), но не дает этому объяснений.

⁵⁸ «Творения Иоанна Златоуста», стр. 756.

⁵⁹ Ph. Resch, *Inbild des Kosmos*, 2, Salzburg, 1966, стр. 414. Троп Амвросия естественнее ведет к тому, чтобы понять *жемчюжну душу* «Слова о полку Игореве», чем поиски гностических влияний: В. Sauer, *Ein gnostisches Bild im Igorlied und in der Chronik von Georgios Hamartolos*, *ZfslPh*, 39, 1976.

Этот образ, конкретизированный на идее мученичества, находим у Иосифа Гимнографа — современника Кирилла и Мефодия. Он написал канон св. Вассе и ее сыновьям⁶⁰, имеющийся в древнейшей славянской служебной Минее за август — неопубликованной новгородской рукописи. Третий тропарь восьмой песни выглядит так: *Ако маслица мнозоплодна. Ако боносньни виноградъ. лозами тръми. плодови́та проз Абла еси. съ ними въздѣлавши. исповѣданию гръзны. вино мѣиємъ истачаючи васьса. весел Аще срѣца* (Служебная Минея за август, XI—XII вв. ЦГАДА, ф. 384, № 125, л. 72).

Здесь видим семантический переход *виноград* → *вино*. Но с виноградной лозой сравнивал себя Христос (Ин 15,5; ср. в «Изборнике 1076 года», л. 83: *Азъ яко виноградъ проз Аблахъ. благодѣть. цвѣтъ мой плодъ славы и богатства*). Вино, претворяемое на литургии в кровь, могло быть не только красным, но и золотистым. Это и есть ключ к расшифровке тропа, не понятого синодальными переводчиками, вероятно, по той причине, что в их время церковное вино на Руси было обязательно красным, в отличие от обычаев латинского мира, не усматривающего разницы между золотыми и пурпурными гроздьями в их метафизическом качестве⁶¹.

Перевод тропа в Усп. сб., правильный спектрально, безупречен с более важной точки зрения символики. Не следует идеализировать XII в., тогда ошибались не реже, чем в XIX в. Шафран подлинника преобразовался в Усп. сб. в слово, вызывавшее ненужные ассоциации с табуированной желтизной. Лучше было бы употребить сравнение с золотом. В колористическом отношении золотое — это желтое, но разница внутри этого отношения есть, и немалая. Арбитром во всех вопросах выбора слов для авторов этого круга являлся язык Писания. В «Симфонии на Ветхий и Новый завет» золотое насчитывается десятки раз, желтое — ни разу. Пражский словарь зарегистрировал единственное производное — название растения *жълтѣница* (πικρίς — Исх. 12,8; Чис 9,11)⁶², замеченное в церковнославянской Библии *горькимъ зелиємъ*; в ней же имеется *жельтѣ АсА тонокъ* (Лев 13, 30, 32, 36) — в диагностике проказы как цвет, который приобретают черные волосы на язве (в Септуагинте — φριξ̄ ξανθ̄-ἰζουσα λεπτή)⁶³. Можно назвать также *жельтѣю бользнь* (Иер 30,7). Таким образом, эмоциональная специализация желтого в Библии негативна во всех случаях, но решающие последствия для формирования христианской неприязни к желтому имел стих 6,8 Апокалипсиса⁶⁴ — единственной «цветной» книги Нового завета: *се конь блѣдъ, и сѣд Ащии на немъ, им А емоу смерть, и адъ ид Аще въ слѣдъ его*. Здесь *блѣдъ* передает χλωρός подлинника, *pallidus* Вульгаты. Но χλωρός — это не только «желтый», но и «зеленый»⁶⁵; отсюда, вероятно, *зеленые кони* сербского фольклора⁶⁶.

⁶⁰ E. I. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, ΙΟΥΝΦ Ο ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΣ. ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ, EN ΑΘΗΝΑΙ, 1971, стр. 185.

⁶¹ A. B r i d e, Vin de messe, «Dictionnaire de théologie catholique», 15, Paris, 1950, стлб. 3015—3016; H. J o r i s s e n, Die Entfaltung der Transsubstantiationslehre bis zum Beginn der Hochscholastik, Münster i. W., 1965.

⁶² «Slovník jazyka staroslověnského», 11, Praha, 1965, стр. 611—612.

⁶³ Здесь *capillus flavus* Вульгаты снабжено древневерхненемецкой глоссой, поясняющей цвет: *falo*. См.: «Althochdeutsches Wörterbuch», 3, 8. Lfg. Berlin, 1970, стр. 86.

⁶⁴ A. Н e r t z b e r g, указ. соч., стр. 433.

⁶⁵ Первичное значение — Зеленый цвет, связанный с силами обновления природы, отсюда Хлоя — эпитет питающей богини (L. G e r n e t, указ. соч., стр. 315). Слав. *желтый* и *зеленый* имеют общую этимологию. В иврите *jerek* — цвет свежей растительности, *jētākōn* — цвет пожелтевшей растительности, *jēraḳraḳ* — цвет золота («Bibel-Lexikon», hg. von H. Haag, Einsiedeln, 1968, стр. 471).

⁶⁶ A. Н. В е с е л о в с к и й, указ. соч., стр. 83—84. Ср.: H. W. H e r t z b e r g «Grüne» Pferde, «Zeitschrift des Deutschen Palästinischen Vereins», 70, 1953; Г. Ф. О д и н ц о в, О розовых, зеленых и голубых лошадях, «Русская речь», 1975, 4.

В «Толковании на Апокалипсис» Андрея Каппадокийского (Киев, 1625, стр. 27), дан перевод *се конь зеленый*, с маргиналией *блѣд*⁶⁷. П. Шантрен указывал, что выбор между желтым и зеленым в переводе *χλωρός* каждый раз должен определяться оппозициями контекста⁶⁸. Для Апокалипсиса М. де Гандильяк передает этот эпитет через *verdâtre* «зеленоватый», поясняя, что таков цвет разлагающегося трупа⁶⁹. В языке Пушкина *конь блѣдъ* есть и в явной⁷⁰, и в неявной формах. Бронзовый по материалу, иззелена-черный по цвету петербургский монумент Петру I — царю, которого в народе втайне считали антихристом, — назван Пушкиным наперекор законам русского языка *Медным* Всадником; такой эпитет есть в языке Библии, где как раз нет слова *бронзовый*. В классификации пушкинских цветовых эпитетов *золотой* отнесен к *желтому*, *серебряный* — к *белому*, *свинцовый* — к *серому*, а *медный* не учитывался⁷¹. Но уже во вступлении к поэме есть *сиянье шапок этих медных* (о воинском строе), затем, после обозначения монумента негативными библеизмами *истукан* и *кумир*, сверкнула желтизна библейского металла *во мраке медною главою* и началась апокалиптическая скачка за обезумевшим Евгением:

...озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем коне.

Ужас перед желтизной имеет в библейском языке как будто единственное исключение — в пейзаже Ин 4,35: *въведѣте очи ваши и видите нивы ѣко плавы жѣть къ жѣтвѣ*⁷². Справляемся у А. Мейе: *плавъ* «бледно-желтый; желтоватый» (перевод П. С. Кузнецова), этимологически родственно др.-в.-нем. *falo*⁷³, охватывающему цветовой диапазон «от оранжевого, коричнево-желтого через золотисто-желтое до серо-желтого»⁷⁴ (*das fahle Roß* = *конь блѣдъ*). А. Мейе имеет в виду Ин 4,35 — стих не назван, но других старославянских примеров на это слово не существует, хотя, по Далю, в XIX в. в русском языке бытовало выражение *плавить хлеб* «очищать зерно». Греческий текст Ин 4,35: Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεάσαθε τὰς χῶρας, ὅτι λευκαὶ εἰσι πρὸς θερισμὸν ἤδη.

⁶⁷ В древнейшей славянской рукописи Апокалипсиса (БАН СССР, собр. Никольского, 1; XIII в.) на л. 32: «в этом месте порча—пятно и потертость, так что исчезла первая буква эпитета, относящегося к коню (причем то слово было написано искаженно?): *се конь блѣль*» — сообщено ученым хранителем О. П. Лихачевой.

⁶⁸ «Problèmes de la couleur», стр. 326.

⁶⁹ См. его комментарий в кн.: Denys L'Aréopagite, La Hiérarchie céleste, Paris, 1958, стр. 188—189. Это делает отчетливой ошибку Православной богословской энциклопедии (I, СПб., 1900, стр. 919), усматривавшей в Апок 6, 8 *бледносерого коня*.

⁷⁰ *Топот бледного коня* в черновике «Стихов, сочиненных почью во время бессонницы».

⁷¹ R. L'Hermitte, Observations sur le champ lexical des couleurs dans l'oeuvre de Puskin, RÉSIL, 49, 1973.

⁷² «Зографское Евангелие», изд. В. Ягичем, Берлин, 1879, стр. 141.

⁷³ См.: А. Мейе, Общеславянский язык, М., 1951, стр. 20, 281. В оригинале: *blond, blanc roux* (A. Meillet, Le Slave commun, Paris, 1934, стр. 22, 350), что, конечно, совсем другое — не спектрально, а с точки зрения символики. Пражские лексикографы перевели *плавъ* удачнее — как «золотистый» [Slovník jazyka staroslověnského], 25 (1973), стр. 45]. Германская параллель подтверждается глоссой *falaun chorn* к лат. *flava farra* в Вергилиевых «Георгиках» I, 73: «Althochdeutsches Wörterbuch», 3, 8. Lfg., Berlin, 1978, стлб. 85. В латинской поэтике *flavus* — цветовой эпитет не только зрелого хлеба на корню и волос прокаженного (см. примеч. 63), но и кудрей бегини плодородия Цереры. Он не встречается в случаях, когда нужно было назвать что-либо светложелтое, римлянам все виды светложелтого не нравились (J. André, Sources et évolution du vocabulaire des couleurs en latin, «Problèmes de la couleur», стр. 330).

⁷⁴ «Althochdeutsches Wörterbuch», 3, 8. Lfg., Berlin, 1978, стлб. 85.

В качестве цветового эпитета хлебного поля λευκός в классическом греческом языке не применялось; колористически это, по данным словарей, белизна от белоснежности до серого оттенка пыли; ср. русск. *левкас* — термин иконописи. Только на архаическом микенском диалекте λευκός означало желтизну, но применительно к цвету тканей и масти быков⁷⁵. Эта микенская особенность уже не имела значения, была забыта в I в., к которому относится Евангелие от Иоанна, написанное на простом и правильном греческом языке⁷⁶.

И. В. Ягич пояснил: «Для передачи λευκός в других местах обычен перевод *бѣль*, однако заслуживает внимания Ин 4,35, где подразумеваются нивы, здесь переводчик поставил с утонченным тактом прилагательное *плавъ*, потому что чувствовал, что в этом месте выражение *бѣль* не подходит»⁷⁷. Для И. В. Ягича это было попутным замечанием, а для К. А. Матрелли темой статьи «Перевод λευκός в славянских евангелиях в сопоставлении с переводами латинским и германским»⁷⁸. Итальянский славист привел текст из Вульгаты: «levate oculos vestros et videte regiones, quia albae sunt iam ad messem» и, отметив, что готский текст Вульфилы имеет в этом месте лауну, дал Ин 4,35 в немецком и шведском переводах XVI в. Добавим, что германистика располагает двумя древневерхненемецкими текстами. Во-первых, имеется изложение сюжета у Отфрида Вайсенбургского (ум. ок. 870), где по рукописям IX в. читаем: «nist ackar hiar in rîche, nub er zi thiû (= zur Ernte) nu bleiche»⁷⁹, здесь *bleichên* пояснено лексикологами как «strohgelb werden» (vom Kornfeld) «становиться соломенно-желтым (о хлебном поле)»⁸⁰, «gelb sein» (vom reifen Getreide) «быть желтым (о зрелых хлебах)»⁸¹. Во-вторых, Ин 4,35 вкраплен в «Евангельскую гармонию» Татиана, имеющуюся в рукописи IX в.: «hebet ûf iunariu ougip inti sheht thiû lant, bidiu siu uiûzu sint iû zi arni»⁸². Цветообозначение *uiûzu* (> нем. *weiß* «белый») интерпретируют как соответственное «цвету зрелых хлебов», «von der Farbe reifen Korn»⁸³. В обоих случаях определяемое стало определителем, не будучи доказанным. Правда, многие названия пшеницы — гот. *waiteis* (ср. нем. *Weizen*), брет. *gwiniç*, алб. *barç* внутренней формой говорят о белизне, а наш *белый хлеб* так же не белоснежен, как *черный хлеб* не похож цветом на сажу. Нужно различать такие колористические стадии, как цвет поля, обмоленного зерна, муки, отломанного куска испеченного хлеба. Упомянутые названия пшеницы скорее всего обусловлены цветом муки, но не о ней речь в Ин 4,35. Древневерхненемецкие переводчики точнее придерживались подлинника, чем Кирилл и Мефодий, а интерпретации лексикологов умаляют это достоинство, принудительно подтягивая *bleichên* и *uiûzu* к цвету желтеющей нивы. Не нужно быть специалистом в копт-

⁷⁵ P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, 3, Paris, 1974, стр. 632—633.

⁷⁶ R. Schnackenburg, Zur Herkunft des Johannesevangeliums, «Biblische Zeitschrift», 14, 1970.

⁷⁷ V. Jagič, Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache, Berlin, 1913, стр. 329.

⁷⁸ C. A. Mastrelli, La traduzione di λευκός nei Vangeli slavi in confronto con le traduzioni latine e germaniche, «Ricerche Slavistiche», 2, Roma, 1953. Ср.: C. A. Mastrelli, La tecnica delle traduzioni della Bibbia nell'alto Medioevo, сб. «La Bibbia nell'alto Medioevo», Spoleto, 1963, стр. 679.

⁷⁹ Otrfids Evangelienbuch, hg. von O. Erdmann und E. Schröder, Halle, 1934, II, 14, 106.

⁸⁰ F. Tschirch, Frühmittelalterliches Deutsch, Halle (Saale), 1955, стр. 127.

⁸¹ «Althochdeutsches Wörterbuch», I, 16. Lfg., Berlin, 1964.

⁸² F. Tschirch, указ. соч., стр. 27.

⁸³ Там же, стр. 148.

ской филологии, чтобы распознать такую же натяжку, хотя более осторожную и в иной колористической оппозиции — не к желтому, а к зеленому, — у В. Тилля, когда он, комментируя белизну в Ин 4,35 (от инфинитива *ОУБАШ* «становиться белым»), утверждает, что здесь белое нужно понимать не буквально, а как «приближающееся к белому, в отличие от зелени незрелого посева»⁸⁴. Лексикология древнегрузинского языка придерживается точного смысла слов — в Ин 4,35 фигурирует выражение *гантэтрэбули ариан* «они есть побелевшие», и комментатор не привносит никаких «поясняющих» цветов⁸⁵. Точен и древнеармянский перевод⁸⁶, где употреблен перфект от *спитаканам* «белеть; сидеть» < ср.-перс. *spētak* «белый»⁸⁷.

Итак, из средневековых переводов Ин 4,35 латинский, немецкий, коптский, грузинский, армянский придерживаются того, что нивы *белы*, лишь в старославянском они *плавь*. Это слово имеет в славянских языках два значения — *желтый* (обычно о волосах) и *синий*; совмещение в одном слове столь несходных понятий является необъясненной особенностью⁸⁸.

Общепризнано, что кирилло-мефодиевский перевод выполнен с высокой, во многих моментах поразительной филологической квалификацией. Что же имеет место в данном случае — оплошность или счастливая находка мастера? Бывают переводы, превосходящие оригинал, но здесь оригиналом являются даже не слова евангелиста, а *ipsissima verba Domini*, прямая речь Христа, редактировать которого ни один церковный переводчик и не подумал бы. Одобрительное суждение И. В. Ягича несет на себе печать эпохи триумфального шествия позитивизма и пейзажной живописи Шишкина. Современник И. В. Ягича Владимир Соловьев сказал о своем лирическом стихотворении, где озеро Сайма называлось красавицей нежной: «Я подвергся внушительному порицанию за то, что на склоне лет увлекаюсь юношескими чувствами и распространяюсь о них в печати. Сознаю, что подал повод к такому обвинению: нужно выражаться яснее. Если вдохновляешься *озером*, то так и говори:

Oh, lacl! l'année à reine a fini sa carrièrè...»⁸⁹.

Евангелист не хотел выражаться яснее, он был мистиком чистой воды. В притче о сеятеле Лк 8,5—9 нет повода выяснять, какое именно

⁸⁴ W. C. Till, Die Farbenbezeichnungen im Koptischen, «Studia biblica et orientalia», 3, Roma, 1959, стр. 334.

⁸⁵ С. Б. Серебряков, Древнегрузинско-русский словарь (по двум древним редакциям Четвергоглава), Тбилиси, 1962, стр. 24.

⁸⁶ «Евангелие в древнеармянском переводе, написанное в 887 г.», фототип. изд. рукописи Лазаревского ин-та, М., 1899, л. 180 об.

⁸⁷ Р. Агарян, Этимологический коренной словарь армянского языка, 6, Ереван, 1937, стр. 404—407. По грузинскому и армянскому языкам меня консультировали Н. З. Допадзе и К. Н. Юзбашян.

⁸⁸ G. Негле, Die slawischen Farbenbenennungen, Uppsala, 1954, стр. 73—78. Ср. фразу на берестяной грамоте начала XII в.: *продаите половъи конь* [в кн.: В. А. Арциховский, В. И. Борковский, Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1955 г.), М., 1958, стр. 43 (№ 160)]. Совмещение желтого и синего в славянском *плавь* можно сравнить с совмещением коричневого и синего в др.-в.-нем. *brân*, ср.: К. Вогински, Nochmals die Farbe Braun, München, 1920. Параллелью является родство немецкого *blau* «синий» с лат. *flavus*, во времена Кирилла и Мефодия уже не ощущавшееся: «Althochdeutsches Wörterbuch», II, 16. Lfg., Berlin, 1964, стлб. 1176. А почему юркую пгичку с желтой грудкой на Руси издревле называют *синицей*? По доброй традиции, если этимолог не понимает исследуемого слова, он объявляет его звукоподражанием. Л. А. Булаховский сумел транскрибировать писк синицы как *zizigäg*, откуда и вывел этимологию (М. Фасмер, III, 625). Но как тогда понимать нем. *Blau-meise* — *Kohlmeise*?

⁸⁹ В. Соловьев, Стихотворения, М., 1915, стр. IX.

възрасте тръње, какие разновидности сорняков имелись в флоре Палестины I в. н. э. — все понимают, что речь идет о почве человеческих сердец. Но ведь и в Ин 4,35 ясно сказано, что реальное поле созреет через четыре месяца⁹⁰, следовательно, белые нивы — это что-то другое. Н. Б. Бахилина сделала осторожную оговорку: *плавъ* из Ин 4,35 следует отнести к группе желтого цвета, «е с л и с ч и т а т ь (разрядка наша. — М. М.), что это слово употреблено в качестве цветообозначения»⁹¹. А если не считать, то в качестве чего? Надо выяснить — по проверенной веками толковательной традиции, которую начнем с великого еретика Оригена (первая половина III в.).

Вводные слова *възведѣте очи ваши и видите* имеют объяснение лингвистическое. Этот императив — один из гебраизмов греческого подлинника, «*altes Hebräisch*» — чисто еврейский оборот речи, вовсе не означающий, что у слушающего очи потуплены⁹². Ориген, зная иврит, тем не менее толкует это место так, что движение взгляда требуется, но только не физического взгляда, а зениц души: «Востину никто пребывающий среди страстей, прилипший к плоти или увязнувший в материи не выполнил повеление, которое гласило *възведѣте очи ваши*, именно поэтому такой человек не увидит нив, даже если они уже белы к жатве. Более того, никто совершающий *дѣла плътская*⁹³ очей не поднимает».

Ориген продолжает, скромно подчеркивая свою неуверенность: «Быть может, все чувственные реальности, включая само небо и все то, что оно в себе содержит — это и есть для тех, кто возводит очи, белые нивы, готовые к жатве»⁹⁴.

Константин Болгарский, прошедший подготовку в кирилло-мефодиевской миссии, в Учительном Евангелии (конец IX в.) дает много цитат из Нового завета. По наблюдению А. И. Соболевского, «они переведены Константином самостоятельно, хотя его перевод и показывает хорошее знакомство переводчика с кирилло-мефодиевским текстом»⁹⁵. Опираясь на Иоанна Златоуста⁹⁶, Константин говорит о необходимости толковать Ин 4,35 по контексту эпизода «Христос и самарянка» и обращает внимание, что в этом эпизоде народ стал сбегаться к месту проповеди. Отсюда, по мнению Константина, должно быть видно, что евангелист, называя *нивою же и жатву* «множество днй готовыхъ на пристижъ проповѣдания именують очи же съде глетъ ли свѣстьныхъ ли телесныхъ ибо оуже зър Ахъ множества самар Анъ гр Адъ ща. Не удовлетворяясь кирилло-мефодиевским переводом эпитета *λευκός*, Константин держится ближе к оригиналу: *нивы оубъленыя рече* яко же бо класи югда оубъл Ать с А на жатвоу соуть готови так же и си на спасениж бъш А приготовани⁹⁷.

Интерпретатором был и Феофилакт, с 1081 г. первоиерарх Болгарии, а до этого состоявший в Константинополе диаконом Великой церкви, на

⁹⁰ Это считается опорным моментом в выяснениях по евангельской хронологии, от посева до сбора урожая проходило 6 месяцев: Н. L. Strack, P. Billerbeck, *Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch*, 2, München, 1974, стр. 439.

⁹¹ Н. Б. Бахилина, *История цветообозначений*, стр. 38.

⁹² R. Schnackenburg, *Das Johannesevangelium*, 1. Teil, Einleitung und Kommentar zu Kap. 1—4, Freiburg, 1967, стр. 483.

⁹³ Ср. Гал 5, 19—21, где они подробно перечислены.

⁹⁴ O r i g è n e, *Commentaire sur saint Jean*, 3 — Texte grec, avant-propos, traduction et notes par C. Blanc, Paris, 1975, стр. 180—181.

⁹⁵ А. И. Соболевский, *Из истории древнейшей церковнославянской письменности*, «Сборник Ф. Ф. Фортунатову», Варшава, 1902, стр. 121—122.

⁹⁶ См.: «Творения Иоанна Златоуста», 8, ч. 1, СПб., 1902, стр. 220—221 (Беседа XXXIV на Евангелие от Иоанна).

⁹⁷ Евангелие учительное Константина Болгарского. Рукопись второй половины XII в. ГИМ, Синодальное собр., № 262, л. 29—29 об.

его обязанности лежало объяснение Писания и произнесение поучений. Он разделяет мнение Константина Болгарского, а в выборе слов для цвето-обозначения славянский перевод Феофилакта тоже ориентируется на белизну, когда говорит о душах самарян: *иже соуть паче нивы бѣлы. требуютъ жатвы. яко и класи егда побелѣють готови на жатвоу тако и си готови ко спсѣнию*⁹⁸. Феофилакт допускает возможность, что правы те, кто относят эту белизну к старцам, по причине их седин и пожатия смертью.

За пределами славянского мира относится к нашей теме «Диатессарон» Ефрема Низибийского (ок. 306—373), сохранившийся в сирийской и армянской традиции; Ефрем тоже находил, что в Ин 4,35 подразумевается урожай не злаков, а самарян⁹⁹.

Таким образом, многозначный символ белого поля — а символ всегда многозначен — заключает в себе три мотивировки белого:

1. Белизна самарянских душ, прощенных за их готовность к принятию веры. Качество белизны очистившихся душ можно сверить по Усп. сб.: *они седмерицею бѣлѣша яко и снѣгъ* (л. 129в).

2. Белизна национальной одежды самарян¹⁰⁰.

3. Белизна седины — в эсхатологических ассоциативных связях. Чтение Ин 4,5 — 42 имеет место в одно из воскресений Пятидесятницы (неделя 5 по пасхе, о самаряныне)¹⁰¹, которая идет под знаком эсхатологии¹⁰².

Остается возможность других, неведомых нам мотивировок в языковом сознании евангелиста и его окружения, но и при таком допущении нет оснований предполагать здесь что-либо выпадающее из контекста Нового завета, где столь значительна роль света и тьмы, белого и черного и, конечно, символики хлеба¹⁰³, далекой от натурализма желтеющих нив, если судить по таким моментам, как рождество в Вифлееме (топоним, толкованный как «дом хлеба»¹⁰⁴), неясные по смыслу слова Христа *хлеб наш насущный* (в сербском Никольском Евангелии начала XV в., отличающемся архаизмом лексики и грамматических форм — *иносоушьтны*¹⁰⁵), преломление хлеба на Тайной вечере. Причастен на литургической кульминации *въкоусите и видите яко блгъ гъ* (Пс 33,9)¹⁰⁶ имеет то же семантическое ядро что и феотокионы, сравнивающие чрево богоматери со стогом или гумном: *Дече оубо чрѣво стогъ. Ако гоумно въ истинуу Ави сА. класъ невѣздѣланъ имъ А. имъ же все питомо естъ. Къство все по А. мощьне. слава сил <твоеи хе>* (Службная Минейя за июль, XI—XII в. ЦГАДА, ф. 381, № 121, л. 32 об.), или: *Ако стогъ чрево твоѣ. чиста А. видить сА. пшеницу*

⁹⁸ Толкование на Евангелие Феофилакта Болгарского. Рукопись XV в. ГИМ, Синодальная собр., № 91 (73), л. 41—41 об. Как доказал И. Евсеев, перевод был сделан в Охриде в XI—XII вв.: К. И. Л о г а ч е в, Отечественная кирилло-мефодиевская текстология, «Советское славяноведение», 1977, 4, стр. 69.

⁹⁹ E p h r e m de N i s i b e, Commentaire de l'Évangile concordant ou Diatessaron. Traduit du syriaque et de l'arménien par L. Leloir, Paris, 1966, стр. 211.

¹⁰⁰ R. S c h n a c k e n b u r g, Das Johannesevangelium, стр. 483.

¹⁰¹ Л. П. Ж у к о в с к а я, Текстология и язык древнейших славянских памятников, М., 1976, стр. 244, 247, 248, 254.

¹⁰² Календарное приурочение и есть тот эсхатологический фон для Ин 4,35, о существовании которого спорили Р. Бульман и другие экзегеты: «Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament», 4, Stuttgart, 1942, стр. 253.

¹⁰³ Ср.: M. W ä h r e n, Brot und Gebäck im Leben und Glauben des alten Orients, «Schweizerisches Archiv für Brot- und Gebäckkunde», Bern, 1967.

¹⁰⁴ M. F. S i a c c a, La casa del pane, «Giornale di Metafisica», 30, Torino, 1975, стр. 145—154.

¹⁰⁵ «Slovník jazyka staroslověnského», 20, Praha, 1970, стр. 322.

¹⁰⁶ «О приятии тѣла и крови хвѣи» («Болонски псалтир», изд. И. Дуйчев, София, 1968, стр. 101).

нос *А* бесъмръть *А* · всѣхъ вѣрньныхъ · дша питающа *А* · и мчнкъ весел *А*иц (Служебная Миня за апрель, XI—XII в. ЦГАДА, ф. 381, № 110, л. 104 об. — 105).

Таким образом, уникальность прилагательного *плавъ*, не засвидетельствованного вне Ин 4,35, и условность нив, к которым оно приложено, делают суждения о точном колористическом значении слова — *blond* или *blanc roux* «бледножелтый» или «желтоватый» — такими же беспредметными, как если бы мы стали доискиваться до точных определений несуществующего цветового качества желтого или красного углов избы. Критерий здесь — не спектр, а символика.

В. Кипарский писал, что трудно добывать «действительно ценные данные» по истории языка «из серой массы» (*aus der grauen Masse*) неизданных славяно-русских рукописей¹⁰⁷. Эта колористическая образность говорит скорее о том, что даже у таких крупных лингвистов, как В. Кипарский, может быть атрофирована способность читать средневековый текст глазами средневекового человека, та способность вживаться в эпоху, которую в мире художественного называют протеизмом (ср. «протеизм Пушкина»). Дело вовсе не в том, сколько известных и неизвестных цветовых прилагательных находится в рукописях, ожидающих научного издания. Существует диаметрально противоположный взгляд на самую суть «серой массы», он выражен П. Флоренским в заключительных строках его «Философии культа» (1922): «Когда, готовясь ночью к службе, читаешь в тишине канон Преображению, то невольно жмурятся глаза, как от расплавленной платины, и, кажется — вот сейчас ослепнешь от нестерпимого блеска». Как раз этим каноном и начинается неопубликованная служебная Миня XI—XII в., № 125 собрания ЦГАДА, которая цитировалась выше. Педант напрасно искал бы здесь цветовое прилагательное *платин-овый* или другие столь же четкие параметры, годящиеся к программированию колористической задачи для ЭВМ. Но такое восприятие канона Преображению не является индивидуальной причудой П. Флоренского, оно было органическим элементом византийской традиции, на протяжении тысячелетия аскеты с наиболее утонченной душевной организацией понимали слова о фаворском свете именно так. Очевидно, здравствующее и грядущие поколения лингвистов на эти позиции становиться не будут, но вводить теоретическую поправку на разницу между *Kultsprache* и *Profansprache* все же следует, чтобы знать действительный цвет «серой массы» — действительный для тех, для кого она предназначалась. Нужно от формального оперирования прилагательными цветообозначений, этапа важного и нужного, продвигаться к более трудной задаче — к филологической интерпретации контекста. Тогда в «сером» проявятся такие краски, которые не были видны даже И. И. Срезневскому в его непревзойденных «Материалах к Словарию». Например, можно убедиться, что старославянское *слава* колористично в некоторых из тех случаев, когда оно передает греч. δόξα¹⁰⁸, др.-евр. *kabod* — ветхозаветный образ божества в грозовой туче, извергающей пламя, от которого качаются и тают, как воск, громады гор (Ис 96,1—5), затем развившийся в гало — многоцветные ореолы вокруг солнца¹⁰⁹; финалом семантического развития являются новогреч. δόξα «радуга» и *слава* как термин русской иконописи. Даже в тех редких случаях, когда *слава* применялась к делам человеческим, ее срав-

¹⁰⁷ V. Kiparsky, *Russische historische Grammatik*, 1, Heidelberg, 1963, стр. 71.

¹⁰⁸ Ср.: Ch. Mohrman, *Note sur doxa*, «Sprachgeschichte und Wortbedeutung. Festschrift A. Debrunner», Bern, 1954; F. Raurell, *Studia ad vocabulum δόξα in LXX pertinentia*, Roma, 1963.

¹⁰⁹ G. Lampe, *A patristic Greek lexicon*, Oxford, 1965, стр. 381.

нивали хроматически — с цветком: *всѣхъ члвкъ гнои... и слава жео аки цвѣтъ·аки роса осушаютъ·и аки струя на низъ*¹¹⁰.

Цвет мог выражаться и не прилагательными¹¹¹, причем без ущерба для художественного качества, что видно, например, по стихире службы мученикам Феликсу и иже с ним, дающей образ окровавленной луны: *Плака сѦ блжнн·вашеи славынн·бжствынн страс·лоуна въ кръвь приложи сѦ·Ако въ днь заколени·А·всѣхъ цсрѦ и ба нашего*, и далее в тропаре седьмой песни канона: *Ведому ти Оулице свѣне·на заколение вольное·приложи сѦ ЛЖна Авъ въ кръвь* (Миняя № 125 ЦГАДА, лл. 109 об., 111 об.). А вот тропарь седьмой песни канона Андрею Стратилату (там же, 61 об.), творение Иосифа Гимнографа: *Бжннею кръвю·твоюхъ кръвнн багър·Аница·себе мннне опрапроудивъ въ ню одъ сѦ·всѣхъ цсрствдуца съцрствешн нын·А·побдднннмъ вѣцель Жкрашаем* (Γῶ θείῳ λύθρῳ, τῶν σῶν αἱμάτων χλαῖναν σαυτῆ, Μάρτυς πορφύρας, ταύτην τε στολισθεῖς, τῶν ὄλων βασιλεύοντι, συμβασιλεύεις νῦν, νικητικῶ στεφάνῳ κοσμούμενος).

В отличие от этой словесной картины, которую можно было бы написать и кистью фрескиста, не поддается такому воплощению тропарь восьмой песни канона Моисею Эфиопу (там же, л. 99—99 об.), творение Феофана Клейменого (775—845): *Синннн тѣломъ·дшю же свѣтлыи слъ·нчьнннхъ свѣтлостии·сѣт·Ажавнн·дѣмоньскнхъ очрвннлъ еси·помрачены·А очеса·вѣрннхъ же просвѣцаетъ срдца·его же пришьстаемъ тепло поучннмъ* (Ὁ μελάνος μὲν τῷ σώματι, τὴν φωχὴν φραιδρότεραν δέ, τῶν ἡλιακῶν μαρμαρυγῶν κτηζάμενος, δαιμόνων ἡμαρῶσεν ἐξοφομένη πρόσωπα· τὰς δὲ τῶν πιστῶν, καταλαμπρύνει καρδίαν, αὐτοῦ τῆ ἐκκλήσει, τῶν θερμῶς μελφδοῦντων· Ἄσος ὑπερῶφτε, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας). Здесь все построено на контрастах красок: душа светлее солнца — и противоположное по свету тело эфиопа, в котором жила эта душа; просветленные сердца верных — помраченные очи демонов, которые, к тому же, Моисей палил кровью. Низшее можно изобразить средствами живописи, высшее неизобразимо.

Придавать большое значение отступлениям перевода от подлинника здесь, видимо, не следует; пока не существует критического греческого текста, неизвестно, какое из разночтений имел перед собой древнеболгарский переводчик. Что тело чернокожего святого названо синим (в каноническом церковнославянском тексте — *чернь снн тѣломъ*), интересно само по себе. Греч. Αἰθίς переводилось как *синьць*; в древнескандинавском *blamaðr* «мавр», от *blar* «темносиний, черный». Но из этого не обязательно делать вывод, что славянское «синий» значит темный и даже черный¹¹², даже, если например, в одном из ирмосов *μέλας δὲ πόντος* переведено как *синѦ же поучина*¹¹³. Существует иконография, в ней дьявол (а дьявол, по Оригену, есть «духовный эфиоп»¹¹⁴) писался или с черным, или с синим цветом кожи, синим в нашем понимании этого слова — на основании синева воздуха как места обитания и как вещества тела демонов¹¹⁵. Синие тона демона у Врубеля закономерны, падшего ангела изображали синим начиная с VI в. (равеннская мозаика Сан Аполлинаре Нуово). В дан-

¹¹⁰ «Мерило праведное», изд. М. Н. Тихомирова, М., 1961, стр. 8.

¹¹¹ Ср.: Н. J. Vermeer, *Adjektivische und verbale Farbausdrücke in den indogermanischen Sprachen*, Heidelberg, 1963.

¹¹² Н. Б. Бахилина, указ. соч., стр. 40.

¹¹³ «Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente, hg. von E. Koschmieder, 1. Lfg., München, 1952, стр. 68.

¹¹⁴ А. Негманн, указ. соч., стр. 419.

¹¹⁵ E. Kirschbaum, *L'angelo rosso e l'angelo turchino*, «Rivista di Archeologia Cristiana», 17, Roma, 1940. Ср.: W. Gass, *On being blue, A philosophical inquiry*, Boston, 1975.

ном случае при интерпретации минейного текста синее нужно сближать не с черным, а с реальным цветом эфиопской кожи — коричневым, и тогда возникает тот концентрированный вариант оппозиции синего и желтого ¹¹⁶, о котором мы говорили выше (примеч. 88). Задолго до возникновения славянской государственности обитатели Северного Причерноморья разбирались в оценках синего: они были поставщиками самой дорогой — скифской — лясис-лазури на римский рынок ¹¹⁷.

В этом же каноне Моисею, Эфиопу начальным тропарь (л. 97 об.) *Грызениемъ грѣховнымъ омрачену сердцю моему Жбѣли оче·покааньными водами млтвами си* (Ἐφραὶμὶ ἀμαρτίας, μεμελανωμένην τὴν καρδίαν μου, καταλόχων Πάτερ, μετανοίας τοῖς ὄμφοις πρεσβείαις σου) впервые дает — *mutatis mutandis* — все необходимое для символа невозможности в «Правилах питических» (1780) ректора Московской славяно-греко-латинской академии Аполлоса Байбакова:

Хотя реку воды на Ефиопа лей,
Не будет он белей.

В образном мышлении Феофана омытое сердце становится *белым*, в стихире службы Моисею Эфиопу (л. 96 об.) это же сказано о душе: *Тьмоу и грѣховноюю сладость омраченъи моеи души· и отьмьненъ и зѣль· оче обѣли·покааньными водами.*

В заключение выскажем наше мнение о первом и важнейшем выводе, сделанном М. А. Суровцовой: «1. В общеславянский период существовали только первообразные (абстрактные) цветообозначения» ¹¹⁸.

Словарь общеславянского периода ввиду его бесписьменности нам может быть известен лишь приблизительно. Суждения о том, что тогда было и чего не было в номенклатуре цветообозначений, не должны быть столь категоричными. Абстрактные цветообозначения имелись не только на общеславянской стадии, но и ранее, как, например, **сьгль*, архаическое цветообозначение, сложившееся в дославянскую эпоху ¹¹⁹, и даже в числе ностратических праформ (*светлое, бурое, черное*) ¹²⁰, далее которых лингвистические реконструкции пока не простираются. Однако для эволюции мышления и языка характерно движение от конкретного к абстрактному. Абстрактное не является первообразным, первыми образами для сообщения цвета посредством языка были предметы, характерные носители цвета. В любом языке одновременно сосуществуют и конкретные, и абстрактные цветообозначения, на любом этапе хронологии — образно говоря, от Адама, *присно зеленымъ дЖбжемъ веселѣшита сѣ·отъ цѣтвовъ въ цѣтты прѣходѣшита* (Супр. 429, 28—30) и до русской классической поэзии, где пером Лермонтова написана *малиновая слива*.

¹¹⁶ Общность желтого и коричневого заложена в ностратической праформе *bor'a*: В. М. Иллич-Свитыч, Опыт сравнения ностратических языков, М., 1971, стр. 483.

¹¹⁷ «Enciclopedia dell'arte antica», 2, Roma, 1959, стр. 772.

¹¹⁸ М. А. Суровцова, указ. соч., стр. 154.

¹¹⁹ «Этимологический словарь славянских языков», под ред. О. Н. Трубачева, 4, М., 1977, стр. 156.

¹²⁰ В. М. Иллич-Свитыч, указ. соч., 2, М., 1976, стр. 120—124.

ТОТ И. Х.

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ ТРАДИЦИИ
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВЕНГРИИ

Мы поставили целью выяснить, какие культурные и церковные центры Венгрии XI—XII вв. способствовали усвоению в венгерский язык заимствований из старославянского (древнеболгарского) языка, свидетельствующих о миссионерской деятельности византийской церкви на территории Венгрии. Только в таком смысле мы имеем право говорить об опосредствованных кирилло-мефодиевских традициях.

По Паннонским житиям Кирилла и Мефодия известно, что первоучители славян имели и непосредственные контакты с венграми. Житие Константина-Кирилла сообщает, что Константин-Кирилл во время своей хазарской миссии обратился с «учительными словами» к тем уграм (венграм), которые хотели напасть на него и на его дружину¹. Хотя этот момент жизни Константина-Кирилла имеет своеобразные агиографические элементы, он все-таки является несомненным фактом. Встреча Константина-Кирилла с уграми имела место около 861 г. недалеко от Херсона².

В житии Мефодия говорится о том, что угорский (венгерский) король хотел видеть Мефодия и что Мефодий посетил его. В конце встречи король преподнес архиепископу богатые подарки и попросил молиться за него³. Хотя имеются трудности в толковании этого места жития, мы не сомневаемся в том, что оно передает реальное событие. По мнению П. Кирая, встреча Мефодия с венгерским вождем произошла около 882 г.⁴ Несмотря на эту интересную информацию о встречах первоучителей славян с венграми, трудно предполагать, что Кирилл и Мефодий могли бы вернуть успешную миссионерскую деятельность среди венгров.

Литургия на старославянском языке стала известной венграм в результате миссионерской деятельности византийской церкви. О ней свидетельствуют: 1) исторические данные, 2) патроцинии некоторых церквей на территории Венгрии. Обратимся к этим данным.

1. Греческие летописцы Иоанн Скилитс и Иоанн Зонар рассказывают, что «главный судья» венгров Бульчу, крестившись в Константинополе, получил звание патрикия. Вскоре после этого приехал в Константинополь и другой венгерский воевода, Дюла, который там же принял христианство. Бульчу «не остался в вере», но Дюла, сохраняя свою веру, сохранил и дружбу с Византией. Здесь сыграло роль и то обстоятельство, что византийский патриарх Феофилакт отправил с Дюлой в Венгрию монаха Хиерофея, которого патриарх назначил епископом Турции. Задача Хиерофея состояла в том, чтобы крестить семью и подданных воеводы Дюлы⁵. Как видно, первым известным нам епископом Венгрии был Хиеро-

¹ К. О х р и д с к и, Сьбрани съчинения, III, София, 1973, стр. 96.

² Király P., A magyarok említése a Konstantin es Metód legendában, Budapest, 1974, стр. 9.

³ К. О х р и д с к и, указ. соч., стр. 191.

⁴ Király P., указ. соч., стр. 12.

⁵ Moravcsik Gy., Görögnyelvű monostorok Szent István korában, «Emlékönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulójára», I, Budapest, 1938, стр. 399.

фей, который развернул свою деятельность в Трансильвании⁶. Деятельность Хиерофея, как об этом сообщает «Повесть о латинѣхъ», оказалась непродолжительной. Вскоре после приезда нового епископа в свою епархию Дюла умер⁷. «Повесть о латинѣхъ», направленная против западной церкви, была создана в XIV в. и вскоре переведена на церковнославянский язык. Она сохранилась в русской церковнославянской рукописи XV в. и пошла в Никоновскую летопись и в текст печатной кормчей книги. Интересно, что в «Повести о латинѣхъ» говорится не об одном епископе византийской церкви в епархии Дюлы⁸. Из этого факта можно сделать вывод, что Византия и позже посылала епископов в Венгрию. Такое предположение подтверждается и византийским перстнем XI в., который принадлежал Теофилакту, епископу венгров.

Другая фаза миссионерской деятельности греческой церкви связана с крещением Айтона (Ajtony). Вождь Айтонь, владения которого простирались от междуречья Тиссы и Мароша до Нижнего Дуная, от Тиссы до горных районов Трансильвании, крестился в Видине по греческому обряду (*secundum ritum Graecorum*)⁹. Позже он построил в центре своих владений, в Марошваре (Marasina) монастырь св. Иоанна Крестителя для тех греческих монахов, которые приехали с ним в Венгрию. В монастырь он назначил игумена «по чину и образу греческой церкви» (*iuxta ordinem et ritum istorum*). Айтонь от греков получил не только «свою веру», но и поддержку своей политической власти¹⁰. Конфликт между королем и Айтоном был неизбежен. Иштван I направил против Айтона вождя Чанада. Одержав победу над Айтоном, Чанад построил в Оросламоше монастырь в честь св. Георгия, куда вскоре переселил греческих монахов из Марошвара. В Марошваре место греческих монахов заняли бенедиктинцы.

О греческом церковно-культурном влиянии на территории, принадлежавшей Айтону, свидетельствуют и археологические данные: высеченный в византийском стиле саркофаг, в котором по традиции хранились мощи Геллерта, а также купель XIII в. из церкви в городе Чанад¹¹. На основании данных об Айтоне Г. Фехер выдвинул гипотезу, согласно которой Айтонь крестился в болгарском Видине и данные о греческой церкви в действительности относятся к болгарской церкви¹². Позднее вопросом крещения Айтона и его контактов с Византией занимался Д. Кришто. Исходя из того, что Видин был взят Василием II осенью 1003 г., Д. Кришто сделал вывод, что Айтонь, которого Чанад победил в конце 20-х годов XI в., крестился в греческом Видине¹³. Аргументация Д. Кришто против «болгарской теории» Г. Фехера весьма убедительна, поэтому вряд ли можно говорить о значительной роли болгарской церкви во владениях Айтона. Однако можно думать, что в некоторых поселениях, входивших в состав владений Айтона, наряду с греческим духовенством, были и сла-

⁶ M o r a v c s i k Gy., *Bizánc és magyarság*, Budapest, 1953, стр. 54.

⁷ M o r a v c s i k Gy., *Görögnyelvű monostorok...*, стр. 401.

⁸ См.: А. Попов, Историко-литературный обзор древнерусских полемических сочинений против латинян, Лондон, 1972, стр. 187; «Патриаршая или Никоновская летопись», ПСЛР, IX—X, М., 1904, стр. 70.

⁹ M o r a v c s i k Gy., *Bizánc és magyarság*, стр. 55.

¹⁰ J u h á s z K., *A csanádi püspökség története*, Makó, 1930, стр. 31.

¹¹ P o z s o n y i Z., *Árpádkor és Kelet*, Szeged, 1935, стр. 35.

¹² F e h é r G., *A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban*, Századok, 1927, стр. 2—4.

¹³ K r i s t ó Gy., *Megjegyzések az ún. pogánylázadások kora történetéhez*, Szeged, 1965, стр. 13—14, 18.

вянские священники и практиковалось славянское богослужение (даже в Марошваре, как предполагает Я. Мелих)¹⁴.

Более вероятным является наличие славянской литургии в тех поселениях, которые были населены славяно-болгарами. На территории Айтона известны следующие топонимы славянского происхождения: *Рохонца* (*Rohonca*), *Кенез* (*Kenéz*), *Канижа* (*Kanizsa*), последний фигурирует и как гидроним. Они существовали уже на рубеже X—XI вв. или, может быть, даже раньше¹⁵. Топонимы *Канижа* и *Кенез* можно считать южно-славянскими¹⁶; вероятнее всего, они славяно-болгарские.

Характеризуя греческие монастыри на территории Айтона, следует упомянуть и о том, что, по исследованиям П. Карачони, монастырь св. Филиппа в Сёреге (*Szöreg*) тоже был греческим, хотя возникновение этого монастыря можно отнести к периоду после смерти Айтона¹⁷.

Анализируя исторические данные об Айтоне, Л. Секфю пришел к выводу, что в войсках Айтона были и болгарские беженцы, которые после охридской победы Василия II (1018) бежали из Болгарии¹⁸. Возможно, среди них были и болгарские священники и монахи, совершавшие богослужение на старославянском языке.

2. Другим доказательством миссионерской деятельности византийской церкви являются патроцинии тех святых, культ которых был очень распространен в византийской церкви. Патроцинии Дмитрия Солунского, Козьмы и Дамьяна, Георгия Победоносца, Николая Мирликийского, Иоанна Предтечи были распространены в средневековой Венгрии. Характерное свидетельство «популярности» этих святых составляет то, что Козьма и Дамьян изображены на нижней части венгерской короны XI в. Королева Гизелла, жена Иштвана I, подарила церкви в Секешфехерваре (*Székesfehérvár*) богато вышитое облачение, которое позднее стало атрибутом коронации венгерских королей. На нем изображены св. Пантелеймон, Козьма, Дамьян и Георгий Победоносец. Возможно, что они изображались на разных культовых предметах именно потому, что были известны и в Венгрии¹⁹. Патроциний Дмитрия Солунского, несомненно, свидетельствует о греческом влиянии²⁰. Монастырь св. Пантелеймона существовал на месте нынешнего города Дунауйварош (*Dunaujváros*). В монастыре жили греческие монахи²¹. О греческом происхождении культа этих святых свидетельствует тот факт, что их память отмечалась в Венгрии в те же дни, что и в византийской церкви²². К. Мештерхази изучал распространение культа «восточных святых» в средневековой Венгрии. Он установил, что патроцинии «восточных святых» группируются вокруг определенных центров, которые играют несомненную роль в распространении их культа.

Для предполагаемого наличия кирилло-мефодиевских традиций очень важны те венгерские топонимы, которые указывают, что в некоторых местах здесь имелось южнославянское или восточнославянское поселение. Славянские названия таких поселений, как *Салач* (*Szalacs*), *Оросу* (*Oros-*

¹⁴ Melich J., *Szláv jövevényszavaink*, 1/2, Budapest, 1905, стр. 86.

¹⁵ Melich J., *A honfoglalás kori Magyarország*, Budapest, 1925, стр. 131—132.

¹⁶ Там же, стр. 134.

¹⁷ Karácsonyi P., *Szöreg középkori története, «Szöreg és népe»*, Szeged, 1977, стр. 73—75.

¹⁸ Székfi L., *Az Ajtony-monda*, Szeged, 1972, стр. 13.

¹⁹ Erszegi G., *Dunapentele a középkorban, «Fejér megyei történeti évkönyv»*, Székesfehérvár, 1975, стр. 9.

²⁰ Moravcsik Gy., *Bizánc és magyarság*, стр. 61.

²¹ Erszegi G., указ. соч., стр. 11.

²² Mesterházy K., *Adatok a bizánci kereszténység elterjedéséhez az Árpád-kori Magyarországon*, 1970, стр. 168.

zi), *Оростелек (Orosztelek)*, имеют греческое церковное происхождение²³. В этих поселениях можно предполагать и славянское богослужение.

Исторические данные и распространение патронимов византийских святых убедительно доказывают, что византийская церковь имеет определенные заслуги в ранний период христианизации венгров²⁴. Учитывая исторические данные о миссионерской деятельности греческой церкви, П. Вацц пришел к выводу, что христианство среди венгров, являясь византийским по своему происхождению и характеру, осталось таким же и по прохождении длительного периода времени²⁵. Поразительным фактом является то, что в венгерской христианской терминологии нет ни одного непосредственного византийского заимствования²⁶, несмотря на то, что исторические данные свидетельствуют о миссионерской деятельности византийской церкви среди венгров. Соответствующая христианская терминология в венгерском языке является по своему происхождению заимствованной из старославянского языка. Такие слова, как *karácsony* «христово рождество», *kereszt* «крест», *szombat* «суббота», *pap* «священник», восходят к литургии на старославянском языке. Не исключена возможность и того, что в «нейтральной» с литургической точки зрения терминологии христианства тоже немало заимствований из старославянского языка, однако фонетический облик таких терминов не имеет характерных особенностей, которые явно свидетельствовали бы об их древнеболгарском происхождении²⁷. Эти заимствования свидетельствуют о несомненных контактах венгров с древними болгарами. На византийское культурное влияние указывает и венгерское слово *palota* «дворец», заимствованное также из церковнославянского языка XI в.²⁸ В венгерской антропонимии XI—XII вв. тоже можно обнаружить славяно-болгарское влияние, которое проявляется в употреблении таких ветхозаветных имен, как *Dávid* (Давид), *Sámuel* (Самуил), *Salomon* (Соломон). Некоторые личные имена XI—XII вв. объясняются закономерностями славяно-болгарского наименования лиц²⁹. Среди мужских имен известны имена, являющиеся несомненными заимствованиями из славянских языков, носители которых принадлежали к греческой церкви. Так, например, *Vászoly* (Васил) восходит к форме *Василь* и заимствовано из церковнославянского языка, *Béla* (Бела) восходит к сербохорватскому языку³⁰. Из имен самым интересным является имя венгерского короля *Эндре* (Андрей), которое происходит от древнерусского имени *Андрей*³¹.

Приведенные факты указывают на контакты венгров со славянами, которые принадлежали к византийской церкви. Однако исторические данные ничего не говорят о миссионерской деятельности славянского духовенства. Это парадоксальное положение, таким образом, может быть удовлетворительно объяснено, если предположить, что миссионерская деятельность и культурное влияние византийской церкви были реализованы среди венгров посредством славянского духовенства, употреблявшего в богослужении старославянский язык. Такое предположение подтверждается аналогией миссионерской практики римской церкви. Имеющаяся в вен-

²³ M e s t e r h á z y K., указ. соч., стр. 159.

²⁴ M e l i c h J., *Nyelvünk szláv jövevényszavai*, Budapest, 1910, стр. 8—9.

²⁵ V á c z y P., *A korai magyar történet néhány kérdéséről*, «Századok», 1958/3—4, стр. 343.

²⁶ M o r a v c s i k Gy., *Görögnyelvű monostorok*, стр. 388.

²⁷ K n i e z s a I., *A magyar nyelv szláv jövevényszavai*, 1/1, Budapest, стр. 254, 263, 508, 538, 499.

²⁸ M e l i c h J., *Palota*, «Magyar nyelv», 1958, стр. 432.

²⁹ M e l i c h J., *Szláv jövevényszavaink*, 1/2, Budapest, 1905, стр. 420—421.

³⁰ M e l i c h J., *Szláv jövevényszavaink*, 1/2, стр. 421, 102.

³¹ K n i e z s a I., *A szláv apostolok és a tótok*, Budapest, 1942, стр. 13.

герском языке христианская терминология, которая относится к западному обряду, частично заимствована из таких славянских языков, которые находились под влиянием римской церкви. Этот факт дал повод известному венгерскому историку Д. Паулеру установить, что христианство среди венгров является результатом деятельности славянских священников³². Подобным было положение и с греческой миссионерской деятельностью, потому что она была реализована также славянским духовенством. К такому заключению пришел и историк Д. Дьёрффи, который говорил о славянских переводчиках греческих священников среди венгров³³.

Если мы хотим составить себе представление о миссионерской деятельности греческой церкви в Венгрии IX—XI вв., то следует выяснить, какие культурные центры существовали в этот период на территории Венгрии.

1. М о р а в и я. В Моравии после смерти Мефодия славянское богослужение прекратило свое существование. Моравский князь Святополк беспощадно расправился со сторонниками славянской литургии. Первое житие Наума рассказывает о том, каким гонениям и репрессиям были подвергнуты представители славянской литургии со стороны латинского духовенства³⁴. Если учесть факт преследования сторонников славянской литургии в Моравии, правдоподобным явится заключение о том, что территория Моравии не могла служить исходным пунктом миссионерской деятельности на старославянском языке среди венгров в XI в. Хотя известно, что в XI в. в бенедиктинском монастыре в Сазаве практиковалась славянская литургия, однако она была там вторичной и сравнительно поздней³⁵.

2. З а л а в а р и е г о о к р е с т н о с т и. Известно, что на месте нынешнего поселения Залавар (Zalavár) находился знаменитый *блатънъ градъ*. Константин-Кирилл и Мефодий во время своего путешествия в Рим останавливались здесь. Князь Коцель дал им 50 учеников, чтобы первоучители славян научили их славянскому письму. Мефодий после смерти своего брата вернулся к Коцелю (869). Возможно, что Мефодий, будучи сремским епископом, больше всего находился именно у Коцеля. Из-за успешной деятельности Мефодия среди населения Рихвальд, направленный к Коцелю архиепископом зальцбургским, вернувшись в Зальцбург, принес жалобу на Мефодия³⁶. В 870 г. состоялся зальцбургский собор немецких епископов, который заключил Мефодия в тюрьму. По-видимому, этим кончилась деятельность Мефодия на территории паннонского княжества Коцеля. Об этом свидетельствует тот факт, что зальцбургский архиепископ Теотмар (Theotmar) освятил церковь в 874 г. на территории Коцеля³⁷. Исторические данные свидетельствуют и о том, что после 870 г. юго-западная Паннония находилась под властью франков³⁸. Однако славянское население окрестностей Залавара осталось на своем месте после появления венгров³⁹, как об этом свидетельствует топонимический материал комитата Зала (Zala), где топонимы славянского происхождения встречаются намного чаще, чем в других областях Венгрии⁴⁰.

³² P a u l e r G y., A magyar nemzet története az árpádházi királyok alatt, I, Budapest, 1893, стр. 23—24.

³³ G y ö r f f y G y., István király és műve, Budapest, 1977, стр. 48.

³⁴ И. И в а н о в, Български старини из Македония, София, 1970, стр. 306.

³⁵ K n i e z s a St., Die Slawenapostel und die Slowaken, Budapest, 1942, стр. 12—13.

³⁶ B a l i c s L., A kereszténység története hazánk mai területén, Budapest, 1901, стр. 272.

³⁷ K n i e z s a St., Die Slawenapostel..., стр. 6.

³⁸ S z á n t ó I., Hévíz története, I, Szeged, 1977, стр. 46.

³⁹ Там же, стр. 47, 53.

⁴⁰ Там же, стр. 47.

Таким образом, непрерывность здесь славянского населения является несомненной. Непрерывность славянского населения служит и доказательством непрерывности христианства в Залаваре и в прилегающих к нему областях. После прихода венгров территория нынешнего комитата Зала была занята племенем Вербульча. Из венгерских вождей Бульчу был первым, крестившимся в Византии. Вполне правдоподобным является предположение Д. Дьёрффи и о том, что после крещения Бульчу с ним из Византии приехали на его территорию греческие священники, владевшие славянским языком⁴¹. Возможно и то, что некоторые патронии греческой церкви появились в результате этой вторичной византийской миссии⁴².

3. С р е м является таким центром византийской церкви, о котором мы располагаем сравнительно большим количеством исторических данных. Здесь имелись определенные традиции славянской литургии, потому что Мефодий был сремским епископом (ок. 870—880 гг.). Позже город стал центром болгарской епископии до 1018 г., когда он был взят Василием II. Венгры завоевали Срем у греков в 1072 г., однако греческая епископия там продолжала существовать⁴³. В монастыре св. Дмитрия отдельно друг от друга жили греческие, славянские и венгерские монахи. В 1212 г. в монастыре еще практиковался восточный, греческий обряд. В XIV в. монастырь опустел. После смерти в 1334 г. последнего греческого игумена константинопольский патриарх в течение 10 лет не назначал нового игумена, поэтому папа Климент IV разрешил епископу Витусу (Vitus) поселить бенедиктинцев в опустевший монастырь⁴⁴. Имена монастыря раскинулись до Вишеграда (Visegrád). Однако он имел владения и в окрестностях Сегеда, откуда доставлялась соль в сремский монастырь⁴⁵. Возможно, что церковь св. Дмитрия в Сегеде тоже восходит к византийским традициям⁴⁶. Патронии в комитатах Бараня, Шомодь, Тольна находятся в тех поселениях, которые раньше относились к сремскому монастырю или к монастырю в Веспремвёлде (Veszprémvölgy). Это косвенно указывает на то, что сремский монастырь сыграл большую роль в культурной жизни своих имений. Правдоподобным является и то, что там, где имелось южнославянское население, языком культа служил старославянский язык⁴⁷. Еще более вероятным является предположение о существовании славянского богослужения среди славянских монахов греческого монастыря в Среме. Может быть, наряду со Сремом Белград и Баранч тоже сыграли роль в распространении христианства среди венгров⁴⁸.

4. В и д и н. О нем уже говорилось в связи с крещением Айтона.

5. Т р а н с и л ь в а н и я. Рассматривая население Трансильвании в конце XI в., Я. Мелих пришел к выводу, что там жили и славяно-болгары⁴⁹. Он устанавливает славяно-болгарское происхождение трансильванского гидронима Залатна (Zalatna)⁵⁰. И. Кнежа тоже предполагает

⁴¹ Györfy Gy., István király..., стр. 47.

⁴² Szántó I., указ. соч., стр. 53.

⁴³ Györfy Gy., A szávaszentdemeteri görög monostor XII. századi birtokösszeírása, «MTA II. Osztályának Közleményei». II, 1952, стр. 377.

⁴⁴ Balics L., указ. соч., II, стр. 217—218.

⁴⁵ Györfy Gy., A szávaszentdemeteri..., стр. 55.

⁴⁶ Moravcsik Gy., Bizánc és a magyarság..., стр. 61; Bálint S., Szeged városa, Budapest, 1959, стр. 10.

⁴⁷ Györfy Gy., A szávaszentdemeteri..., стр. 85.

⁴⁸ Там же, стр. 333.

⁴⁹ Melich J., A honfoglalás kori..., стр. 36, 273.

⁵⁰ Там же, стр. 247.

славяно-болгарское население Трансильвании⁵¹. Остатком языка бывшего славяно-болгарского населения Трансильвании является и имя матери короля Иштвана I, дочери воеводы Дюлы, которую местные славянские жители называли *Белекнегини* (Beleknegini). Это имя представляет собой перевод имени *Шарольта* на славяно-болгарский язык. Оно происходит от протоболгарского слова *šaraldu, которое обозначало «белую ласку»⁵².

О том, что в Трансильвании существовала важнейшая кирилло-мефодиевская традиция — славянская литургия (и славянское письмо), — свидетельствует тот факт, что в венгерском руническом письме имеется шесть знаков, которые были заимствованы из славянского письма: два из глаголицы и четыре из кириллицы. Г. Фехер эту особенность венгерского рунического письма объясняет тем, что в Трансильвании был пополнен состав венгерского рунического письма буквами из глаголицы и кириллицы⁵³. И. Кнежа предполагал только заимствование букв из глаголицы, так как древнеболгарское письмо в Трансильвании он считал только глаголическим. Проникновение глаголических букв в венгерское руническое письмо именно в Трансильвании П. Кирай доказывает тем, что памятники рунического письма происходят прежде всего из восточной части Венгрии⁵⁴. Здесь следует упомянуть, что надо учитывать и наличие в Трансильвании древнерусского населения. Появление древнерусского населения в Трансильвании Я. Мелих объясняет постепенным расселением древних восточных славян. Память о них сохранили и некоторые топонимы с компонентом *orosz* «русский». В средневековой Трансильвании известно 54 поселения, жители которых были восточными славянами. Я. Карачони отрицает, что переселенцы были организованы в церковном отношении⁵⁵, однако, как нам кажется, можно предполагать, что в начальный период появления восточнославянских переселенцев среди них имелись и представители славянского духовенства, которые совершали богослужение на церковнославянском языке.

Кроме этих, хорошо локализованных центров, можно выделить несколько «разбросанных» на территории Венгрии центров, где существовала восточная, греческая литургия и местами языком культа служил старославянский язык. На первом месте следует упомянуть знаменитый женский монастырь в Веспремвельде (Veszprémvölgy), о создании которого свидетельствует дарственная грамота, написанная на греческом языке. Г. Фехер высказал мнение о том, что монастырь в Веспремвельде был основан королем Иштваном I для сестры короля и ее сына. Сестра короля вышла замуж за сына болгарского царя Самуила, Гаврила-Радомира. Однако Гаврил-Радомир выгнал свою жену с малолетним сыном. Она вернулась в Венгрию, где жила в греческом монастыре со своим сыном Петром Деляном, который стал героем освободительной борьбы болгар против византийцев⁵⁶. В последнее время М. Комьяти высказал новую гипотезу о возникновении монастыря, согласно которой монастырь был основан не королем Иштваном I, а его отцом, князем Гезой в 80-е годы X в. для своей дочери, бывшей жены Гаврила-Радомира и своего внука

⁵¹ K n i e z s a I., Erdély a honfoglalás korában és a magyarság megtelepedése, «Erdély és népei», Budapest, 1941, стр. 22—23.

⁵² M e l i c h J., A honfoglaláskori..., стр. 40—45, 247.

⁵³ F e h e r G., A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti vonatkozásaik, Budapest, 1931, стр. 153—154.

⁵⁴ K i r á l y P., Cyrilliské litery v staromaďarské runové abecedě?, «Studia Paleoslavica», Praha, 1971, стр. 166.

⁵⁵ K a r á c s o n y i J., Orosz-szláv lakosok Erdélyben, Lugos, стр. 6.

⁵⁶ F e h é r G., A bolgár egyház..., стр. 6.

Петра Деляна. Составитель грамоты принадлежал к окружению княгини. Этим объясняется, что грамота была написана на греческом языке ⁵⁷.

Очень древним был мужской монастырь св. Пантелеймона на месте современного города Дунауйварош. По исследованиям Г. Эрсеги монастырь тоже был основан королем Иштваном I. Там жили монахи до 40-х годов XIII в. ⁵⁸.

Заслуживает внимания деятельность короля Эндре I как основателя монастырей. Он был сыном Васоля, семья которого имела очень тесные контакты с Киевской Русью. Васоль питал симпатию к язычеству, поэтому Иштван I сначала посадил его в тюрьму в Нитре, а потом ослепил его. Сыновья Васоля спаслись бегством в соседние страны. Князь Эндре через Польшу приехал в Киев (ок. 1034 г.). Здесь он крестился и получил имя Андрея. Осенью 1046 г. будущий король с киевскими войсками вернулся в Венгрию. Приехала с ним в Венгрию и его жена, дочь Ярослава Мудрого Анастасия. В Венгрии в Вишеграде король в честь своего ангела построил монастырь, где жили монахи или монахини, приехавшие в Венгрию в свите королевы. Нет оснований сомневаться в греческом обряде монастыря, потому что в начале XIII в. там жили греческие монахи. Недалеко от Вишеграда, в Зебегене (Zebegény) на горе св. Николая находятся пещерские келии. По мнению археолога Ж. Золнай, в этих пещерах жили монахи, переселившиеся из Киева в Венгрию. По-видимому, они были отшельниками того монастыря, который был основан королем Эндре I в Вишеграде ⁵⁹. Монастырь в Вишеграде сыграл очень важную роль в истории средневековых межславянских контактов. Монахи сазавского монастыря, будучи сторонниками славянского богослужения, были изгнаны Спытигневом II из Сазавы и бежали вслед за своим патроном, Вратиславом I, на территорию Венгрии. Рассматривая историю эмиграции сазавских монахов, И. Кнежа установил, что сазавские монахи нашли убежище именно в русском монастыре Вишеграда ⁶⁰. И. Кнежа пытается из этого предположения сделать и другие заключения: по его мнению, Пражские листки были переписаны из древнерусского протографа сазавскими монахами именно в русском монастыре в Вишеграде ⁶¹. По его же гипотезе, жития св. Вячеслава и св. Людмилы распространялась на Руси тоже через посредничество Венгрии. Правдоподобно, что житие Вячеслава дошло до Хорватии тоже через территорию Венгрии ⁶².

Эндре I основал монастырь не только в Вишеграде, но и на берегу озера Балатона в Тихане (Tihány) в 1055 г. Недалеко от этого монастыря в горах находятся «жилые пещеры», изучение которых привело исследователей к заключению, что пещеры являются остатками пещерского монастыря. Археолог Й. Чемеги отождествил эти келии с известным из грамот отшельничеством в Ороскё (Oroszkő «камень русских»). Й. Чемеги относит возникновение пещерского монастыря ко времени между 1047 и 1055 гг. и связывает его с появлением русских монахов из Киева ⁶³. В письме римского папы в 1267 г. этот монастырь в Ороскё характеризуется следующим образом: «cella monachorum, que Vruzku vulgariter nominatur» ⁶⁴.

⁵⁷ K o m j á t h y M., A veszprémvölgyi alapítólevél kibocsájtójáról, «Levéltári Közlemények», Budapest, 1971, 1, стр. 46.

⁵⁸ E r s z e g i G., указ. соч., стр. 10—11.

⁵⁹ Z o l n a y L., Kincses Magyarország, Budapest, 1977, стр. 185.

⁶⁰ K n i e z s a S t., Die Slawenapostel..., стр. 13.

⁶¹ Там же, стр. 13—14.

⁶² Там же.

⁶³ C s e m e g i F., A tihanyi barlanglakások, «Archeológiai Értesítő», 1944—1945, стр. 398, 402.

⁶⁴ S ö r ö s P., A tihányi apátság története, Budapest, 1911, стр. 17.

Вопросом происхождения монастыря в Тихане занимался М. Комьяти. Он приходит к заключению, что Эндре I монастыри в Вишеграде и Тихане хотел пожертвовать русским монахам, приехавшим в Венгрию с Анастасией⁶⁵. Сначала он основал печерские монастыри в Вишеграде и Тихане, а потом начал возводить каменные здания. Первый каменный монастырь в Вишеграде король отдал русским монахам, а второй, построенный в Тихане, из-за изменений в международных отношениях, он должен был отдать бенедиктинскому ордену. По мнению М. Комьяти, уже до основания каменного монастыря король Эндре I поселил русских монахов в печерский монастырь. Память о них сохранилась в названии *orosz* «русский» в более поздней традиции и в греческом топониме грамоты 1055 г. *Petra*, которым русские монахи называли это место⁶⁶.

Мнение М. Комьяти является довольно обоснованным. Эндре I мог поселить русских монахов в Тихане. По А. А. Шахматову, пещера отшельника Антония, начало киевского печерского монастыря, существовала уже в начале 30-х годов⁶⁷. Иноком печерского монастыря был Моисей (умер около 1043 г.), о котором Поликарп пишет: «сь бо бысть родомъ угринь». Может быть, Моисей Угрин и «отрок» Бориса, Георгий, были сыновьями тех венгерских дружинников, которые приехали в Киев в составе дружины венгерской жены Святослава Владимировича⁶⁸. Не исключена возможность того, что Эндре I был знаком с иноком печерского монастыря Моисеем и это знакомство привело его к мысли переселить в Венгрию русских монахов. Довольно убедительным является предположение о том, что в русских монастырях совершалось славянское богослужение. Для выполнения обрядов нужны были и литургические книги. По подсчетам Б. В. Сапунова, для совершения службы в церквях нужно было иметь восемь рукописей⁶⁹, но в монастырях количество рукописей было больше восьми. Таким образом, можно установить, что в русских монастырях Венгрии монахи имели свои литургические книги, которые они или привезли с собой, или же списали с различных доступных им протографов. К сожалению, не сохранилось ни одной из этих книг на территории Венгрии⁷⁰.

Говоря о существовании русских монастырей в Венгрии, нельзя забывать и о том, что они могли сыграть только ограниченную роль в распространении христианства среди венгров. Что касается киевских связей Эндре I, то следует упомянуть мнение некоторых исследователей о том, что Григорий, поставленный Эндре I архиепископом в городе Калоча, был по происхождению русским. Это мнение еще нуждается в подкреплении⁷¹.

Вопрос о русских монастырях в Венгрии связывается с важным вопросом переселения восточных славян. Уже неизвестный венгерский летописец, Аноним, рассказывает в истории венгров (*Gesta Hungarorum*), что многие из русских присоединились к вождю Альмошу и вместе с ним прибыли в Паннонию. Данные Анонима подкрепляются топонимами Венгрии. На территории Венгрии и Трансильвании встречаются топонимы с компонентом *orosz*, которые указывают на принадлежность поселения

⁶⁵ K o m j á t h y M., A tihanyi apátság alapítólevelének, problémái, «Levéltári Közlemények», Budapest, 1955, стр. 42.

⁶⁶ K o m j á t h y M., A tihónyi apátság..., стр. 40, 38.

⁶⁷ А. А. Ша х м а т о в, Житие Антония Печерского, ЖМНП, III, 1898, стр. 105.

⁶⁸ I g l ó i E., Magyar Mőzes legendája, «Filológiai Közöny», Budapest, 1962, 1—2.

⁶⁹ Б. В. Са п у н о в, Некоторые соображения о древнерусской книжности, ТОДРЛ, XI, М.—Л., 1955, стр. 316.

⁷⁰ K i r á l y P., K otázke cyrilometodejských tradícií v Uhorsku: otázka hlaholských pamiatok, «Slovo», 21, 1971, стр. 296.

⁷¹ N a g y A., A kalocsai XI. századi érseksír leletei, «Művészettörténeti Értésítő», Budapest, 1968, стр. 120, 123.

к восточным славянам. Первый топоним с компонентом *orosz* — *Oroszfalu* «русская деревня» упоминается в 1208 г. То обстоятельство, что топонимы встречаются разбросанно, объясняется тем, что переселение древнерусов происходило в несколько этапов⁷². Так, например, известно, что жители села *Надьбороси* (*Nagyoroszi*) в комитате Ноград переселились в Венгрию во времена короля Кальмана⁷³. К этому же времени относится появление древнерусских по своему происхождению топонимов. Такими являются гидронимы в Трансильвании: *Бестерце* (*Beszterce*), *Радна* (*Radna*), *Красна* (*Kraszna*), *Чернавода* (*Csernavoda*) и *Стридь* (*Sztrigy*)⁷⁴. Часть переселенцев поселилась вдоль западной границы Венгрии. Жители поселения *Оросвар* (*Oroszvár*) защищали границы. Об их древнерусском происхождении свидетельствует и топоним *Олона долина* (1266), восходящий к древнерусскому прилагательному **olenjā* с характерным для древнерусского языка *o* на месте праславянского **je* в начальном слоге⁷⁵. В тех же поселениях, где имелось древнерусское население, можно предположить, хотя бы временно, употребление славянского богослужения.

Интересно, что телохранителей венгерских королей называли в средние века *оросами* (*orosok* «русские»). Что касается этнического состава телохранителей, то вероятным является, что их основной слой составляли древнерусы⁷⁶. Древнерусы могли приехать в Венгрию в дружинах древнерусских княгинь, которые вышли замуж за венгерских королей или князей. В их дружинах, кроме телохранителей, были представители феодальной знати, священники, монахи, монахини и т. п. Из династических бракосочетаний приведем только самые известные: Святослав Владимирович женился на дочери воеводы Михая (Михаила); жена воеводы Ласло — Сара была княгиня Премыслава; король Эндре I женился на дочери Ярослава Мудрого, Анастасии; вторая жена короля Кальмана (Коломана) — дочь Владимира Мономаха, Евфимия; дочь короля Ласло I вышла замуж за князя Ярослава Святополковича; князь Альмош женился на дочери князя Святополка, Предславе; жена короля Гезы II тоже киевская княгиня Евросиния, дочь великого князя Мстислава Владимировича.

Могли приехать древнерусские воины в Венгрию в составе дружин тех русских князей, которые или бежали в Венгрию, или приезжали как послы к венгерским королям. Так, например, известно, что Святослав Владимировича убили в Угорских горах (ок. 1015 г.), когда он бежал в Венгрию. С дипломатической целью в 1091 г. побывал в Венгрии Ярослав Святополкович, будущий зять короля Ласло I⁷⁷. Эти династические связи тоже могли повлечь за собой переселение из Киева в Венгрию и обратно. Так, например, известно из древнерусской письменности имя *Угринъ* и производное от него *Угриньць*. Известную под названием «Юрьевское евангелие» рукопись списал *Угриньць* ок. 1119 г. Запись в служебной книге XII в. (Гос. библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, № Соф. 188) свидетельствует о том, что в составлении рукописи участвовал и *Угринъ*⁷⁸. Может быть, *Угриньць* и *Угринъ* были потомками переселен-

⁷² M e l i c h J., A honfoglaláskori Magyarország..., стр. 157.】

⁷³ Там же, стр. 151.

⁷⁴ Там же, стр. 157—163.

⁷⁵ K n i e z s a I., Magyarország népei a XI. században, «Emlékkönyv Szent István király halálának kilencszázadik évfordulójára», II. Budapest, 1938, стр. 425; М о б р Е., Westungarn im Mittelalter, Szeged, 1936, стр. 39, 259, 261.

⁷⁶ G y ö r f f y G y., A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az orszáig, Századok, 1958/5—6, стр. 577.

⁷⁷ W e r t n e r M., Az Árpádok családi története, Nagybecskerek, 1892, стр. 205.

⁷⁸ И. И. С р е з н е в с к и й, Древние памятники русского языка и письма, 2-е изд., СПб., 1882, стлб. 50; Е. Э. Г р а н с т р е м, Описание русских и славянских пергаменных рукописей, Л., 1953, стр. 20.

цев, попавших в Киевскую Русь в составе дружин венгерских аристократов.

Дипломатические связи по своему характеру не оказывали влияния на массы населения, однако могли привести к культурному обмену в среде феодальной знати. В Вене хранится красиво вышитый кошель с кириллической надписью: по преданию он принадлежал венгерскому королю Иштвану I. П. Кирай, детально исследовавший кошель, установил, что последний вряд ли принадлежал Иштвану I, так как был сделан позже в Киевской Руси. Правдоподобно, что это сокровище древнерусского искусства попало в Венгрию в результате династических связей ⁷⁹.

Археологическими доказательствами венгеро-древнерусских связей являются те наперсные кресты, которые были найдены в Венгрии. Не исключена возможность, что они были принесены священниками древнерусских переселенцев домонгольского и монгольского периода ⁸⁰.

Подводя итоги нашим наблюдениям о существовании кирилло-мефодиевских традиций в Венгрии X—XII вв., можно установить, что они проявились там в результате деятельности славянского духовенства, которое осуществило практически миссионерскую деятельность греческой церкви. В определенных культурных центрах (в окрестности Залавара, в Среме, на территории Айтона, в Трансильвании) существовала славянская литургия. Надо предполагать ее существование и в тех поселениях, где имелось славяно-болгарское население. Славянская литургия употреблялась, кроме указанных выше территорий, в Тихане, Вишеграде и в тех местах, где поселились древнерусские переселенцы. Культурно-историческое значение кирилло-мефодиевских традиций состоит в том, что они свидетельствуют о ранних культурно-исторических связях венгров с соседними славянскими народами.

⁷⁹ K i r á l y P., Der sogenannte Beutel König Stephans I. von Ungarn, «Studia Slavica», Budapest, 1971, стр. 246—247; К и р а й П., Кириллические надписи на кошеле, принадлежавшем по преданию венгерскому королю Иштвану (Степану) первому, «Исследования по славянскому языкознанию», М., 1971, стр. 74.

⁸⁰ Zs. S. L o v a g, Byzantine type reliquary pectoral crosses in the Hungarian National Museum, «Folia Archeologica», Budapest, 1971, стр. 162.

МЕЛИКИШВИЛИ Д. Н.

К СТАНОВЛЕНИЮ ГРУЗИНСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Изучение древнегрузинской научной, и, в частности, философской, терминологии обусловлено не только растущим интересом к истории грузинского литературного языка. Оно имеет определенное значение и с точки зрения развития и усовершенствования современной грузинской научной терминологии.

Особенно богатый материал для изучения терминообразования дают письменные памятники XI—XII вв., когда, как отмечает К. Кекелидзе, «духовная литература... гигантскими шагами идет вперед и, обогащаясь новыми течениями и жанрами, достигает кульминации своего развития»¹.

В эту эпоху грузинская духовно-христианская литература особенно тесно сближается с византийским литературным миром. Проявляется особый интерес к произведениям богословского, естествоведческого и, наконец, собственно философского характера. Этот интерес не случаен. Новое прогрессивное движение в византийском мышлении было подхвачено крупнейшими грузинскими мыслителями XI—XII вв.— Иоанном Петрици и Арсением Икалтоели, получившими образование в Манганской академии. Грузинская философская мысль освоила и продолжила прогрессивную линию Манганской академии и после того, как в самой Византии этот «философский ренессанс» был подавлен реакционной политикой византийских кесарей и консервативными церковными кругами². Известно, что Иоанн Петрици был одним из самых верных учеников Иоанна Итала и в своих философских трудах он последовательно развивал мысли своего учителя.

В Грузии XI—XII вв. наблюдается большой интерес к античной философии, к ее первоисточникам, и в первую очередь к трудам Платона и Аристотеля. Часть грузинских мыслителей этого периода преклоняется перед Аристотелем, другая же превозносит Платона. «Борьба» между ними завершается тем, что в литературно-философских кругах Грузии того времени побеждает неоплатонизм, последователи которого стараются примирить аристотелизм и платонизм.

В этих условиях широкий размах приобретает переводческая деятельность. Старые переводы, являющиеся свободными переложениями, уже не удовлетворяют деятелей XI—XII вв.: их исправляют, сличая с греческими подлинниками, а то и вовсе переводят заново. Следует отметить, что имелись и довольно ранние переводы сочинений теолого-догматического и естествоведческого характера, так что термины, соответствующие основным философским понятиям, встречаются уже в этих ранних сочинениях, но специальные труды собственно философского характера интенсивно переводятся именно в XI—XII вв. Так, например, Георгий Мтацмидели (XI в.) заново переводит в прошлом уже переведенные сочинения Василия Кесарийского «Шестоднев» и Григория Нисского «Об устройении человека».

¹ К. Кекелидзе, История грузинской литературы, I, Тбилиси, 1960, стр. 60 (на груз. яз.).

² С. Каухчишвили, История византийской литературы, Тбилиси, 1963, стр. 250 (на груз. яз.).

Эти произведения экзегетического характера, как известно, сами по себе являются интереснейшими творениями естествоведческого цикла.

При сравнении переводов Георгия Мтацмидели с переводами его предшественников становится очевидным вклад этого выдающегося деятеля XI в. в развитие и обогащение грузинской естествоведческой терминологии. Часть терминов, как и можно было ожидать, совпадает у него с терминами, встречающимися в древних переводах (VIII—IX вв.). Такие термины, как, например, образованные посредством суффиксов творительного и обстоятельственного падежей, а также посредством разных деривационных аффиксов, присущи уже грузинской естествоведческой лексике раннего периода. Но чаще всего в тех случаях, когда Георгий Мтацмидели, правда по образцу греческого термина, образует отдельную лексему, в древнем переводе в соответствующем контексте вместо термина смысл передан словосочетанием, т. е. дается смысловой перевод (ср. *tyišobil* «саморождаемый» — *mšobeli tavisa tysisaj* «родитель самого себя»).

При создании терминов Георгий Мтацмидели исходит из их внутренней формы в греческом языке и старается точно передать содержание, используя возможности грузинского языка. Он часто строит термины, калькируя композиты греческого подлинника (например: *πολυώνθητον* — *travalnaṣevari* «многочленный», *πολυμερής* — *travalnaṣili* «составленный»). Древний термин *simkvrive* «плотность», который, кстати сказать, и ныне употребляется в том же значении, он заменяет новым, калькой с греческого *ἀντικλία* — *ṣinaaydgoma* «сопротивляемость»). Но это большей частью относится к сложным словам. Конечно, термины, созданные Георгием Мтацмидели, не всегда являются кальками. Довольно часто он использует распространенные в грузинском языке деривационные аффиксы (особенно суффиксы) для образования новых лексем.

В этот период грузинская научная терминология интенсивно обогащается. Она достигает высокой ступени в трудах Ефрема Мцире, который в смысле точности перевода превосходит своего предшественника. Он на деле с успехом развивает собственные переводческие принципы, которые изложил в предисловии перевода трилогии Иоанна Дамаскина «Источник знания». В принципе, переводом этого сочинения, а именно одной из его частей — «Философские главы» (или же, как их называли впоследствии, «Диалектика») и были заложены основы перевода на грузинский язык собственно философских сочинений, что и отмечает сам Ефрем в предисловии: «На наш язык доселе никогда не переводились философские книги». (Хотя, нужно отдать должное и Евфимию Мтацмидели, который задолго до Ефрема перевел одну из частей «Источника знаний» — «Предводитель», которую Ефрем в своем предисловии отмежевывает от переведенного им «Изложения».)

Если «Диалектику» («Философские главы») Иоанна Дамаскина Ефрем переводит, как и он сам отмечает, с той целью, чтобы «при помощи оного сыны церкви восстали против внешних (οἱ ἕξοι, *gareše*, светских, античных) философов и их же собственной стрелой поразили их», то перевод ареопагитских сочинений, трудов Псевдо-Дионисия Ареопагита, вызван глубоким интересом к философским взглядам неоплатоников.

В ту пору, как уже отмечалось выше, неоплатонизм получил широкое распространение в высших кругах грузинской просвещенной аристократии. Достаточно отметить, что выдающийся мыслитель XI—XII вв. Иоанн Петрици, кроме сочинения неоплатоника Немесия Эмесского «О природе человека» («Περὶ φύσεως ἀνθρώπου»), переводит фундаментальный в неоплатонической философии труд — знаменитый трактат «Στοιχείωσις θεολογική» («Первоосновы теологии»), автором которого является крупнейший представитель неоплатонизма, классик мировой философии, гречес-

кий философ V в. Прокл Диадох. К тому же Иоанн Петрици приложил к переводу собственные «Толкования» — комментарии к каждой главе трактата Прокла. В них он дал творческую переработку сочинения Прокла Диадоха и, как признано специалистами, сумел совместить глубочайшее знание философии Прокла с глубиной своих собственных философских умозрений.

Но интерес к неоплатонической философии этим не исчерпывается: еще один грузинский деятель XII в. Иоанн Тарихидзе переводит сочинения известного неоплатоника, ученика Прокла — Аммония Гермия. Сочинения эти — «Комментарии к „Введению“ Порфирия» и «Комментарии к 10 категориям Аристотеля». Эти переводы отличаются максимальной точностью философского слога и отвечают всем требованиям, которые поставил перед философским языком родоначальник так называемой «Петрицонской» литературной школы, основоположник грузинского философского языка Иоанн Петрици. В предисловии к «Толкованию» трактата Прокла он четко сформулировал свои взгляды на язык философских творений: для него как для писателя-философа главным является адекватная передача смысла высказываний, теории философского умозрения. При переводе философских сочинений, по мнению Иоанна Петрици, не пригодны ни язык обычных переводов, ни разговорный язык. Приступая к переводу и сочинению философских трудов, он задался целью создать для своих соотечественников язык, отличающийся от обычного разговорного, простого языка (ენაჲ, მესხვეჲ მდაბრიონთაჲ «язык, отличающийся от простонародного»). Дело в том, что язык самого Прокла, как отмечают специалисты, «является очень точным и, можно сказать, математически точным философским языком. Но зато эта точность дается ценой чрезвычайной краткости, когда выпущено все лишнее и выражения доведены до кратчайшей тезисной формы»³. Это, несомненно, создавало и сейчас создает крайние трудности в понимании языка Прокла. Поэтому можно себе представить, перед какой сложной проблемой стоял Петрици, задумав перевод данного трактата. Он старался излагать содержание сложных философских суждений как можно проще и яснее, но при этом остерегался излишнего упрощения языка. Вот что пишет он в так называемом «Послесловии» «Толкования»: «У нас обыкновение сочинять и украшать слог, когда переводится что-либо обычное и легкое, но при переводе трудных умозрительных и философских сочинений я считаю себя обязанным применять всяческую простоту и следовать особенностям языка [подлинника] до крайней степени, т. е. пока от чрезмерной простоты не наносится ущерб и не нарушается умозрение, так как в таких переводах все мои мысли направлены на умозрение и теории, касается ли [книга] логики или какого-либо учения, по физиологии ли она, или по богословию, как перед этим я счел себя обязанным поступить при обработке книги Немесия»⁴.

Ввиду такого взгляда на свою задачу Иоанн Петрици при переводе считал весьма важным правильный отбор языкового материала. Стремление со scrupulousной точностью передать все тонкости сложных упражнений неоплатонического умозрения приводит к тому, что он переводит дословно, создавая новые, адекватные греческому подлиннику термины, поскольку термины, выработанные прежними переводчиками, его не удовлетворяют. В результате этого, как справедливо отмечает Н. Я. Марр, «ему мы обязаны готовою философскою терминологиею на грузинском языке, замечательно точно и кратко передающею грузинскими корнями все

³ П р о к л, Первоосновы теологии, перевод и комментарий А. Ф. Лосева, Тбилиси, 1972, см. предисловие переводчика, стр. 24 (на русск. яз.).

⁴ Труды Иоанна Петрици, II (изд. и вступ. статья Ш. Нуцубидзе и С. Каухчишвили), Тбилиси, 1937, стр. 222 (на груз. яз.).

те термины, которые в европейских языках существуют в форме греческих или латинских заимствований»⁵.

Одним из основных требований Иоанна Петрици является то, что в философских сочинениях должны применяться однозначные термины. Петрици справедливо подчеркивает, что в ранних грузинских переводах одно и то же слово получало разные значения или же для одного и того же понятия применялись разные слова, а это ему очень мешало в процессе перевода. Он восторгается эллинистическим языком, в котором, как говорит, «все имеет свое название, соответствующее своей сущности», и желает создать на родном языке равный греческому по выразительности и определенности философский слог.

Требования Иоанна Петрици к языку философского произведения сводятся к следующему: 1) для правильной и точной передачи философского умозрения необходимо выработать специальный язык, отличающийся от обычного, простого языка, что подразумевает в первую очередь создание философской терминологии; 2) для этого нужно постичь искусство языка (обороты языка, объяснение слов, правильное сочетание глагола и имени ...); 3) для правильного понимания смысла необходимо строго соблюдать правила пунктуации и чтения.

Принципам Иоанна Петрици следует его современник и единомышленник, известный мыслитель XI—XII вв. Арсений Икалтоели. С целью приблизить перевод к подлиннику и со скрупулезной точностью передать смысл философского построения он заново переводит «Диалектику» Иоанна Дамаскина, всего несколько лет спустя после Ефрема Мцире. Этот повторный перевод «Диалектики» был вызван тем, что перевод Ефрема в смысле точности не отвечал требованиям «Петриционской школы». И в самом деле, перевод Ефрема, несмотря на то, что он также требовал адекватного перевода подлинника (и даже создал собственную теорию перевода), уступает переводу Арсения Икалтоели⁶.

Хотя некоторые неточности носят в переводе Ефрема стилистический характер, а другие, возможно, являются результатом толкования того или иного контекста, большая часть расхождений с греческим подлинником все же оказывается результатом неточной передачи Ефремом специальных терминов (в случаях, когда один и тот же греческий термин в его переводе получает разные эквиваленты, и наоборот). В то же время иногда вместо термина представлен смысловой перевод, т. е. целое словосочетание. Часто это происходит из-за полисемантической самого соответствующего греческого термина. Именно против полисемантизма и синонимии в терминологии выступает Петрици, сетуя на то, что в ранних грузинских переводах не обращали должного внимания на смысловое различие разных понятий, передавая их одним и тем же словом. Так, в толковании 50-й главы «Первоосновы теологии», где речь идет о «вечном», с одной стороны, и «об измеряемом времени», с другой, Петрици касается вопроса передачи греческих терминов *χρόνος* «время» и *καιρός* «пора» на грузинском языке. По этим замечаниям можно судить о том, какое большое значение придает Петрици точному переводу философского термина для адекватной передачи смысла «теории». Он обращается к читателю и просит его понять различие между *χρόνος* и *καιρός*, которые на грузинском языке передаются одним и тем же словом *zati* «время», тогда как слово *zati* является выражением понятия *καιρός*, а это последнее является только частью понятия *χρόνος*.

⁵ Н. Я. Марр, Иоанн Петрицкий, грузинский неоплатоник XI—XII века, СПб., 1909, стр. 35.

⁶ См.: Иоанн Дамаскин, Диалектика, изд. текста и исследование М. Равава, Тбилиси, 1976 (на груз. яз.).

В философских сочинениях Петрици требует использования однозначных терминов. По его мнению, каждому понятию должен соответствовать один термин. Тот же термин для другого, хотя бы даже близкого по содержанию понятия, не должен применяться. Все свои силы Иоанн Петрици направил именно на создание такой системы грузинской философской терминологии, которая исключала бы омонимию и синонимию.

Благодаря своему глубокому познанию, большой эрудиции и исключительному языковому чутью, гибко используя самые различные, существовавшие в грузинском языке способы словообразования, Иоанн Петрици разработал богатую, последовательную систему грузинской философской терминологии. Изучая эту терминологию, как отвечал еще Н. Я. Марр, «можно только удивляться тем неисчерпаемым ресурсам, тем прямо-таки чародейским силам, которыми он располагал, чтобы с избытком находить в грузинской речи материалы для передачи всех трудностей в высшей степени отвлеченной и сложной диалектики»⁷.

Примеру Иоанна Петрици последовал ряд деятелей XI—XII вв., представители так называемой «Петрицианской школы», в том числе и Иоанн Таричидзе, автор перевода комментариев александрийского неоплатоника Аммония Гермия. Иоанн Таричидзе, следуя принципам родоначальника своей литературной школы, по внутренней форме греческих терминов, руководствуясь правилами словообразования родного языка, создает строго систематизированную грузинскую философскую терминологию. Заметный вклад в формирование грузинской научной терминологии внесли и другие представители «Петрицианской школы», среди них: Иоанн Чимчимели, Иезекиели, Николоз Гулаберидзе, Петре Гелатели и др. К сожалению, нужно отметить, что философская терминология, созданная деятелями этой школы, не нашла развития и применения в последующие столетия (имеем в виду XIV—XV вв.) в связи с упадком грузинской литературы, вызванным тяжелыми бедствиями, постигшими Грузию, начиная с нашествия монголов в XIII в.

Но с XVI в., в период «возрождения» грузинской литературы (XVI—XVIII вв.) возродился особый интерес и к философии. Начали изучать и заново переводить эллинистических философов. В этот период растет интерес к трудам основоположника грузинского философского языка Иоанна Петрици, пользовавшегося большим авторитетом. Деятели XVII—XVIII вв. хотя и считали сложным его язык, но тем не менее всячески старались подражать ему, называя этого «божественного философа» (*saurntoj pilosoposi*) «солнцем языка грузинского» (*kartulisa enisa mze*). Известный грузинский деятель XVIII в. Антоний I считал язык Иоанна Петрици блестящим образцом «высокого стиля». Антоний и его последователи подражали этому стилю в той мере, в какой это было возможно в XVIII в., спустя семь веков. Правда, язык представителей этой школы насыщен искусственными формами, псевдоархаизмами, сложнейшими синтаксическими конструкциями, но несмотря на эти очевидные недостатки, его влияние оказалось для сферы терминообразования весьма благоприятным. В научных трудах (по философии, логике, риторике, грамматике и т. д.) этого времени усматривается продолжение линии древнегрузинских мастеров слова.

Эта линия преемственности продолжается и поныне. В современной грузинской научной (и не только научной) терминологии с успехом используются новообразования, построенные в соответствии с принципами и моделями, разработанными древнегрузинскими авторами. Чаще всего это происходит произвольно, вне специального изучения древнегрузинской

⁷ Н. Я. Марр, указ. соч., стр. 34.

научной терминологии, ее техники, что свидетельствует о том, насколько эти типы внедрились в грузинскую научную речь и насколько они стали естественными, общеупотребительными, обиходными.

Принципы терминообразования, которыми руководствовались древнегрузинские мастера слова, отвечают требованиям общих правил деривации в грузинском языке:

1. Созданные ими модели не противоречат словообразовательным тенденциям грузинского языка.

2. Используемые ими типы словообразования продуктивны как в современном им языке, так и с точки зрения тенденций развития грузинского языка.

Так, например, образование терминов абстрактного значения от самых различных частей речи и производных слов посредством аффиксов *-oba*, *-eba*, *si-e* — весьма распространенный способ в современной грузинской научной речи (*snob-ier-eba* «сознание», *zop-ier-eba* «бытие», *xan-ad-oba* «растворимость», *kmn-ad-oba* «становление», *ra-oba-* «сущность», *si-mravl-e* «множество» и т. п.). Разнообразные, но строго установленные правила создания композитов, выработанные в грузинском языке в течение многих столетий, развитые и усовершенствованные литературными деятелями XI—XII вв., и поныне дают возможность образования новых терминов различных отраслей науки и техники.

3. Модели, калькированные с греческих композитов, не чужды и грузинскому языку. Термины-композиты, образованные в свое время посредством калькирования с греческого, внедрились в грузинскую речь, и ныне эти модели дают возможность образования целого ряда новых научных терминов. Так, например, композиты типа *αὐτόεν* — *tyterti* «единый-в-себе», *αὐτοβόστατος* — *twtmdgomi* «самодовлеющее», *αὐτοαγαθόν* — *twiketiloba* «благо-в-себе» или типа *συνθετός* — *tanšedgmuli* «составленный», *συγγραφεύς* — *tanłomi* «однородный» и т. п. довольно распространены в современной грузинской научной терминологии (например: *twitmokmedi* «самодействующий, самодеятельный», *twitgamorkveva* «самоопределение», *twitdineba* «самотечение», *tanamimdevruli* «последовательный», *tanapardoba* «соотношение», *tanaarseboba* «сосуществование» и т. п.).

4. Употребление непродуктивных, древних аффиксов, которые по сравнению с узуальными аффиксами придают слову терминологическую окраску, оправдано. В словообразовании современного грузинского языка применяется древний, «мертвый» суффикс *-ed*, посредством которого образован целый ряд терминов типа *xutčl-ed-i* «пятiletка», *atčl-ed-i* «десятилетка», *užr-ed-i* «ячейка, клетка», и т. д.

Редко встречается древнее, непродуктивное образование причастных форм, как, например, *ma-sn-e* «вестник», *mo-zrav-i* «движущийся», *mo-azr-ovn-e* «мыслящий» и т. д. Данный принцип мог бы найти более широкое применение в терминообразовании современного грузинского языка.

5. Принципы образования научных терминов допускают также оформление того или иного корня несвойственным ему аффиксом. Этот способ словообразования позволяет отличать термин от слова того же корня с обычным оформлением. Например, *si-čet-e* «доброта», а *ketil-oba* философ. «благо». Этим принципом, правда редко, и сейчас пользуются при образовании специальных терминов (*mčar-oba* «твердость» вместо обычного *si-mčar-e*, *savse-oba* «полнота» вместо *si-savs-e*).

6. В качестве термина-субстантива допускается использование несклоняемой части речи (глагола, наречия, послелого, союза, частицы, междометия, т. е. всякой, в том числе и падежной формы), снабженной флексией им. падежа *-i/-j*, ср.: *ars-i* «сущность, сущее» от глагольной формы *ar-s* «есть», *iqo-j* «шрошедшее» от *iq-o* «был», *aka-j* «этот, материальный мир»

от наречия *ака* «здесь», *типа-ј* «тот, метафизический мир» от наречия *тин* «там». Эту особенность грузинского языка, являющуюся одним из известных способов грузинского словообразования, отмечал еще грузинский писатель и общественный деятель XIX в. Илья Чавчавадзе⁸. Ее особенно подчеркивает А. Шанидзе в своих «Основах»⁹. Этот способ, таящий в себе практически неисчерпаемые возможности, также не находит широкого применения в словообразовании современного грузинского языка.

7. Что же касается деklinационных суффиксов, а именно, флексий родительного, творительного и обстоятельственного падежей (*-is*, *-it*, *-ad*), а также послелогов *-mier*, *-gan*, *-šoris*, *-ebr*..., то употребление их в качестве деривационных аффиксов ныне стало уже нормой грузинского словообразования (*grznob-ad-i* «чувственный», *xedv-it-i* «теоретический», *sičqyreb-it-i* «словесностный», *sičqys-mier-i* «словесное», *badis-ebr-i* «сетчатый», *uzred-šoris-i* «межклеточный»). Отметим, что этот способ словообразования, издавна существовавший в грузинском языке, ввели в практику литературного языка именно авторы XI—XII вв.

Таким образом, словообразование, как оно представлено у древних мастеров грузинского переводческого искусства, является прекрасным примером чрезвычайно гибкого использования языкового материала для обогащения лексики родного языка. Оно весьма поучительно и с точки зрения изучения самой техники образования научных терминов. Лексика древних философских трудов ценна и тем, что она является источником для обогащения современной грузинской научной, в частности философской, терминологии.

⁸ Илья Чавчавадзе, «Вот история», Собр. соч., V, Тбилиси, 1927, стр. 95 (на груз. яз.).

⁹ А. Шанидзе, Основы грузинской грамматики, I, Тбилиси, 1953, § 98, стр. 77 (на груз. яз.).

[БОРИСОВА Е. Н.]

**О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СЛОВАРНОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА КОНЦА XVI—XVIII вв.**

Хотя сдвиг в области исследования исторической лексикологии восточнославянских языков наметился после выхода в свет книги Ф. П. Филина «Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи»¹, однако еще примерно около двадцати лет назад историческая лексикология признавалась учеными наименее исследованной областью (по сравнению с фонетикой, морфологией и синтаксисом)². За последние десятилетия были исследованы многочисленные памятники деловой письменности, созданные на разных территориях Русского государства; появились работы, способствовавшие накоплению сведений о словарном составе русского языка XVI—XVIII вв.³

Наиболее полно сведения о словарном составе русского языка XVI—XVII вв. представлены пока в Картотеке ДРС, одной из крупнейших словарных картотек нашей страны. Для нас особенно важен тот факт, что именно на XVI—XVII вв. (слабо представленные в имеющихся исторических словарях) приходится значительная часть памятников, расписанных в Картотеке, памятников, отразивших народно-разговорный язык, а также язык средневековой поэзии. Картотека ДРС включает в себя, как известно, также богатейшие материалы, относящиеся к XVIII в, особенно к первой его четверти. Ни одно серьезное исследование в области исторической лексикологии невозможно в наше время без учета данных Картотеки ДРС XI—XVII вв.; ценность последней возрастает с пополнением ее новыми материалами из актов и др. письменности. Публикация «Словаря русского языка XI—XVII вв.» должна, на наш взгляд, явиться серьезным стимулом для активизации исследований по лексике русского языка XVI—XVIII вв.

Пока еще немногочисленны работы, посвященные систематическому описанию словарного состава русского языка на протяжении всего того периода, который принято считать временем становления русского нацио-

¹ Ф. П. Ф и л и н, Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи (по материалам летописей), Л., 1949 («Уч. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена», 80, Кафедра русского языка).

² См.: «Доклады советских лингвистов на международном совещании славяноведов в Белграде», ВЯ, 1955, 6, стр. 134—136.

³ См.: Б. Л. Б о г о р о д с к и й, Русская судоходная терминология в историческом аспекте. АДД, Л., 1964; Е. М. И с с е р л и н, Лексика русского литературного языка II половины XVII в. (По материалам переводных и других памятников «среднего стиля»). АДД, Л., 1961; О. Г. П о р о х о в а, Лексика сибирских летописей XVII в., Л., 1969; С. И. К о т к о в, Очерки по лексике южновеликорусской письменности XVI—XVIII веков, М., 1970; С. С. В о л к о в, Лексика русских челобитных XVII века, Л., 1974; Е. Н. Б о р и с о в а, Лексика Смоленского края по памятникам письменности, Смоленск, 1974; и др.

нального языка ⁴. Лучше в этом плане изучен XVIII в. Только за последние годы появилось несколько монографических исследований словарного состава русского литературного языка этого периода, основанных на фундаментальном фактическом материале ⁵. Появление этих работ значительно облегчает положение исследователей, занимающихся изучением лексической системы русского языка периода становления его как языка нации. Однако процесс становления и развития лексической системы русского национального литературного языка настолько сложен, многообразен и нередко противоречив, что потребуются еще усилия и отдельных ученых, и целых коллективов, чтобы воссоздать этот процесс максимально полно и объективно.

Как известно, одним из условий развития словарного состава в разные его периоды является пополнение словаря новыми лексемами, а также изменение семантики имеющихся в нем слов. Рост словарного состава осуществляется как за счет активизации словопроизводства на базе наличного материала, так и за счет заимствований из других языков и в свою очередь путем расширения словообразовательной базы через вовлечение в словообразовательные и семантические процессы заимствованной лексики. В связи с этим освещение вопроса о лексических и семантических новообразованиях и заимствованиях в русском языке в период XVI—XVIII вв. можно считать одним из важнейших в плане решения проблемы становления и развития русского национального литературного языка. Вовлечение в научный оборот не исследованных до сих пор памятников письменности различных жанров позволяет судить о поистине фантастическом размахе в сфере словотворчества русских людей исследуемой эпохи, особенно в XVIII в. Новые источники, опубликованные и рукописные, сообщают нам новые факты, свидетельствующие о том, что в создании, например, словаря научного языка участвовали не только ученые, писатели, но и просто образованные люди. Очевидна, на наш взгляд, необходимость максимально возможного расширения круга источников конца XVI—XVIII вв., относящихся к различным русским регионам, где «искусство неологии» было развито, видимо, не меньше, чем в центральных областях ⁶. Исследование непосредственно письменных источников этого времени необходимо прежде всего потому, что существующие лексикографические собрания XVII—XVIII вв. отражают лишь часть лексики, функционировавшей в указанные эпохи. Последнее обстоятельство еще более осложняет проблему выявления лексических новообразований XVI—XVIII вв., особенно XVI—XVII вв.

Наибольшие затруднения вызывает выявление и датировка новообразований, появившихся в сфере народно-разговорного языка. Если новые

⁴ В определении нижней границы начального этапа процесса становления русского национального литературного языка мнения лингвистов, как известно, расходятся: одни относят ее к середине XVI в., другие — к середине или даже к концу XVII в. См. по этому поводу: Б. А. Л а р и н, *Разговорный язык Московской Руси, «Начальный этап формирования русского национального языка»*, Л., 1961 стр. 25.

⁵ См.: В. В. В е с е л и т с к и й, *Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в.*, М., 1972; Е. Э. Б и р ж а к о в а, Л. В. В о й н о в а, Л. Л. К у т и н а, *Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования*, Л., 1972; Г. П. К н я з ь к о в а, *Русское просторечие второй половины XVIII в.*, Л., 1974; И. М. М а л ь ц е в а, А. И. М о л о т к о в, З. М. П е т р о в а, *Лексические новообразования в русском языке XVIII в.*, Л., 1975; В. В. З а м к о в а, *Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII в.*, Л., 1975.

⁶ По-видимому, продолжает оставаться актуальным вопрос о создании региональных словарей старорусской письменности или во всяком случае материалов для таких словарей, так как ни один словарь исторического жанра не может охватить богатейшую русскую письменность, созданную на территориях различных регионов.

слова книжно-литературного характера возникали в процессе письменного творчества и поэтому находили первоначальное отражение в памятниках письменности, а затем распространялись в устную речь, то путь слов, создававшихся в народно-разговорном языке, как раз обратный. Естественно, последние могли в течение длительного времени бытовать в языке без фиксации их лексиконами и словарями и лишь изредка попадать в памятники письменности, преимущественно региональные. В нашем распоряжении немало слов, выявленных в смоленской деловой письменности последней четверти XVI—XVIII вв. и не получивших отражения в других регионах, как можно судить по данным Сл. РЯ XI—XVII вв. и данным Картотеки этого словаря. Разумеется, в эти наши наблюдения будут внесены коррективы, после того как появятся новые исследования по лексике старовеликорусской письменности; расширение круга источников Сл. РЯ XI—XVII вв. также будет способствовать уточнению наших и других сведений о лексическом составе русского языка XVI—XVII вв. Пока же мы считаем маловероятным тот факт, что слово *пушкарizza*, например, попало лишь в один из смоленских памятников письменности XVII в.⁷ (ни в одном из словарей русского языка оно не нашло отражения).

Многочисленны списки слов, возникших в сфере народно-разговорного языка и включенных в словари спустя 100—400 лет после фиксации их в памятниках письменности. Приведем лишь две иллюстрации. Слово *малолетка* «ребенок, маленькая девочка» встретилось нам в смоленском деловом документе 1610 г.⁸ В дальнейшем *малолетка* «ребенок, дитя» с пометой *разг.* находим в «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова (ТСУ). Слово *стрельчица*, фиксируемое памятниками письменности с начала XVII в.⁹, также попало в словари лишь в XX в. (см. ТСУ и ССРЛЯ), причем не исключен в данном случае факт вторичного появления этого слова в XX в.¹⁰ Фиксацию в словарях слова *умелый* (впервые отмечает его Даль) от появления этого слова в письменности отделяет около четырех столетий: в Картотеке ДРС XI—XVII вв. оно засвидетельствовано в текстах двух памятников конца XV и XVI вв. (Библ. Генн. 1499; Каз. ист., л. 58, XVI в.).

Общезвестно, что в процессе демократизации русского литературного языка в период становления его как языка нации в его словарный состав вошло огромное количество слов из народно-разговорного источника. Это и отдельные слова из разных тематических групп, и целые словообразовательные группы. Материалы деловой письменности XVI—XVII вв. позволяют внести коррективы в существующие представления о продуктивности в этот период образований, возникших на базе суффиксов, связанных по своему происхождению с народно-разговорной основой¹¹.

Проблема обогащения словарного состава формирующегося русского национального литературного языка средствами из народно-разговорного

⁷ См.: «Памятники обороны Смоленска 1609—1611 гг.», изд. Ю. В. Готье, М., 1912, № 239. В Картотеке ДРС слово пока не зафиксировано.

⁸ Там же, № 241. В Картотеку ДРС это слово еще не включено.

⁹ Там же, № 145 и др. В Картотеку ДРС слово *стрельчица* отмечено в одном деловом документе XVII в. и двух памятниках начала XVIII в. (АМГ III. 502, 1662; Зап. Мав. 32, нач. XVIII в.; Зап. Жел., 127, 1709).

¹⁰ В ТСУ и ССРЛЯ (т. 14) слово *стрельчица* снабжено цитатами из исторических романов А. Н. Толстого и Злобина.

¹¹ Принято считать, что время словообразовательной продуктивности отвлеченных имен на *-а* выходит за пределы XVII в. (см.: «Суффиксальное словообразование существительных в восточнославянских языках XV—XVII вв.», М., 1974, стр. 173—174). Однако данные Сл. РЯ XI—XVII вв. и его Картотеки, а также материалы смоленской деловой письменности позволяют думать, что в XVI—XVII вв. продуктивность указанной группы была довольно высокой. Серьезные коррективы могут быть внесены также в историю образований на *-щик*, *-чик*, *-ин-а* и др.

источника пока ждет своего решения. Историческая лексикология не располагает в настоящее время достаточными данными для решения проблемы лексических новообразований в составе разрядов слов, совпадающих по своей словообразовательной структуре в книжно-литературном и народно-разговорном языках, но являющихся наиболее продуктивными в последнем¹². Видимо, этим обстоятельством можно в какой-то степени объяснить необоснованное заявление Б. Уйбегауна о том, что современный русский литературный язык свободен от глубоких связей с русской народно-речевой почвой и всеми «сокровищами родного слова» обязан языку церковно-славянскому¹³.

Пока еще не выяснена в достаточной степени роль народно-разговорного языка в формировании русской научной терминологии. Известно, что образования с суффиксами субъективной оценки во все времена составляли его характерную особенность. В связи с этим подобные слова почти не нашли отражения в древнерусской письменности старшей поры, в основном культовой. Материалы деловой письменности XVI—XVIII вв. показывают, насколько широко пользовался народно-разговорный язык суффиксальными образованиями для выражения уменьшительности, ласкательности, уничижительности. Однако разговорная лексика такого характера все-таки сравнительно редко попадала в памятники литературного языка, поэтому огромное количество слов с суффиксами субъективной оценки, функционировавших, как можно предполагать, издавна в русском языке, не находило отражения в лексикографических трудах до середины XVIII в. Положение меняется отчасти во второй половине XVIII в., когда такие слова все чаще попадают в лексиконы и словари. Однако многие из них оставались бы, по-прежнему, лишь принадлежностью устно-разговорной речи, если бы авторы научных книг, переводчики научных трудов не обратились к этому богатейшему источнику. Вовлеченное в процесс метафоризации, активно действовавший в научном языке в период его становления, приспособленное в качестве ботанических, физиологических и других терминов, огромное количество образований с суффиксами субъективной оценки, а также образований с другими чисто русскими по происхождению суффиксами народно-разговорного характера приобрело права литературного гражданства. Важно отметить при этом, что значительная часть слов, послуживших базой для создания подобных терминов, появилась в русском языке до XVIII в. Об этом свидетельствуют материалы Картоотеки ДРС и Сл. РЯ XI—XVII вв., данные региональной деловой письменности. Однако о времени появления в языке многих прототипов этих терминов можно только догадываться.

Приведем лишь одну иллюстрацию. Синонимичные слова *скачок* — *прыжок* широко используются в современном русском литературном языке в философских и других произведениях, со значением «резкое, без промежуточных постепенных переходов изменение в чем-либо, в развитии чего-либо» (см., например, у В. И. Ленина: «Русский народ совершил гигантский скачок — прыжок от царизма к Советам»¹⁴). Это переносное значение слова *скачок* — *прыжок* приобрели в научном языке XVIII в. (в упо-

¹² Укажем лишь на один из этих разрядов. Данные Сл. РЯ XI—XVII вв. и Картоотеки этого словаря, смоленской деловой письменности XVI—XVIII вв. свидетельствуют о пополнении словарного состава русского языка в этот период значительным количеством отвлеченных бессуффиксных имен, образовавшихся от глагольных основ. Значительная часть этих новообразований, возникших преимущественно в народно-разговорном языке, составила в дальнейшем нейтральный и разговорно-просторечный пласт русско-го национального литературного языка.

¹³ См. об этом: В. В. В и н о г р а д о в, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2, стр. 8—9.

¹⁴ В. И. Л е н и н, Полн. собр. соч., 35, стр. 239.

мянупом ниже переводе «Созерцания природы» Ш. Бонне они употреблены для обозначения резких изменений в природе). Вместе с тем разыскания показали, что оба слова сравнительно недавно проникли в письменный язык. Если слово *скачок* получило некоторое, хотя и очень слабое, отражение в старовеликорусской письменности до XVIII в., то слово *прыжок*, вместе с производящими *прыгать* — *прыгнуть*, не засвидетельствовано ни в «Материалах» И. Срезневского, ни в Картоотеке ДРС, ни в наших источниках XVI—XVII вв. Первую лексикографическую фиксацию слово *прыжок* получило в словаре Нордстета 1780—1782 гг., *прыгать* и *прыгнуть* — в Российском Целлариусе 1771 г. Раньше других зафиксированы слова *выпрыгнуть*, *прыгание*, *подпрыгивать*, *попрыгивать* — в Вейсмановом лексиконе 1734 г.

Легче решается вопрос о лексических новообразованиях, созданных при помощи словообразовательных средств, присущих преимущественно книжно-литературному языку, так как такие слова обычно находят отражение в письменности¹⁵. Разрыв между временем появления в письменной речи подобных образований и включением их в словари, как правило, короче, чем для слов народно-разговорного происхождения, но и здесь он может иногда составить столетие или больше (ср., например: *проникновение* — в Картоотеке ДРС с XVI в., затем —ТСУ).

Образование многих новых слов происходит в XVII—XVIII вв. в деловом языке, однако еще более активно этот процесс протекает в сфере научного языка. Как известно, XVIII в. — период интенсивного сложения, формирования языка русской науки, в котором принимают участие ученые, писатели, переводчики и т. д. Количество лексических и семантических неологизмов, возникших в XVI—XVIII вв. как в деловой письменности, так и особенно в сфере научного языка (преимущественно в XVIII в.), огромно и пока что не поддается подсчету, так как в научный оборот не вовлечены еще многочисленные источники этого времени, как рукописные, так и опубликованные. Кроме того, исследователи словарного состава русского языка исследуемой эпохи сосредоточивают свое внимание, как правило, на определенных тематических или словообразовательных группах, в связи с чем масса материала и в вовлеченных в научный обиход источниках остается пока неизвестной. Так, например, слабо изучен пласт сложных слов, появившихся в указанные периоды. Изучение этой группы слов важно еще и потому, что тип сложных образований, особенно аффиксально осложненных, некоторые исследователи связывают с церковнославянским языком. Такое утверждение, как справедливо отмечает Ф. П. Филин, не соответствует действительности¹⁶. Сложные слова различного строения и образования мы отмечаем в деловой письменности XVI—XVII вв., однако их количество особенно возрастает в языке XVIII в. В XVIII в. словосложение, по мнению авторов специальных исследований, получило распространение в высоких стилях и жанрах: в одах, трагедиях и торжественных речах. Употребление композитов в сфере языка науки они относят ко второй половине XIX в.¹⁷ Это мнение основывается, видимо, на позднем отражении значительной части сложных слов, возникших в XVIII в., словарями. Исследование переводов научных книг XVIII в., сопоставление выявленного материала с данными оригинальных научных произведений этого времени показывают, что в процес-

¹⁵ Последним посвящена (в значительной части) упомянутая выше монография «Лексические новообразования в русском языке XVIII в.»

¹⁶ Ф. П. Ф и л и н, О генетическом и функциональном статусе современного русского литературного языка, ВЯ, 1977, 4, стр. 16.

¹⁷ См.: Е. А. В а с и л е в с к а я, Словообразование в русском языке, М., 1962, стр. 124.

се формирования языка русской науки учеными и переводчиками было создано огромное количество разнообразных по структуре и способам образования сложных слов, призванных выполнить функцию научных терминов. Особенно часто композиты встречаются в составе терминологий, формирование которых совпадает с этим периодом (ботанической, физиологической, анатомической и др.). Поиски подходящего термина приводили к созданию десятков синонимичных сложных образований. Ср., например, синонимичные композиты, обозначающие строение живого организма и выявленные нами в переводе «Созерцания природы» швейцарского естествоиспытателя Ш. Бонне (перевод осуществлен И. Виноградовым в 1792—1804 гг.): *телорасположение, телосложение, телоустройство, членосложение, членоустройство, телообразование, членосоставление, частеустройство, частеустройство, частеустройное совершенство, частесоставное совершенство, частесоставление, удосложение, орудостроение, орудоустройство* и др. Многочисленны композиты со второй частью *-видный, -образный* и др., сложные слова с суффиксом *-тель*, например: *телоразъятель, трупоразъятель, удораздробитель, телорассекатель, членораздробитель, членоразъятель; луножитель, запасоснабдитель, пчелолюбитель, естествоиспытатель, имянонарекатель, травосведатель, горокопатель* и т. д.

Следуя логике Б. О. Унбегауна, эти и подобные образования (в научных книгах второй половины XVIII в. их множество, в том числе и таких, которые закрепились в современном русском литературном языке) — церковнославянизмы, по терминологии Хютль-Ворт — неославянизмы¹⁸. Издавна существует для обозначения книжных и похожих на них образований также термин «славянорусизм». Вместе с тем все это — новообразования, созданные в русском языке, вызванные к жизни стремительным развитием науки и связанным с ним процессом формирования русской общенаучной и специальной терминологии¹⁹.

С проблемой новообразований в русском языке исследуемой эпохи тесно связан вопрос о частотности употребления в источниках новых слов. По последнему признаку новообразования принято делить на: 1) слова, которые в изучаемый период (или в дальнейшем) получают широкое распространение в языке; 2) слова разовые по употреблению, окказиональные; 3) слова, образующие промежуточный по своему положению слой так называемой «потенциальной» лексики, которая используется по мере того, как возникает потребность в этих словах, и употребление которой в отличие от окказиональной лексики не является нарушением нормы²⁰. Образование последних двух типов слов исследователи считают особенно ха-

¹⁸ См.: Г. Х ю т л ь - В о р т, Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка, «American contributions to the VI international congress of slavists, The Hague, 1968, August, 7—13», I, стр. 97 и далее.

¹⁹ «Еще с XVIII в. установилась традиция называть книжные и на них похожие образования „славянорусизмами“. Термин этот был крайне расплывчатым уже в XVIII в. (в славянорусизмы зачислялись архаизмы любого происхождения, в том числе исконно русские слова, греко-латинские и западноевропейские заимствования), а с современной научной точки зрения он ничем не оправдывается. Даже в тех случаях, когда церковнославянский признак в слове несомненен (например, неполногласие), вряд ли оправдана постановка на первое место компонента „славяно-“ (т. е. „церковнославяно-“). Разумеется, формальные признаки слова для лексикологии очень существенны, но определяющим в слове является его лексическое значение (основа заключенной в нем информации) и среда (язык, диалект), в которой слово возникло или приобрело новую семантику. Недавно предложенный термин „неославянизм“ и вовсе не годится, так как в нем заключена оценка слов типа *луноход* и *истребитель* как новых церковнославянизмов по чисто формальным... признакам» (Ф. П. Ф и л и н, О генетическом и функциональном статусе современного русского литературного языка, стр. 16—17).

²⁰ См.: И. М. М а л ь ц е в а, А. И. М о л о т к о в, З. М. П е т р о в а, указ. соч., стр. 6.

рактерным для XVIII в.²¹, и это действительно так²². Однако число неологизмов, квалифицируемых сейчас как окказиональные или потенциальные, значительно, на наш взгляд, уменьшится, после того как будут более тщательно изучены письменные источники XVIII в. В научных книгах последних десятилетий XVIII в. можно обнаружить немало новообразований, используемых авторами этих книг (или переводчиками) в качестве научных терминов, но не попавших в словари XVIII, XIX вв., хотя многие из этих терминов употреблялись в научных произведениях и в начале XIX в. Учет их необходим, так как они могли характеризовать определенные тенденции словообразования и словосложения, отражать поиски новых и недостающих звеньев в составе научной терминологии.

Проблема заимствований для русского языка XVII—XVIII вв. является одной из важнейших историко-лексикологических проблем. Заимствованная в этот период лексика нашла отражение в целом ряде исследований, в специальных словарях²³. Вместе с тем, как справедливо отмечается, круг источников, на основании которых составляются сейчас представления о заимствованиях, в частности в XVIII в., узок, произволен по выбору и неоднороден по отношению к различным периодам этого века, а последнее обуславливает и неполноту перечня возможных заимствований²⁴. Книга Е. Э. Биржаковой, Л. А. Войновой, Л. Л. Кутиной в значительной степени восполняет этот пробел: в ней исследуется огромный материал, извлеченный для Картотеки Словаря XVIII в. из самых разнообразных в жанровом и хронологическом (в пределах XVIII в.) источников. Кроме того, в работе успешно решаются многие теоретические вопросы, связанные с проблемой заимствования русским языком XVIII в. иноязычной лексики. Таким образом, в настоящее время имеется большая литература по заимствованиям, собран и в том или ином плане рассмотрен огромный фактический материал. Так, авторы названной монографии приводят внушительные статистические данные: по их материалам, которые они не считают полными, общее число заимствований в XVIII в. составляет около 8500 единиц. Число дериватов от слов, заимствованных в XVIII в., состоит почти из 3000 единиц. К сожалению, в книге представлена лишь часть слов, «еще не являвшихся предметом рассмотрения исследователей иноязычной лексики XVIII в.», часть, по мнению авторов, наиболее интересная, с точки зрения истории и теории заимствований²⁵.

Для более полного освещения проблемы заимствований в XVII—XVIII вв. необходимо, на наш взгляд, вовлечение в научный оборот новых источников. Так, например, исследование смоленской деловой письменности конца XVI—XVIII вв., а также произведений других жанров, созданных на территории Смоленского края, позволяет значительно пополнить имеющееся сейчас собрание заимствований и дериватов от них, возникших на русской почве, в ряде случаев уточнить время появления в рус-

²¹ Там же.

²² В переводе «Созерцания природы» Ш. Бонн мы выявили целые группы слов, не обнаруженных пока в других источниках XVIII в. и в исследованиях, посвященных этому периоду. Наряду с лексическими окказионализмами нередки в переводе И. Виноградова и семантические неологизмы такого рода. Ср., например, употребление слов *домовитость*, *домостроение*, *домосбережение*, *тщательность*, *тщальность*, *тщание* и др. в качестве синонимов слова *экономия*, используемого И. Виноградовым в значениях «жизнь и нравы животных», «строение живого и растительного организма». Не исключено, однако, что в неисследованных источниках обнаружится аналогичное употребление приведенных слов.

²³ См. перечень этих источников в книге Е. Э. Биржаковой, Л. А. Войновой, Л. Л. Кутиной «Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования», стр. 15—18.

²⁴ Там же, стр. 19.

²⁵ Там же, стр. 84 (примеч.).

ском языке слов, относимых исследователями и авторами этимологических словарей к XIX и XX вв. Приведем несколько примеров. В «Этимологическом словаре русского языка» (под руководством и ред. Н. М. Шанского) первая фиксация слова *депрессия* с метеорологическим значением относится к концу XIX в.; мы засвидетельствовали это слово в рукописной книге смоленского шляхтича С. Коховского «Снѣ блудныи» 1766 г., хранящейся в Пушкинском доме. Там же обнаружены слова *эмбрион* (первая лексикографическая фиксация относится ко второй половине XIX в.)²⁶, *сферичный* (ССРЛЯ), *планетарный* (Даль) и др.²⁷ О слове *авторизация* в ЭТСЛ сообщается, что оно заимствовано из французского языка в первой трети XIX в.; впервые фиксируется в «Энциклопедическом лексиконе» (1835). В «Мемориале» упомянутого С. Коховского, написанном в 1746 г.²⁸, слово *авторизация* употребляется довольно часто (*авторизация*) с значением «основание, изобретение, открытие». В книге Коховского «Снѣ блудныи» оно используется уже в современном значении (см. л. 3). По-видимому, несмотря на польскую огласовку слова, С. Коховский заимствовал его из французского, а не через польское посредство, так как ни в «Словаре польского языка XVI в.», ни в словаре Линде нет слова *авторизация*²⁹.

Вопрос о начальной точке отсчета в истории заимствования решается как известно, неоднозначно. Существует, в частности, мнение, что о начале подлинной истории слова в принимающем языке говорит акт неоднократного заимствования³⁰. Нам представляется, однако, что при отсутствии в настоящее время более или менее полных сведений о письменном языке XVIII в. преждевременным является установление строгих критериев вхождения в язык этого периода как заимствований, так и новообразований, возникших на русской почве на базе собственного и иноязычного материала.

Проблема заимствования русским языком иноязычных слов имеет две стороны, одна из которых связана с пополнением словарного состава литературного языка, другая — с обогащением словаря диалектов. В большинстве исследований, посвященных заимствованиям, эти разные стороны проблемы, как правило, не различаются, в связи с чем в список заимствований русского языка попадают нередко локально ограниченные заимствования. Остановимся лишь на некоторых вопросах этой проблемы. Обратим прежде всего внимание на известное всем положение, что в диалект заимствования приходят преимущественно через устные контакты, поэтому их внешнее оформление, а иногда и семантика далеко не всегда совпадают с аналогичными заимствованиями в литературном языке. Другое обстоятельство — это обусловленность заимствований в народно-разговорном языке, принятие в словарный состав диалекта наименования вместе с реальной. Так, например, наличие в смоленской письменности XVII—XVIII вв. слов *волока*, *уволока*, *морг*, *пляц* (меры земли), заимствованных в XVII в. и их дериватов *волочный*, *морговой*, *пляцовый*, *полволока*, *полуволока*, *полпляц* и др., возникших уже на русской почве (смоленской), обусловлено функционированием на территории Смоленского края ло-

²⁶ См. об этом слове Ю. С. Соловьев, *Развитие словарного состава русского литературного языка*, М.—Л., 1965, стр. 439.

²⁷ Мы не располагаем сведениями о наличии или отсутствии этих слов в Картотеке Словаря XVIII в. В указанных выше монографиях, посвященных лексическим новообразованиям и заимствованиям XVIII в., они не обнаружены.

²⁸ См.: «Смоленская старина», вып. 1, ч. 2, Смоленск, 1911.

²⁹ См.: «Słownik polszczyzny XVI wieku», I, Wrocław—Warszawa—Kraków, 1966; «Słownik języka polskiego», przez M. S. B. Linde, I—VI, Lwów, 1854—1860.

³⁰ См. об этом: Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина, указ. соч., стр. 11.

кальной метрической системы, возникновение которой связано с теми периодами, когда Смоленщина входила в состав Польско-Литовского государства. Все эти слова пришли в смоленский диалект вместе с понятиями, которые они обозначали, и не имели синонимичных замен в лексическом составе общерусского языка, как не имело такой замены наименование меры хлеба — *соланка* и *селанка* (ср. польск. *solanka*). С терминологическим значением — «земельное владение», «участок земли» — вошло в смоленский диалект слово *грунт*. Закрепление в диалекте этого слова с ограниченной по сравнению с языком-источником семантикой послужило причиной его долгой жизни. В последующие периоды происшедшие в жизни русского народа социально-экономические изменения привели и к переосмыслению слова *грунт*: в современных смоленских говорах этим словом называют огород. Терминологический характер носили и многие другие локализмы-заимствования.

Спецификой вхождения заимствования в народно-разговорное употребление является необыкновенно быстрое освоение его в заимствующей среде. Так, например, слова *гарнец* и *кварта*, заимствованные смоленским диалектом задолго до того, как они получили распространение в русском литературном языке, послужили основой для образования различных диалектных вариантов и дериватов: *фарта* и *хварта*, *фартка*, *полуфарта*, *полфарта*, *фатырка*, *квартовая* (субст.), *форта*, *фоварта*, *фартовой* и *фортовой* «питейный дом», *гарцовая* (субст.), *гарцовой* и *гарцовый* (о кабаке, питейном доме). Примечательно, что большая часть приведенных новообразований отмечается в смоленской письменности уже в начале XVII в. По-видимому, потребовался очень короткий срок, чтобы заимствованные слова так прочно вошли в обиход и послужили базой для появления новообразований уже на русской почве.

Синонимичные обозначения одного и того же понятия, предмета отмечаем при заимствовании в диалектную систему в тех случаях, когда одновременно заимствуются оба названия. Ср., например: *дюжина* и *тузин*, *тузина* «дюжина»³¹. Заимствованные синонимичные обозначения одного и того же предмета отмечаем в пределах одного диалекта, но в словоупотреблении представителей разных социальных групп. Ср.: *оковитка* и *оковитое вино* «двойная водка» в деловой письменности XVII в. и *аквавита* «водка» в книге С. Коховского.

Новые слова на базе заимствованных создавались в диалекте самыми разнообразными способами, причем производящее слово претерпевало в народно-разговорном употреблении такие изменения, что трудно иногда увидеть в новообразовании заимствованную основу. Слово *анбурка* «род сельди» (вариант *анборка*) очень часто встречается в смоленской деловой письменности конца XVI—XVII вв.³² Образовалось оно, по-видимому от названия города *Гамбург*, известного в устной транскрипции как *Анбурк* (последнее встретилось нам в одном из писем Петра I), и означало «сельдь, импортируемую из Гамбурга». Возможен, впрочем, и другой путь образования слова *анбурка*: от *анбурский* (*гамбургский*) с помощью суффикса -к-.

Для более полного освещения проблемы заимствований необходимо всемерно расширить круг источников, как опубликованных, так и руко-

³¹ Иногда, однако, в смоленской письменности встречается и целый синонимический ряд из заимствованных слов (ср., например, *ретование* и вариант *ретувание*, *ретунок* — из польского, где они появились из немецкого), что может быть обусловлено разными причинами, в том числе и тем, что эти слова могли быть заимствованы в разное время и разными носителями диалекта.

³² Цитаты с приведенными из смоленской письменности словами и ссылки на источники см. в нашей книге «Лексика Смоленского края...».

писных. Исследование в этом плане памятников региональной письменности позволит уточнить наши представления об интенсивности процесса заимствования в русском языке XVI—XVIII вв., о путях проникновения заимствованной лексики в русский язык, о процессах ее освоения и т. д.

Одной из центральных проблем, связанных со становлением и развитием словарного состава русского национального литературного языка, является проблема эволюции лексических норм. Действие процесса выработки лексической нормы в период с конца XVI до начала XIX в. лучше всего прослеживается при изучении минимальных лексико-семантических групп — синонимических пар и рядов, функционировавших в исследуемую эпоху: «Вопрос о синонимах и синонимических оборотах — один из центральных вопросов стилистики и семантики. Нельзя понять и усвоить лексическую систему русского языка, не разобравшись в синонимических рядах слов и выражений»³³.

Исследование лексической синонимии на огромном материале, охватывающем длительный и очень важный в развитии русского языка промежуток времени (конец XVI—XVIII вв.), дает возможность говорить о существенных различиях в характере синонимии в период становления национального русского литературного языка, с одной стороны, и в современном русском литературном языке — с другой. Эти различия обусловлены в первую очередь переходным характером эпохи (вплоть до последней четверти XVIII в.), для которой особенно показательным было сосуществование в языке многочисленных обозначений одного и того же понятия. Словообразование — один из основных источников пополнения в исследуемый период синонимических групп; вторым источником была полисемия. Развитию лексической синонимии в исследуемую эпоху способствовал также действовавший в это время процесс демократизации русского литературного языка, в результате чего в словарный состав формирующегося национального литературного языка вливается большое количество слов из народно-разговорного источника, в дальнейшем нейтрализовавшихся.

Кульминационным моментом в развитии лексической, особенно словообразовательной, синонимии можно, вероятно, считать период с конца XVII и примерно до середины XVIII в.³⁴, когда в русском языке еще сохраняются архаические элементы и когда отмечается наиболее интенсивное пополнение словарного состава как новообразованиями, возникшими на русской почве, так и иноязычными элементами и их дериватами.

Вместе с тем одновременно, начиная с конца XVII в., можно говорить уже о сокращении синонимии в общелитературном языке; в XVIII в., особенно во второй его половине, этот процесс активизируется. Отбор в нейтральный словарь наиболее жизнеспособных лексических средств сопровождается исчезновением из языка многочисленных устаревших слов и переходом на периферию языка сниженной лексики. Одной из причин сокращения синонимии является уменьшение полисемантической значительного количества лексем, упорядочение смысловой структуры многозначных слов, характеризовавшихся в более ранние эпохи, а также в ряде случаев и в исследуемый период синкретизмом семантики. Отдельные лексико-семантические варианты этих многозначных лексем вытесняются синонимичными однозначными словами с более конкретной и четкой смысловой структурой.

³³ В. В. В и н о г р а д о в, Из истории русской лексики, «Р. яз. в шк.», 1941, 2, стр. 17.

³⁴ В сфере научного языка расширение лексической синонимии можно наблюдать и в конце XVIII в., однако это положение остается типичным лишь для терминологий тех наук, которые складывались в указанный период.

Синонимия в русском языке исследуемой эпохи отражает не только богатство языка в выборе лексических средств, но и свидетельствует о «конкурентной борьбе» за место в системе языка, в результате которой на первый план выдвигаются слова, приобретшие с течением времени характер лексической нормы. Этот процесс приводит во многих случаях к перестройке всей синонимической группы, к сдвигам семантического и стилистического плана в составе всего синонимического ряда.

Русский литературный язык периода становления его как языка нации далеко не во всех случаях располагал нейтральными словами в составе тех или иных лексико-семантических групп, синонимических пар и рядов, в связи с чем действие процесса нейтрализации стилистически маркированных элементов лексического состава языка приводило к заполнению пустот в нейтральном слое словаря. Иллюстрацией приведенного положения может служить история развития целого ряда синонимических групп, например, синонимических рядов, объединенных значениями «вор»³⁵, «женщина»³⁶, «мужчина»³⁷, «девушка», «очень», «сегодня»³⁸, «крыша», «говорить — сказать», «думать» и т. д. На протяжении исследуемого периода в составе синонимических групп, включавших слова с узкими значениями, выдвинулись и закрепились в качестве основных, стержневых слов, слова, имевшие в большинстве своем источником народно-разговорный язык.

Исследователи лексической синонимии русского языка XVII—XVIII вв. обращают внимание, как правило, на сосуществование в нем в эти периоды (особенно в XVIII в.) множества обозначений для передачи одного и того же понятия. Наши данные подтверждают мнение о том, что обычной, нормальной для языка этого времени была «полиномия» (по В. В. Веселитскому). Вместе с тем мы не склонны полностью разделять убеждение в том, что одним из наиболее типичных признаков «старого литературного словоупотребления» было «тождество»³⁹. Не останавливаясь на известных историкам языка причинах множественности и в ряде случаев незакрепленности синонимических средств, особенно в области научной терминологии XVIII в., обратим внимание на некоторые обстоятельства, которые не всегда учитываются при исследовании источников предшествующих эпох, в частности, научных книг. Так, например, по видимому, игнорируется в какой-то степени тот факт, что, помимо двух основных функций, которые обуславливали лексическую синонимичку в исследуемый период, — уточнительной и стилистической, — синонимы в русском языке XVII—XVIII вв. выполняли особенно часто функцию замещения (взаимозаменяемости)⁴⁰. Не всегда учитывается, вероятно, и своеобразие слога научных произведений исследуемой эпохи.

³⁵ См.: Е. И. Б о р и с о в а, Из истории слова *вор*, «Уч. зап. Смоленск. гос. пед. ин-та», XXIV, 1970, а также нашу статью о слове *вор* в журнале «Русская речь», 1971, 3.

³⁶ См.: Е. И. Б о р и с о в а, Женщина, «Русская речь», 1974, 5.

³⁷ См.: Е. И. Б о р и с о в а, Мужчина, «Русская речь», 1976, 6.

³⁸ См.: Е. И. Б о р и с о в а, К истории лексической группы со значением «сегодня», «Вопросы синтаксиса и лексикологии русского языка», Смоленск, 1975.

³⁹ См. об этом: Ю. С. С о р о к и н, Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX в., М.—Л., 1965, стр. 543. Думается, что Д. И. Фонвизин едва ли заблуждался, когда утверждал, что «...одно и то же значащих слов нет на свете... что одно слово не объемлет никогда всего пространства и всей силы знаменования другого слова...» (Д. И. Ф о н в и з и н, Примечание на критику, напечатанную на 113 и 114 страницах II части «Собеседника», касающегося до «Опыта Российского словника», в кн.: Д. И. Ф о н в и з и н, собр. соч., I, М.—Л., 1959, стр. 238).

⁴⁰ Мы, разумеется, далеки от того, чтобы призывать к возвращению в язык слов *презабение*, *произрастение* и др., употреблявшихся учеными в ботанических трудах конца XVIII в. наряду со словом *растение* (как правило, именно в этой функции), однако сопоставление слога акад. Севергина в его «Царстве произрастений» (СПб., 1794), в котором умело варьируются приведенные синонимы (и перифразы), со стилем изложе-

Языку научных произведений последней четверти XVIII в. в большей или меньшей степени была присуща образность, метафоричность, что приводило к увлечению парадоксами, перифрастическими выражениями. Обилие такого рода слов и выражений, изобразительные свойства которых способствовали разъяснению научных истин, создавали вместе с тем впечатление множественности наименований, того, что принято считать для исследуемой эпохи избыточностью лексических средств. Так, например, именно следованием перифрастическому слогу оригинала можно, на наш взгляд, объяснить наличие большого количества синонимических соответствий (и парадоксов) в переводе «Созерцания природы» Ш. Бонне (переводчик — И. Виноградов). Ср.: *бог, творец, создатель, всемогущий, всераспорядившее существо, верховное начало, зодчий вселенной, основатель небесной физики, деятельная воля, виновник жизни, всечтимая премудрость, всеустроившая премудрость* и др. (о боге); *мир, вселенная, машина мира, всеобщая энциклопедия, книгохранилище вселенной, великолепное здание* (о вселенной); *астрономы, звездозаконники, звездомератели, наблюдатели, энциклопедисты небесные* (об астрономах); *ботаник, травослов, травосведатель, законодатель травосведения* и т. д. «ботаник»; *естествоиспытатель, истолкователь природы, изобразитель природы, наблюдатель, деописатель природы, изъяснитель природы, великий изведатель природы, знаменитый творец естественной науки о деревьях, природоучитель, великий естествоиспытатель* и т. д. «естествоиспытатель». По-видимому, в этом же плане можно рассматривать и приведенные выше семантические неологизмы И. Виноградова *домовитость, домостроение, домосбережение, тщательность, тщаливость, тщание* и др., использовавшиеся в качестве синонимов к слову *экономия* в значениях «жизнь и нравы животных», «строение живого и растительного организма» (в переводе «Созерцания природы» Ш. Бонне).

Процессы, действовавшие в научном языке последней четверти XVIII в., играли решающую роль не только в становлении русской научной терминологии, но и в становлении лексических норм общенационального русского литературного языка в целом⁴¹. Именно в научном языке этого периода можно наблюдать интенсивное развитие так называемого среднего слога, отразившего сложное взаимодействие книжно-славянских и народно-разговорных элементов, ставшего «ядром системы формирующегося русского национального языка»⁴². Многоплановость значительной части научных произведений исследуемого периода, стремление к популяризации изложения способствовали отражению на страницах большого научного труда или его перевода значительной части существовавшего в языке словаря. Поэтому научная литература последних десятилетий XVIII в. дает нам ценный материал для суждения о том, в каком состоянии находились в конце столетия лексические нормы русского национального литературного языка.

Действовавшие в этот период с особой силой процессы дифференциации и регламентации в области словаря находили непосредственное отражение в языке научных книг. Так, например, довольно четко определилась в языке исследованных нами научных переводов и оригинальных про-

ния сведений о растениях в современном учебнике ботаники для учащихся 5—6 классов, где в пределах одной страницы текста допускается до 20 употреблений слова *растение*, никак не говорит в пользу последнего, при всей современности его языка.

⁴¹ «Язык научных книг 30-х гг. и по словарю, и по синтаксису был самым обработанным и совершенным среди прочих жанров и типов литературного выражения этого времени» (Л. Л. К у т и н а, Формирование языка русской науки, М.—Л., 1964, стр. 5—6).

⁴² В. В. В и н о г р а д о в, Вопросы образования русского национального литературного языка, ВЯ., 1956, 1, стр. 19.

изведенной стилистическая и семантическая дифференциация в составе наиболее важных в общелитературном языке синонимических рядов. Мы имеем в виду, например, синонимические ряды, включающие в свой состав лексику речи, мышления, движения, наименования лиц, синонимические группы, объединенные значениями «очень», «сегодня» и т. д. Интенсивность и эффективность этих процессов наблюдаем и в сфере научной терминологии. Сопоставление целого ряда синонимических рядов, функционировавших в составе терминологий наук, развивавшихся в первой трети XVIII в., с аналогичными синонимическими группами, сформировавшимися к концу XVIII в., показывает, что с течением времени происходит упорядочение в этой сфере. Количество синонимичных обозначений сокращается в пределах синонимических рядов или выдвигаются новые ведущие слова, закрепившиеся к этому времени в общенаучном обиходе, или закрепляются старые, но окончательно терминологизировавшиеся. (К сожалению, объем статьи не позволяет нам привести хотя бы незначительную часть имеющегося в нашем распоряжении фактического материала.) Что же касается терминологий ботаники, анатомии и физиологии, геологии и др., то они находились лишь в стадии становления; поэтому, изучая переводы конца XVIII в., отражавшие сведения из названных наук, мы нередко становимся непосредственными свидетелями творческого процесса, в результате которого переводчик останавливался (уже в пределах данного перевода) на термине, получившем впоследствии всеобщее признание. Множественность синонимичных наименований в сфере названных наук сохраняется еще длительное время, в ряде случаев переходит и во вторую половину XIX в.⁴³ вместе с тем можно уже говорить о большом количестве терминов ботанических, анатомических и др., закрепившихся в короткий срок в языке русской науки⁴⁴. Темпы развития русской научной терминологии в последние десятилетия XVIII в. поистине беспримерны по своей интенсивности, как беспримерны и успехи в сфере словаря общелитературного. К сожалению, из-за отсутствия более или менее полного словаря XVIII в., словаря синонимов русского языка XIX в. (если не считать отдельных опытов), а также фундаментальных исследований, которые отразили бы относительно полно лексическую синонимию этого времени, многие лексические явления конца XVIII в., знаменовавшие формирование новых форм словоупотребления, ставших национальными, традиционно переносятся в XIX в., причем даже не в первое его десятилетие.

Полагаем, что для объективной характеристики сложившихся к началу XIX в. лексических норм, для решения вопроса о том, стали ли они к этому времени национальными или продолжали оставаться в переходной стадии, должно иметь решающее значение тщательное лингвистическое ис-

⁴³ Эта проблема остается не до конца разрешенной и в XX в. Ср.: «Самой сложной проблемой можно считать проблему синонимии в стандартизуемой терминологии», «... в терминологии (в отдельной терминсистеме) немало причин и предпосылок для появления и сосуществования синонимичных наименований одного понятия» (В. П. Даниленко, Русская терминология, М., 1977, стр. 173, 176).

⁴⁴ Более определенно о процессе регламентации в сфере научной терминологии можно судить по произведениям авторов и переводчиков, менее приверженных к перифрастическому слогу, во-первых, и игнорировавших в определенной степени господствовавшие в этот период пуристические тенденции, во-вторых. К такому выводу приводит, например, сопоставление синонимических средств выражения в переводах одного и того же произведения. Мы имеем в виду перевод «Созерцания природы» Ш. Бонне, осуществленный И. Виноградовым, и перевод (в отрывках) «Детского чтения» (ч. XVIII—XIX) 1789 г. Не оценивая эти переводы в целом, отметим лишь, что многочисленным синонимическим рядам в переводе И. Виноградова нередко соответствует лишь один термин, русский или иноязычный (чаще, однако, последний) в «Детском чтении». Приведем лишь один пример. У Виноградова: *система, распорядок, всеобщий состав, мирораспоряжение, мироставление* — в значении «система, строение вселенной», в «Детском чтении» — только *система*.

следование художественной и особенно нехудожественной литературы последнего десятилетия XVIII в. и первых лет XIX в. При этом следует учесть тот факт, что из художественных произведений нормы национального русского литературного языка отражались в более чистом виде в первую очередь в комедиях третестепенных авторов, в произведениях, не осложненных особыми художественными задачами. Важно в процессе исследования разграничивать по возможности критерий общелитературной нормы, с одной стороны, и критерий художественности, с другой, проблемы общелитературного языка и проблемы языка художественной литературы. Не менее важно также учитывать причины и характер колебаний в литературном словоупотреблении пишущих в этот период, степень их образованности, «выучки» и т. д.

Не претендуя на радикальный пересмотр сложного вопроса о времени «окончательного» сложения национальной нормы в области лексики (это несколько преждевременно и невозможно в рамках статьи), считаем все же, что Л. А. Булаховский имел веские основания для следующего утверждения: «... русский литературный язык уже начала XIX века в прозе имел представителей такой его грамматической системы и лексики, которые, почти без всяких изменений, дожили до наших дней... Живая база прозаической письменной речи таких писателей — разговорный язык образованной части русского общества, система, допускавшая отклонения в ту или другую сторону, но в общем достаточно определенная, судя по тому, в какой мере она в своих отражениях еще и теперь может производить впечатление современной нам нормативной речи»⁴⁵. И далее: «Эта норма создается... как нечто далее уже довольно устойчивое около конца XVIII века. Значительные отклонения от нее возможны из пишущих в XIX веке почти исключительно у людей старшего поколения, учившихся во время, еще довольно свободно относившееся к выбору некоторых диалектных вариантов»⁴⁶.

⁴⁵ Л. А. Булаховский, Русский литературный язык первой половины XIX века. Лексика и общие замечания о слоге, [К.], 1957, стр. 19.

⁴⁶ Там же, примеч. 1.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

А. Д. Швейцер. Современная социалингвистика. Теория, проблемы, методы. — М., «Наука», 1976. 176 стр.

Первостепенное внимание в рецензируемой книге уделяется методологическим проблемам современной социалингвистики, рассмотрению которых целиком посвящается первая глава. Поставив вопрос о соотношении марксистской социологии и социалингвистической теории, А. Д. Швейцер подчеркивает, что методологическими основами социалингвистических теорий ученых из социалистических стран является марксистское учение об обществе, разработанная в марксистской социологии теория социального взаимодействия, положения марксизма о языке как об общественном явлении.

Перейдя к анализу философских основ различных направлений в зарубежной социалингвистике, А. Д. Швейцер останавливается на рассмотрении бихевиористской модели речевого поведения и отмечает, что наиболее известная из необиохевиористских теорий — «унифицированная теория человеческого поведения», выдвинутая американским ученым К. Пайком в связи с позитивистской ориентацией, — сводится по существу к произвольной абстрактной классификационной схеме.

А. Д. Швейцер разбирает также проблему соотношения социальной антропологии и социалингвистики. Как известно, основной проблемой социальной или культурной антропологии является вопрос о взаимоотношении языка и культуры, причем язык интерпретируется как элемент или органическая часть культуры. А. Д. Швейцер противопоставляет этому взгляду свою точку зрения. По его мнению, как культура, так и язык — явления многоаспектные. Культура включает продукты взаимодействия человека с природой, а также духовную культуру, в том числе и различные институты, нормы и установки, регулирующие поведение индивидов. Язык представляет собой одновременно средство коммуникации, непосредственную действительность мысли, средство эмоционального воздействия, особую семио-

тическую систему, основной этноопределятель, а также фактор национальной консолидации. В связи с этим проблему соотношения языка и культуры необходимо решать с учетом того, определяется ли это соотношение в целом или имеется в виду взаимоотношение каких-то компонентов культуры и языка. С позиций исторического материализма, который оперирует категориями материальной и духовной культуры, исчерпывающей всю сферу общественных явлений, язык как одно из таких явлений должен рассматриваться в качестве компонента культуры, но компонента, существенно отличающегося от других явлений духовной культуры и обнаруживающего различные связи с этими явлениями.

Что касается социальной антропологии, то ее представители обычно сводят проблему языка и культуры к поведенческим аспектам или, иначе, интерпретируют язык как одну из форм человеческого поведения. Поэтому они придают существенное значение лишь изучению речи, игнорируя или даже отвергая дихотомию «язык — речь». Подобная методологическая ориентация проявляется и в работах ученых (преимущественно американских), разрабатывающих теоретические основы «этнографии речевой коммуникации». Для Д. Хаймса, например, характерно подчеркивание примата речи над языком, функции над структурой, контекста над сообщением. Он же сводит проблемы социалингвистики к проблемам речевого поведения.

Далее А. Д. Швейцер рассматривает теорию изоморфизма языковых и социокультурных систем, как она представлена в новейших работах зарубежных социалингвистов, в частности, концепцию «взаимной включенности или детерминации» языка и культуры, принадлежащую американскому социалингвисту А. Д. Гримшо. По мнению А. Д. Гримшо, социальная структура и язык взаимно детерминируют друг друга. При этом под социальной структурой понимаются «нормы социального поведения». Таким

образом, А. Д. Гримшо подменяет проблему связи языка и общества вопросом о нормах социального и речевого поведения.

Вместе с тем, по мнению А. Д. Швейцера, в рассматриваемой концепции имеется рациональное зерно. Так, язык может оказывать влияние на мышление и через него на культуру и поведение, придавая им специфическую (национальную) окраску (В. З. Панфилов). Развивая мысль В. З. Панфилова, А. Д. Швейцер подчеркивает, что язык также выступает в качестве одного из социальных факторов, оказывающих известное влияние на социальные процессы (язык как фактор национальной консолидации, как важнейший этноопределятель).

В следующем разделе монографии А. Д. Швейцер анализирует методологические установки зарубежных социолингвистов, которые опираются на символическо-интеракционистскую социологию. Разбирается социолингвистическая концепция Дж. Гамперца, который считает основным объектом исследования социально обусловленную речевую деятельность в рамках малых групп. При этом Дж. Гамперц, принципиально настаивая на таком микросоциолингвистическом подходе, фактически выхватывает малую группу и ее речевое поведение из широкого социального контекста. А. Д. Швейцер справедливо отмечает, что микросоциолингвистический подход является ценным дополнением к макросоциологическому анализу, но не может заменить его.

Рассматривая в следующем разделе те направления зарубежной социолингвистики, которые опираются на так называемую этнометодологию, А. Д. Швейцер пишет, что в центре внимания этнометодологов находится повседневная человеческая деятельность, в том числе и речевая коммуникация. Последнее обстоятельство и попытки этнометодологов извлекать социальные категории непосредственно из речевого материала привлекают некоторых социолингвистов, которые полагают, что этнометодология создает возможность рассматривать языковые и социальные структуры в рамках единой теории, а не как отдельные, но коррелирующие сущности.

Ошибочными в этнометодологии, по мнению А. Д. Швейцера, являются интерпретации социальных категорий как категорий восприятия индивида, отрыв этих категорий от классовой структуры и системы производственных отношений, а также крайний эмпиризм.

В последнем разделе главы поставлен вопрос о связи социолингвистики с теорией Н. Хомского. А. Д. Швейцер отмечает, что, будучи по исходным установкам своеобразным антиподом социолингвистики (порождающая грамматика отвлекается от гетерогенности кода и ориентируется на идеальность говорящего, а так-

же считает «исполнение» лишь исходным материалом для выявления «компетенции»), она не оказала существенного влияния на методологические принципы социолингвистики. И вместе с тем некоторые социолингвисты заимствовали у Н. Хомского исследовательские процедуры и пытаются перенести некоторые понятия порождающей грамматики в социолингвистику.

Необходимо особо подчеркнуть, что во второй главе, названной «Теоретические проблемы социолингвистики», сформулирована оригинальная концепция А. Д. Швейцера, представившего социолингвистику как междисциплинарную науку, обладающую своим собственным, отличным от лингвистики и социологии, понятийным аппаратом, который построен на учете языковых и социальных параметров. Поэтому, в отличие от социолингвистов, включающих социолингвистику в языковедение и считающих ее объектом речи, А. Д. Швейцер полагает, что в предметную область социолингвистики должны войти все проблемы, связанные с двусторонними взаимоотношениями языка и общества. Автор вводит два базисных понятия: «языковой» коллектив и «социально-коммуникативная система». Далее предлагает разграничивать широко применяемые в социолингвистике понятия коллектива как объективно существующей совокупности людей, объединенных социальным взаимодействием, и общности как результата статистической абстракции, выделяемой исследователем. Проводится разграничение языкового коллектива и речевого коллектива соответственно по признаку обнаружения их членами общего инвентаря лингвистических единиц и по их специфическому употреблению в речи. Говоря о социально-коммуникативных системах как атрибуте языковых и речевых коллективов, А. Д. Швейцер подчеркивает, что эти системы представляют собой совокупность языковых систем (типа национального языка).

Логическим следствием междисциплинарного подхода является выделение стратификационного (сословно-классового) и ситуативного измерений социальной вариативности и обусловленное ими разграничение: 1) стратификационных социолингвистических переменных, связанных с социальным статусом коммуникантов и 2) стратификационно-ситуативных, коррелирующих с социальной ролью коммуникантов и социальной ситуацией общения. В конце этой главы рассматривается отношение социолингвистики к семиотике и стилистике.

Оценивая данную главу в целом, следует сказать, что А. Д. Швейцеру удалось вырваться из плена чисто декларативных заявлений, относительно междисциплинарного статуса социолингвистики и показать на деле тот путь, который

ведет к созданию системы социолингвистических понятий, а, следовательно, и теории социолингвистики как междисциплинарной науки. Вкладом в социолингвистику является также выделение стратификационных и стратификационно-ситуативных социолингвистических переменных.

Вместе с тем не совсем понятно, почему из всех дисциплин, которые сейчас существуют и интересы которых так или иначе перекрещиваются с социолингвистикой (семиотика, лингвостилистика, интеграллингвистика, психолингвистика, теория речевой коммуникации), избраны только первые две. Мы бы отметили как недостаток и некоторую нечеткость в формулировании дифференциальных признаков языковых и речевых коллективов и общностей. Читателю, впервые столкнувшемуся с данными понятиями, нелегко в них разобраться.

Третья глава «Некоторые проблемы социолингвистики» освещает такие наиболее существенные проблемы, как билингвизм и диглоссия, языковая ситуация и ее типы, языковая политика и языковое строительство. А. Д. Швейцер в этой главе уточняет понятие билингвизма, определяет его как сосуществование двух языков в рамках одного речевого коллектива, использующего эти языки в соответствующих коммуникативных сферах в зависимости от социальной ситуации и других параметров коммуникативного акта. Он подчеркивает, что для социолингвистики билингвизм и диглоссия — социальные явления, принципиально сходные друг с другом, намечает статический (предполагающий выявление распределения социальных функций между языками) подход и динамический (основанный на выяснении механизма взаимодействия языков под воздействием социальных факторов) подход к изучению билингвизма. Здесь же поставлен очень важный и еще не вполне решенный: социолингвистике вопрос о соотношении понятий «социальная позиция», «социальная роль», «речевое поведение». А. Д. Швейцер снова показывает применимость марксистской теории социальных ролей для анализа речевого поведения индивидов и целых речевых коллективов. В качестве иллюстрации рассмотрено речевое поведение билингвов по роману Льва Толстого «Война и мир». Следовало бы отметить еще одну продуктивную идею, высказанную А. Д. Швейцером, а именно, что исчерпывающее исследование социальных аспектов билингвизма и диглоссии возможно лишь при сочетании статического и динамического подходов, причем одной из задач динамического подхода является определение соотносительной силы факторов речевого поведения.

Следующий раздел посвящен вопросу о типологии языковых ситуаций. В нача-

ле А. Д. Швейцер уточняет определение языковой ситуации, выделяет те параметры, которые составляют основу типологии языковых ситуаций: социальный статус данного языка, объем социальных функций, социально-коммуникативная роль каждой языковой системы и подсистемы, их социальный престиж, наличие письменности и т. д. Завершается глава рассмотрением наиболее важных вопросов, связанных с проблемами языковой политики: уточняется ее определение, разграничивается конструктивная и деструктивная, централизованная и нецентрализованная языковая политика и подчеркивается связь языковой политики с идеологией и идеологической борьбой. В заключении раздела разоблачаются попытки фальсификации некоторыми американскими социологами и социолингвистами языковой политики, осуществляемой в Советском Союзе.

В четвертой главе рассматриваются методы сбора и анализа материала, используемые в социолингвистике. Отмечается, что получение исходных данных является весьма трудным и сложным ввиду необходимости учитывать многочисленные стратификационные и ситуационные переменные. Кроме того, существует еще проблема элиминации того влияния на речь информантов, которое при систематическом наблюдении оказывает исследователь («парадокс наблюдателя»). Затем разбираются и оцениваются методы и процедуры сбора данных: 1) анкетирование. Достоинство этого метода — массовый характер; 2) систематическое наблюдение над речью с записью на магнитофонную ленту; 3) интервьюирование. Наиболее эффективным представляется включенное наблюдение, когда наблюдатель сам является непосредственным участником коммуникативного акта.

Помимо данных, характеризующих речь информаторов, социолингвисты заинтересованы в сборе сведений о социальных установках информантов, детерминирующих их отношение к конкурирующим вариантам.

А. Д. Швейцер подчеркивает, что все названные методы, которые обеспечивают как сбор данных, характеризующих речевое поведение, так и субъективные оценки собственной речи, должны применяться в комплексе.

Что касается методов обработки полученных данных, то среди них наиболее часто используется метод корреляционного анализа, позволяющий установить корреляции социальных параметров (независимые переменные величины) и языковых явлений (зависимые переменные величины). Наиболее интересные результаты с помощью этого метода получены авторами исследования «Русский язык по данным массового обследования», где количественные данные относительно распределения вариантов соотносились

социальными группами информантов, выделенными по возрасту, образованию, социальному положению, принадлежности к локальной форме речи. В исследовании использовались табличные данные, графики зависимостей, учитывались результаты применения некоторых математико-статистических критериев. В итоге удалось не только установить зависимости между социальными признаками и языковыми фактами, но и воссоздать следующие иерархии социальных признаков: 1) по диапазону охвата фонетических явлений: территориальный фактор, социальное положение, возраст, семейное влияние, образование; 2) по силе воздействия на фонетические явления: территориальный фактор, возраст, социальное положение, образование, влияние радио. Этот же метод использовали американские социолингвисты Л. Левин и Г. Кроккетт. Но в связи с узостью методологического подхода, опирающегося только на анализ малых групп, их выводы относительно равной силы влияния «референтных групп» и национальной нормы, использующей каналы средств массовой информации, вызывают возражение. Далее характеризуется метод, предполагающий объединение количественных методов анализа с методами порождающей грамматики. Речь идет о попытке У. Лабова использовать понятие «вариативного правила», в том числе и «факультативного правила», предложенного Хомским и Халле. А. Д. Швейцер отмечает некоторую уязвимость концепции, лежащей в основе «вариативных правил», а именно: допускается смешение объективных статистических показателей речевой деятельности с субъективными установками говорящих. В заключении главы А. Д. Швейцер показывает возможность применения для анализа социально-коммуникативных подсистем и их элементов разработанного им ранее сопоставительного метода. Подводя итоги, автор подчеркивает, что наиболее эффективные результаты могут быть получены при комплексном применении рассмотренных методов.

Оценивая значение этой главы, следует сказать, что в настоящее время пока еще не существует работы, в которой бы столь подробно излагались применяемые в практике социолингвистических исследований методы получения и обработки данных. Особенно ценным представляется, что автор стремится выявить и показать как положительные, так и отрицательные стороны того или иного метода. Однако рассмотрение социолингвистических методов отчасти в связи с объективными обстоятельствами свелось по существу к характеристике приемов и исследовательских процедур, применяемых в микросоциолингвистике при анализе речевого поведения информантов. Методы изучения проблем более широкого плана (языковых ситуаций, языковой политики) в данной главе, к сожалению, никакого освещения не получили.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что рецензируемая работа А. Д. Швейцера является существенным вкладом в советскую социолингвистику. В ней изложены теоретические постулаты социолингвистики как междисциплинарной науки, строящейся на учете социологических и лингвистических параметров, созданы основы концептуального аппарата такой дисциплины, поставлен и рассмотрен ряд актуальных социолингвистических проблем. Вместе с тем монография является также квалифицированно написанным критическим обзором важнейших советских и зарубежных социолингвистических работ. Особенно хотелось бы отметить, что автор на высоком уровне и с хорошим знанием дела рассмотрел методологические, философские основы многих направлений зарубежной социолингвистики и показал преимущества марксистской методологии. Книга продолжает дискуссию, начатую автором несколько лет назад, и призывает к творческому осмыслению и решению теоретических проблем новой и бурно развивающейся дисциплины — социолингвистики.

Николюцкий Л. Б.

Ю. Н. Караулов. Общая и русская идеография. — М. «Наука», 1976, 355 стр.

Интерес к системному изучению лексики — одна из самых характерных особенностей современной семантики. Это находит отражение как в выявлении основных семасиологических закономерностей функционирования языковой системы, так и в опытах ономаσιологического описания различных лексических подсистем и полей, с различными целями и задачами¹, в создании словарей идеографического типа².

Несмотря на то, что еще в 1821 г., т. е. более чем за 30 лет до выхода в свет знаменитого «Тезауруса» П. М. Роже³, акад. И. А. Гульянов в блестящей речи на торжественном заседании Российской Академии наук обосновал необходимость создания Средственного (т. е. идеографического) словаря русского языка, вопрос этот по некоторым причинам выпал из поля зрения русской лингвистической науки.

В последнее время, однако, интерес к проблемам идеографии в отечественном языкознании заметно оживился. В журналах и научных сборниках был опубликован ряд статей. В 1970 г. появилась небольшая монография «Идеографические словари», в которой дан критический анализ наиболее крупных зарубежных идеографических словарей, намечена их типология, а также прослежено становление идеографии как особой области лексикографии⁴. Вопросы идеографии были предметом углубленного рассмотрения в двух диссертационных исследованиях, защищенных в 1973 и 1975 гг.⁵ Наконец, в 1976 и 1977 гг. вышли в свет

две монографии, посвященные идеографической проблематике. Одной из этих монографий и является рецензируемая книга⁶. Она состоит из двух частей, предисловия и заключения. Основную задачу первой части («Теоретические основы идеографии») Ю. Н. Караулов видит в том, чтобы, обобщив накопленные в исследуемой области идеи, наметить принципы построения идеографического словаря и выделить теоретические проблемы, которые необходимо решать в ходе его построения. Эта часть состоит из двух глав.

Первая глава («Системность лексики и ее изучение») посвящена аналитическому обзору существующих представлений о свойствах лексико-семантической системы языка. Автор, в частности, устанавливает три различных ее понимания, одно из которых основывается на признании самостоятельности и тождества слова, а два других отрицают самостоятельность слова, «растворяя» его либо в поле, либо в контексте.

Большое внимание в первой главе уделяется понятию «семантического поля». Исследованию этого вопроса посвящены два раздела первого параграфа и весь второй параграф. В последнем автор приводит и анализирует более тридцати определений семантического поля, извлеченных из работ советских и зарубежных ученых.

Касаясь отношения так называемой «теории поля» к идеографической практике, автор констатирует парадоксальный, по его мнению, факт, заключающийся в том, что составители идеографических словарей никак не используют «достижений» указанной теории, а исследователи, занимающиеся теорией семантических полей, не связывают эту «теорию» с идеографией. Поскольку цель рецензируемой монографии состоит как раз в утверждении возможности построения идеографического словаря на основе теории поля, автор ставит перед собой вопрос, «можно ли, двигаясь в процессе обобщения снизу, от слова, от отдельного значения, и не навязывая сверху никаких априорных схем, прийти к органичному членению всего словаря, соответствующего его системным свойствам?» (стр. 60). Ответ на этот вопрос содержится в теоретических и практических результатах исследования.

Весьма большое значение автор придает разграничению терминов «система в лексике» и «лексика в системе», связывая первый с языковым понятием, а второй с понятием логическим. По мнению автора, задачей составителя идеографи-

¹ В. Qu a d r i, Aufgaben und Methoden der onomasiologischen Forschung, Bern, 1952.

² Сам термин «идеография» получил распространение (вслед за термином «идеографический словарь») совсем недавно. Достаточно сказать, что ни в одном из известных нам общих или специальных словарей русского языка этот термин в используемом здесь значении (т. е. теории и практика создания словарей, в которых слова располагаются не по алфавиту, а по смысловой близости) еще не отмечался.

³ P. M. R o g e t, Thesaurus of English words and phrases classified so as to facilitate the expression of ideas and assist in literary composition, London, 1852.

⁴ В. В. Морковкин, Идеографические словари, М., 1970.

⁵ В. В. Морковкин, Идеографическое описание лексики (анализ слов со значением времени в русском языке). АКД, М., 1973; Ю. Н. Караулов, Общая и русская идеография (Опыт теории лингвистических словарей-тезаурусов). АДД, М., 1975.

⁶ Другая монография: В. В. Морковкин, Опыт идеографического описания лексики, М., 1977.

ческого словаря является установление именно «системы в лексике», причем при решении этой задачи составитель должен двигаться от слова к языковому понятию.

Вторая глава монографии («О некоторых лексикографических закономерностях») посвящена словарю, рассмотрению его свойств. Особое внимание автор обращает на два таких свойства, первое из которых он называет семантической непривычностью словаря, а второе — приращением смысла.

Первое свойство является вполне самоочевидным и доказывается простым указанием на те многочисленные и различные нити, которые тянутся от каждого отдельного слова к другим словам. Поэтому использование автором для доказательства этого факта так называемого «правила шести шагов» представляется избыточным, а само правило лишним доказательной силы. Действительно, если, как гласит правило, цепочка, связывающая два любых слова в словаре, никогда в сумме не превышает шести шагов до общего элемента (т. е. одного и того же слова в словарных определениях толкового словаря), то ведь этим общим элементом может быть и слово *и*.

Второе свойство словаря как «независимого способа организации знаков», названное «приращением смысла», состоит, по мнению автора, в том, что общий смысл совокупности знаков, возникающий при их объединении, больше, чем простая сумма смыслов, которые входят в эту совокупность знаков. В словаре это проявляется в появлении на выходе (т. е. в правой части) слов, не включенных в словник. Некоторые возражения против такого понимания указанного свойства мы позволим себе высказать в критической части рецензии.

В качестве исходного материала автором используется лексический минимум, содержащий около 2700 полнзначных слов⁷.

Вторая часть монографии («Идеографическая практика») открывается введением, содержащим общую характеристику разработанной автором методики. В методике выделяются три этапа. На первом (интуитивном) этапе, имеющем целью получение слов-центров (декомпозигов), исходный лексический список был разделен случайным с точки зрения семантики образом на четыре части. С каждой частью работал отдельный информант — носитель языка, которому было предложено разбить свой лексический массив на произвольное число семантически однородных групп, обозначив каждую некоторым словом или словосочетанием.

В качестве слова-центра («декомпозига», по терминологии автора) могло фигурировать любое слово, которое представляется информанту более общим, чем классифицируемые слова, независимо от того, имеется ли оно в исходном списке или нет, т. е. список декомпозигов характеризуется открытостью. Результатом первого этапа явились четыре списка декомпозигов числом в 231, 254, 310 и 397 единиц.

На втором этапе («этап агрегации», по терминологии автора) осуществлялось объединение и уточнение полученных семантических параметров разбиения исходного лексического списка и построения «минимального идеографического словаря» (МИС). Центральной проблемой этапа агрегации был выбор и уточнение имени поля. На третьем ассоциативно-компонентном этапе производилось построение расширенных семантических полей.

В третьей главе монографии рассматриваются вопросы, связанные с построением словаря семантических полей.

Исследуя логическую структуру поля, Ю. Н. Караулов устанавливает следующие типы лексических оппозиций: нулевая, привативная, эквиполюсная и дизъюнктивная, что соответствует общепринятому представлению об отношениях между понятиями. Весьма интересен раздел, посвященный антонимии в поле, особенно в той его части, в которой показывается способность поля индуцировать антонимы.

Семантическое поле, по мнению автора, должно состоять из пяти множеств: синонимов к имени поля, гиперонимов и гипонимов, слов, имеющих с именем поля общие компоненты, и антонимов к имени поля.

При рассмотрении понятийного аспекта поля автор останавливается на выяснении структуры значения слова, присоединяясь при этом к той точке зрения, согласно которой значение слова определяется через отношение к денотату и десигнату. Поскольку последние существуют не изолированно, а относятся к определенному классу денотатов и десигнатов, в работе вводятся понятия метаденотата и метадесигната. Центральной место в главе занимает параграф, содержащий всестороннее обсуждение выбора имени поля. Глава завершается количественной и качественной оценкой МИС.

Содержанием четвертой главы монографии («Принципы построения поля») является ассоциативно-компонентный этап построения словаря. На этом этапе происходит построение расширенных полей, причем алгоритм «работает» в двух циклах — ассоциативном и компонентном. Результатом первого цикла является ассоциативная группа, включающая максимальное число слов, ассоциативно связанных, по мнению носителя языка, с

⁷ «Материалы к словарю основной лексики русского языка (существительные, прилагательные, глаголы)», в сб. «Вопросы учебной лексикографии», М., 1969, стр. 163—171.

именем поля. Далее ассоциативная группа подвергается обработке на компонентном уровне. В качестве компонента отдельного значения слова рассматривается каждое полизначное слово, употребленное в толковании этого значения. В монографии используются квазиморфологические критерии установления минимальных компонентов и отождествления их с набором-минимумом, а также рассматриваются приемы формализации этой процедуры. Итогом четвертой главы является описываемый в § 14 алгоритм поля.

В последней, пятой, главе («Свойства семантического поля») анализируются результаты ассоциативно-компонентного этапа построения словаря и на этой основе делаются заключения о некоторых существенных свойствах семантического поля.

Среди вопросов, находящихся в поле зрения автора, выделим: а) понятие семантической связи («наличие ассоциации между двумя лексемами и общность компонента»), б) минимальное и максимальное наполнение поля (объем и состав семантических полей определяется исходным лексическим списком и статусом имени поля), в) степень неопределенности границ поля (неопределенность границ — онтологически обусловленное свойство семантического поля), г) высокая степень предсказуемости элементов поля, т. е. его избыточность (избыточность делает возможным развертывание поля в связанный текст), д) обратимость поля («иерархия вводит разрывность в семантически недискретную область словаря, что и влечет за собой необратимость поля»). Два последних параграфа пятой главы посвящены проблеме внутреннего и внешнего структурирования полей.

Работа завершается шестью приложениями, в которых приводятся практические результаты, полученные автором в процессе идеографической классификации исходного лексического списка (минимальный идеографический словарь; исходный алфавитный список слов, оформленный как ключ к МИС; список декомпозитивов; список потенциальных ядер; список имен полей; перечень 25 полей, построенных на материале исходного лексического списка).

Переходя к оценке монографии Ю. Н. Караулова по существу, отметим прежде всего ее новаторский характер. Насколько нам известно, по проблемам идеографии работ такого масштаба и такой глубины не было до сих пор не только у нас в стране, но и за рубежом. Главное достоинство книги Ю. Н. Караулова мы видим в том, что автору удалось в ней выдвинуть, обосновать и проверить на конкретном лексическом материале целостную и оригинальную концепцию построения идеографического словаря, ориентированного на языковую модель мира.

В ходе своих теоретических изысканий, равно как и при работе с конкретным лексическим материалом, автор демонстрирует завидную способность к творческой и конструктивной интерпретации фактов языка, что проявляется в целом ряде нестандартных решений вполне традиционных вопросов. Анализ многочисленных проблем, связанных с понятием семантического поля, можно смело квалифицировать как вклад в развитие теории поля. В работе много глубоких и тонких наблюдений по самым различным вопросам лексикологии и лексикографии (например, замечание о толкованиях слов на стр. 66, рассуждение о принципиальной неустрашимости в идеографическом словаре денотативных групп на стр. 132—134, раздел, посвященный так называемому нулевому компоненту, или «связке» на стр. 194—196 и т. п.). Особую и вполне понятную ценность представляет содержащееся в книге скрупулезное описание всех процедур, которые включает разработанная автором методика.

Совершенно очевидно, что можно разделять или не разделять теоретические убеждения Ю. Н. Караулова, можно принимать или не принимать предложенную им трактовку идеографического словаря, можно отдавать предпочтение другим подходам к классификации лексики, но отныне нельзя рассматривать проблемы идеографии без учета рецензируемого труда.

Однако, как во всяком новаторском исследовании, в работе Ю. Н. Караулова рассматривается целый ряд проблем, решение которых представляется не бесспорным. Остановимся на некоторых из них.

Прежде всего о единице классификации. По нашему мнению, в качестве такой единицы должно использоваться не слово как таковое, а однозначное слово или лексико-семантический вариант многозначного слова (ЛСВ). Только при этом условии можно соблюсти необходимую чистоту и полноту при классификации лексики. Человек — не вычислительная машина, и семантический спектр слова актуализируется у него крайне неравномерно. В результате, зная слово, т. е. безошибочно употребляя его, носитель языка далеко не всегда способен осознать то или иное значение как значение. Так, нетрудно предположить, что если бы слово *давление* было представлено в исходном списке в виде множества лексико-семантических вариантов, оно несомненно полностью бы поле с именем *болезнь* (ср. *У вас есть что-нибудь от давления?*).

Когда скоро речь зашла о полях, следует сказать, что некоторые из построенных автором 25 расширенных полей русского языка производят несколько странное впечатление. Наряду с вполне приемлемыми и интуитивно достоверными лексико-семантическими группами (ср. *ося-*

бенный, советовать, уважение) среди них есть и другие, которые таковыми не являются (ср. поле *бумага* — *литература*, *обзор*, *редакция*, *статья*, *доклад*, *докладывать*, *адрес*, *почта*, *телеграмма* и т. п.; поле *насуго*, включающее слова *гореть*, *берег*, *земля*, *остров*, *степь* и т. п.). И хотя мы понимаем, что названные и подобные поля составлены в строгом соответствии с изложенными в четвертой главе процедурами, они не согласуются с нашей языковой интуицией. Это в свою очередь показывает, что что-то требует пересмотра и уточнения в самих процедурах, что есть в них некое несовершенство.

Нам кажется весьма конструктивным вывод автора о том, что в качестве компонентов содержательной структуры лексических единиц могут рассматриваться полнозначные слова, входящие в их дефиниции. Однако каковы должны быть такие дефиниции? Мы сомневаемся, что ими могут быть толкования, извлеченные из словаря С. И. Ожегова. В идеале автор должен был сам, имея в виду последующую классификацию, единообразно истолковать слова исходного списка и только потом строить семантические поля. Приемлемым паллиативом могло бы быть использование вместо словаря С. И. Ожегова академических словарей, в которых слова получают, как правило, более тонкую и развернутую семантическую характеристику.

Особого упоминания заслуживает проблема отражения в идеографическом словаре парадигматических и синтагматических связей слов. Мы не склонны разделять оптимизм автора, который полагает, что итеративный характер работы так называемого конвейера свободного ритма обеспечивает достаточную глубину семантизации слов в идеографическом словаре и учет обоих видов связей (стр. 156). Конечно, использование понятия метадесигната позволяет автору в какой-то мере отразить синтагматический аспект, однако следует отметить, что, судя по приведенным образцам, мера эта, по-видимому, недостаточна. Автор и сам это чувствует, указывая на стр. 155, что идеографический словарь адресован не речи, а сознанию, что его цель состоит в том, «чтобы возбуждать в сознании пользователя крупные блоки единиц, связанные с отражением действительности». Однако все дело в том, что в сознании пользователя слова связаны и парадигматически, и синтагматически, на что указывал, как известно, еще Н. В. Крушевский. В последние годы психологи и психолингвисты говорят в этой связи о наличии парадигматических и синтагматических ассоциаций. Таким образом, если речь идет о возбуждении в сознании «блоков единиц», то такими блоками должны быть как лексические парадигмы, так и синтагмы, что, кстати, полностью подтверждается статьями «Словаря стереотип-

ных ассоциаций русского языка»⁸. Из этого следует, что и те и другие должны быть представлены в идеографическом словаре в равной мере полно и системно. Возникает вопрос: как? «Конвейер свободного ритма» удовлетворительного ответа на этот вопрос не дает. Одно из возможных решений заключается в совмещении идеографического словаря в традиционном понимании с элементами словаря сочетаемости слов⁹. Помимо строгого отражения парадигматических и синтагматических связей слов, такой подход позволяет корректно интерпретировать статус слов, относящихся к тому или иному полю непосредственно (например, *дождь* в поле *погода*) и опосредованно (например, *идти* в том же поле).

Одним из весьма важных понятий в концепции автора является так называемый закон «приращения смысла», согласно которому «общий смысл совокупности знаков, возникающий при их объединении, больше, чем простая сумма смыслов, входящих в эту совокупность знаков» (стр. 84). Приращение смысла, согласно Ю. Н. Караулову, характерно для правой части л ю б о г о словаря. Перенос на словарь одно из свойств, характеризующих текст, автор, как нам кажется, поступает не совсем корректно. Нельзя забывать, что толкование никогда не охватывает всей семантики заголовочной единицы. О том, что в правой части словаря ни о каком «приращении смысла» говорить не приходится, свидетельствуют, собственно говоря, и примеры, приводимые автором. Так, если слово *сарматы* толкуется с привлечением некоторых географических понятий (Шовольжье-Приуральские степи, Причерноморье), это значит, что указание понятия наличествует в семантике определяемого слова¹⁰, и никакого «приращения смысла» мы тут не видим. Наоборот, семантика слова *сарматы* гораздо богаче, чем это можно установить по извлеченному автором из большого академического словаря толкованию (ср. соответствующую статью в энциклопедии). Но если толкование никогда не охватывает и в принципе не может охватить всю семантику заголовочного слова, то о каком приращении смысла в правой части словаря может идти речь? Наоборот, левая часть л ю б о г о объяснительного словаря (вход) во всех

⁸ «Словарь стереотипных ассоциаций русского языка», под ред. А. С. Леонтьева, М., 1977.

⁹ См. указанные работы В. В. Морковкина.

¹⁰ Ср. понятие «лексического фона», развинутое Е. М. Верещагиным и В. Р. Костомаровым в кн. «Язык и культура» (М., 1976); а также сходные понятия «пре-суппозиция» и «интегральные признаки», широко используемые в современной лингвистической литературе.

без исключения случаях содержательнее в смысловом отношении, чем его правая часть.

Наконец, несколько более мелких замечаний. Нам представляется в определенном смысле произвольным рассуждение автора о существовании связи между различными подходами к лексико-семантической системе с лексикографической практикой в разных странах. Как известно, первые собственно идеографические словари немецкого языка (Д. Зандерса, А. Шлессинга) являются просто переложениями «Тезауруса» П. М. Роже. То же самое касается и французского словаря Т. Робертсона. Иначе говоря, указанные идеографические словари никак не могут рассматриваться как результат имманентного развития немецкой и французской лексикографии. С другой стороны, у автора вряд ли есть основание утверждать, что в английской, испанской и итальянской лексикографии словари идеографического типа получили меньшее рас-

пространение, чем в немецкой и во французской (ср. английские словари П. М. Роже, Ф. А. Марча и Н. Льюиса, испанские Д. Бенота, Н. Сампера, Г. Карильо и Х. Касареса, итальянские Ф. Карабини, Г. Крещенти-Десиати, У. Орбат-Понарда и др.). Иными словами, история практической идеографии указанного вывода автора не подтверждает.

Совершенно очевидно, однако, что высказанные нами замечания и сомнения ни в коей мере не могут умалять значения рецептируемой книги, поскольку они свидетельствуют скорее о сложности и недостаточной разработанности проблем, с которыми столкнулся автор, чем о недостатках в собственном смысле. Книга Ю. Н. Караулова «Общая и русская идеография» представляет собой несомненный и существенный вклад в исследование проблем общей и русской семасиологии и лексикографии.

Моржовкин В. В., Новиков Л. А.

Р. Н. Попов. Фразеологизмы современного русского языка с архаичными значениями и формами слов. — М., «Высшая школа», 1976. 200 стр.

Книга Р. Н. Попова посвящена анализу одной из самых сложных составных частей русского фразеологического фонда — фразеологическим единицам (ФЕ) с архаичными значениями и формами слов. Изучение таких ФЕ, обладающих сильной идиоматичностью, имеет большое значение как для истории русского языка, так и для понимания процессов фразеологического образования. ФЕ с архаичными компонентами составляют 1/4 часть основного фразеологического фонда (около 600 ФЕ включают лексические архаизмы, около 300 — морфологические и семантические — стр. 48¹). Архаичные компоненты, являясь своеобразными инкрустациями в живой ткани русской фразеологической системы, играют чрезвычайно важную роль: они становятся одним из надежных признаков дифференциации свободных и устойчивых сочетаний.

Р. Н. Попов, подвергнув детальному анализу такие ФЕ в десяти главах своей овографии, развил в ней некоторые теоретические положения, все еще не имеющие однозначного толкования. Фразеология рассматривается им как самостоятельная межуровневая система языка (стр. 19—20). ФЕ — языковая единица, комбинирующая самые разные «уровневые» признаки: синтак-

сические, лексические, морфологические и фонетические. При этом, как верно подчеркивает автор, во фразеологии «происходит как бы деривационный круговорот (разрядка наша. — М. В.) единиц разных уровней и межуровневых систем, ослабевающий и прерывающийся в своей „левой фазе“ по направлению от „высшего“ уровня, т. е. синтаксического, к более „низкому“ уровню, т. е. лексическому» (стр. 15).

Межуровневый характер ФЕ обуславливает и многоаспектное определение этой единицы. Ее характерными признаками называются сверхсловность, семантическая слитность и раздельнооформленность (стр. 24). В отличие от свободных словосочетаний ФЕ характеризуются единством и целостностью значения, устойчивостью грамматической структуры и постоянством ее лексического наполнения (стр. 30).

Всю совокупность ФЕ русского языка Р. Н. Попов делит на две большие группы: ФЕ номинативного типа (*социалистическое соревнование, высшее учебное заведение*) и ФЕ экспрессивного типа (*бить баклуши, разводить турусы на колесах*). Это разграничение в конечном итоге обусловлено отношением автора к экспрессивности, которая не признается общим признаком всех ФЕ. Такая трактовка корпуса фразеологии кажется излишне широкой. Показательно, что теоретическая концепция автора вступает в противоречие с анализом конкретного материала: декларируя в первых главах

¹ В другом месте книги, правда, приводится несколько иная статистика: более 350 ФЕ с лексическими архаизмами и историзмами и 320 — с архаичными грамматическими формами (стр. 184).

книги широкое понимание фразеологии, Р. Н. Попов в ходе изложения оперирует исключительно образцами экспрессивного типа, оставляя без внимания номинативные сочетания. Более того — в монографии можно найти и места, где сам автор аргументированно выступает против отнесения номинативных сочетаний к ФЕ. Так, на стр. 41 ставится под сомнение оправданность отнесения Н. М. Шанским номинативных сочетаний в ряд фразеологических выражений. Наиболее явно противопоставленность номинативных устойчивых сочетаний и собственно фразеологических единиц обнаруживается при сопоставлении их функций. Номинативные единицы используются для обозначения явлений и понятий окружающей действительности, ФЕ — для оценки таких явлений и понятий. Вот почему номинативные сочетания обычно выступают в роли терминов — обладают характерными для последних свойствами и не развивают, как правило, синонимию, в то время как ФЕ служат «украшением» речи, уточняют оттенокность различных экспрессивных лексических пластов и развивают богатую синонимию. Конечно, некоторые признаки номинативных устойчивых сочетаний и ФЕ являются общими: целостность значений, раздельнооформленность компонентного состава и устойчивость. Их функциональные различия, однако, дают достаточное основание для выделения номинативных сочетаний из корпуса фразеологии. Такие сочетания могут рассматриваться лишь в качестве одного из источников пополнения состава фразеологии.

В корпус фразеологии Р. Н. Попов справедливо не включает пословицы: они, действительно, противоречат тем основным признакам, которые признаются автором релевантными для ФЕ. В работе, однако, можно найти примеры нарушения этого принципа. Так, пословица *Игра не стоит свеч* признается фразеологическим единством (стр. 98), а пословица *Подделом ворю и мука* (стр. 100, 141), *Конь о четырех ногах, да и тот спотыкается* (стр. 122, 130, 184), *Бодливой корове бог рог не дает* (стр. 181) — фразеологизмами или фразеологическими выражениями. В качестве иллюстраций можно найти и отдельные афоризмы: *Блажен [тот] муж, кто к нечестивым на совет не ходит* (стр. 145), *Кесарю кесарево* (стр. 178) и под.

Особое внимание в работе уделяется фразеологизации как процессу образования и развития ФЕ. Р. Н. Попов справедливо подчеркивает как сложность и диалектичность этого процесса (стр. 34—35), так и его длительность. По его мнению, «прежде всего формируется семантическая слитность и целостность значения данного словосочетания, позже всего складывается его грамматическая не-

разложимость, в результате которой появляются морфологические и иные архаизмы» (стр. 150). Важнейшими причинами образования ФЕ считают повторяемость употребления свободных словосочетаний, ограниченную лексическую сочетаемость одного из его компонентов, необходимость обозначения с помощью ФЕ единого понятия, являющегося актуальным для данной эпохи, образование по моделям и заимствования из других языков (стр. 23—24). Не все эти причины, например, актуальность обозначаемого ФЕ понятия или образование ФЕ по моделям, можно признать равно активными рычагами фразеологизации. Тем не менее, сама попытка систематизации таких импульсов фразеологизации в рецензируемой книге представляется интересной.

Широко освещена в монографии и актуальная проблема соотношения слова и ФЕ, которая решается в основном на примерах словопроизводства на почве ФЕ. Объективно аргументируется констатация лексемного характера компонентов ФЕ (стр. 49, 51, 54, 170, 171), что особенно важно, поскольку именно ФЕ с архаичными элементами обычно привлекались для аргументации несловности фразеологических компонентов.

ФЕ с архаичными значениями и формами слов анализируются в монографии по уровням. Особое место в этом анализе занимает описание лексических архаизмов в составе ФЕ (стр. 53—80). Такие архаизмы распределены по тематическим группам (соматизмы, анималистическая лексика, обрядовая лексика и др.).

Детально рассмотрены в книге грамматические архаизмы в составе ФЕ. Отдельно описываются ФЕ с архаичными падежными формами имен существительных, с архаичными глагольными формами, с архаичными синтаксическими особенностями. Наглядны парадигмы склонений (стр. 104) и спряжений (стр. 119), «реконструированные» Р. Н. Поповым на основе описания данного типа фразеологии. Наиболее полно отражены старые типы именного склонения (стр. 81). При такой «реконструкции» автор удачно сочетает фразеологический анализ с историко-грамматическим комментированием, привлекая известные труды по русской исторической грамматике.

Отмечая архаичку компонентов ФЕ и их отдельных форм, Р. Н. Попов справедливо подчеркивает, что они не остаются неизменными, что архаические элементы не сковывают гибкости фразеологической структуры (стр. 179). Система современного языка заставляет их «модернизироваться», претерпевать определенные формальные и семантические преобразования, актуализироваться. Не случайной проблеме воздействия современной системы языка на ФЕ с архаичными эле-

ментами посвящена особая и, как кажется, наиболее удачная глава книги. Автор приходит к объективному выводу, что в процессе такой «модернизации» ФЕ «нормализующему воздействию подвергаются компоненты, не порывающие системных отношений с различными уровнями языка и прежде всего с лексическим. Напротив, инертными к воздействию языковой системы остаются компоненты фразеологизмов, выпадающие из системных связей на различных языковых уровнях и прежде всего на лексическом» (стр. 151). Не менее важен вывод о том, что архаичность ФЕ не связана непосредственно со стилистической принадлежностью и употребительностью ФЕ (стр. 158).

Немало в монографии и частных наблюдений, особенно очерков по образованию и употреблению в литературном языке отдельных ФЕ — *звездный час* (стр. 31), *жил был* (стр. 111—112), *притча во языцех* (стр. 77, 142, 149), *святая святых* (стр. 175—177), *шутка сказать* (стр. 123—124).

Разумеется, в содержательной и богатой материалом монографии Р. Н. Попова можно найти и отдельные спорные места, и недочеты. Прежде всего легко заметить некоторую разнородность источников архаизации ФЕ, которую Р. Н. Попов нигде специально не оговаривает. В качестве архаичных описываются и старославянские элементы ФЕ (*аз есмь человек, днєви довлєет злоба его, яко тьма в нощи*), и древнерусские (*бить челом, на поле брани, не на живот, а на смерть*), и фольклорные (*жар-птица, гой еси, душа-человек*), и явно просторечно-диалектные (*бить баклуши, встать на дыбы, гол как сокол, ливня льет*). Разграничение этих источников, как кажется, помогло бы автору сделать описание избранной группы фразеологии более системным и однородным. Иногда Р. Н. Попова можно упрекнуть в излишнем доверии к справочным источникам, по которым приводятся их историко-этимологическое толкование. Таково возведение ФЕ *сбиться с панталыку* к искусственно реконструируемому **pānd-līk* тюркского проис-

хождения (стр. 83)², объяснение ФЕ *ни кола ни двора* на основе диалектного *кол «участок земли»*³ или ошибочную трактовку оборота *с глаза на глаз* как кальки (стр. 25). Не учтена и степень активности отдельных архаичных форм в системе описываемой фразеологии: без этого некоторые парадигмы «реконструируемых» форм (например, форм глаголов на стр. 119) оказываются лишь мнимо полными. Активность — неактивность употребления некоторых лексем, как показывает материал, можно было бы прямо связать с эстралингвистической реальностью (*опочить в бове, в человецех благоволение и под.*).

Р. Н. Попов, как кажется, преувеличивает и роль моделирования в образовании ФЕ для современного языка, приписывая ему все возрастающую роль (стр. 178). История ФЕ обычно показывает, что наиболее интенсивную моделируемость обнаруживают свободные сочетания, фразеологизация же сужает способность к моделируемости, хотя и не уничтожает ее полностью. Преувеличена несколько и роль ФЕ как «консерватора» архаичных элементов: такие словообразовательные архаизмы, как, например, *су-, на-, пра-*, настолько органично сохранились в лексике, что не было необходимости рассматривать их особо во фразеологическом ключе. Не входят в тематическую классификацию Р. Н. Попова также обороты, как *ни зги, отнесенный* к «природным явлениям» (стр. 66), *по стопам* и *с какой стати*, отнесенные к соматизмам (стр. 60). Можно найти и отдельные ошибки в орфографии славянских ФЕ: *памиж* (вм. *паміж*) *жыццём і смерццю* (стр. 143), серб. *итчи* (вм. *ићи*) *за мужа*, чеш. *medži životom a smrt'ou* (вм. *mezi životem a smrti*) (стр. 144).

Приведенные недочеты и опечатки, однако, не умаляют научной ценности монографического исследования Р. Н. Попова. Его труд является существенным вкладом в изучение русской фразеологии с архаичными элементами, вплотную приближающий нас к дальнейшей задаче ее исследования — историко-этимологической интерпретации.

Мокиенко В. М.

² Более аргументированное объяснение см.: М. Ф а с м е р, *Этимологический словарь русского языка*, III, М., 1971, стр. 199.

³ Другие возможные толкования см. в заметке: В. М. Мокиенко, *Ни кола ни двора*, «Русская речь», 1976, 2.

Х. Лувсанбалдан. Тод усэг, тууний дурсгалууд. Ред. Ц. Дамдинсурэн. — Улаанбаатар, БНМАУ Шинжлэх Ухааны Академийн хэвлэх, 1975. 356 стр. *

«Ясным письмом» (тод усэг) принято называть алфавит, создание которого на основе старомонгольского было завершено в 1648 г. буддийским монахом Зая-пандита Намхайдамцо и на базе которого в течение более 300 лет (среди калмыков до 1924 г.) функционирует письменный язык, именуемый в монголистике ойратским, а также и старокалмыцким. Этим письмом пользовались западные монголы, т. е. ойраты, часть которых в начале XVII в. обосновалась на Волге и образовала внешнее основное население Калмыцкой АССР, калмыцкий народ. Буквы «ясного письма» были монофонными, путем некоторых изменений знаков старомонгольского алфавита, полифонным по своим значениям, Зая-пандите удалось создать стройный алфавит, в котором был четко проведен принцип: одна буква — одна фонема, или одна фонема — одна буква.

Монография Х. Лувсанбалдана посвящена изучению «ясного письма» и его памятников с целью уточнения истории его создания и выявления некоторых особенностей ойратского письменного языка. Она состоит из введения, четырех глав, заключения и приложений.

В первой главе рассматриваются литературные источники биографии Зая-пандиты, приводятся краткие сведения о его просветительской деятельности среди ойратов (стр. 7—18).

Во второй главе (стр. 19—78) излагается история «ясного письма», анализируются его графические и орфографические особенности, а также морфологические и лексические черты ойратского письменного языка, что вполне оправдано и очень полезно, так как монгольские читатели до сих пор не имели сколько-нибудь обстоятельного описания «ясного письма»¹. Отметим, что некоторые вопросы графики излагаются здесь более детально, нежели в существующей монголоведной литературе, главным образом в части так называемого «галика», т. е. системы дополнительных знаков для

передачи иноязычных фонем в заимствованных словах (в известной степени эти знаки напоминают собою латинские и греческие буквы, применяемые в русской научной литературе по математике, химии и т. д.).

Третья глава представляет обзор памятников и литературы на «ясном письме» (стр. 79—122). В ней мы находим сведения о том, что в Государственной библиотеке МНР и фондах Института языка и литературы АН МНР имеется более 420 текстов на ойратском письменном языке по самым разным областям знаний. Четвертая глава (стр. 123—160) посвящена переводческой деятельности Зая-пандиты и его учеников. Автор приводит названия шестидесяти пяти переведенных Зая-пандитой сочинений с указанием имен лиц (князей и сановников), по заказу которых был осуществлен тот или иной перевод. Один перечень переводов свидетельствует о колоссальной работе, проведенной Зая-пандитой в области ойратской письменности. Эта работа в области письменности (как переводы, так и оригинальное творчество) сочеталась с кипучей деятельностью Зая-пандиты по политическому сплочению всех монголов перед лицом растущей угрозы со стороны маньчжурской монархии.

Большую ценность представляют обширные приложения к книге. На стр. 161—185 дан список цитированной литературы. На стр. 186—203 приведены даты жизни и деятельности Зая-пандиты (1599—1662) и схематическая карта маршрутов его путешествий. На стр. 204—315 — полный список памятников «ясного письма» с краткими сведениями о месте хранения памятников, авторах и переводчиках, если речь идет о переведенных сочинениях; факсимиле колофонов рукописей и ксилографов, выполненных «ясным письмом», карта распространения этого письма. Важное научное значение имеют колофоны к 65 переводам Зая-пандиты, содержащие сведения о месте, времени, целях и прочих обстоятельствах осуществления того или иного перевода. На стр. 319—336 — резюме на русском языке. На стр. 337—354 — список использованной литературы и указатели имен собственных, этнонимов и географических названий.

В монголистике высказывались предположения, что «ясное письмо» и, следовательно, ойратская письменность должны были «обслуживать всех ойратов»². Алек-

* Х. Лувсанбалдан. Ясное письмо и его памятники. Ред. Ц. Дамдинсурэн. — Улан-Батор, изд-во Академии наук МНР, 1975. 356 стр.

¹ Читатели в России и других странах давно уже располагают такими серьезными исследованиями, как: А. П. Ошеров, Грамматика калмыцкого языка, Казань, 1847; А. Б. Обровников, Грамматика монгольско-калмыцкого языка, Казань, 1849; В. Л. Котвич, Опыт грамматики калмыцкого разговорного языка, Пг., 1915. В этих сочинениях рассматривается, так сказать, калмыцкий вариант ойратского письменного языка.

² Б. Я. Владимирцов, Монгольские литературные языки, «Зап. Ин-та востоковедения АН СССР», 1, Л., 1932, стр. 13.

сей Бобровников же считал ойратский письменный язык отражением живой общемонгольской речи, правда, в ее калмыцкой диалектной форме (поскольку «ясное письмо» распространилось «только между калмыками»), тогда как старописьменный монгольский язык является, по его мнению, как бы книжным «вариантом» той же общемонгольской речи³. Однако с недавнего времени перед монголами встал вопрос: для кого было создано «ясное письмо», только ли для ойратов или же для всех монголоязычных народов? Известно, что Зая-пандита был деятелем общемонгольского масштаба и что во всех ойратских сочинениях буддийского содержания традиционная вступительная молитвенная формула приводится, как об этом и упоминается в самих этих сочинениях, на санскритском, тибетском и монгольском языках⁴. Этим самым ойратские авторы как бы подчеркивали, что они и не думают о каком-то особом ойратском языке, отличным от старописьменного монгольского. Примечательно, что современные ойраты в Сибирские называют свой письменный язык (только ли письменный?) монгольским, о чем говорит и название изданной в Урумчи в 1953 г. книги: «Монгол⁵ келени дурум» («Грамматика монгольского языка») (стр. 69). Этот вопрос не мог быть обойден и Х. Лувсанбалданом. Так, автор обращается к одному из ранних памятников «Ясного письма», к сочинению самого Зая-пандиты под названием «Усгийн найрлага» («Соединение букв») и приводит его высказывание о том, что «ясное письмо» вводится для того, чтобы написанное могло легко читать все монголы (стр. 23—24). Правда, при этом Х. Лувсанбалдан не разъясняет, почему именно в XVII в. возникла необходимость в усовершенствовании письма, т. е. не говорит о причинах чисто лингвистического порядка, о чем будет речь ниже. Автор правильно подчеркивает, что Зая-пандита в сложных политических условиях своего времени, когда перед всеми народами Центральной и Восточной Азии возникла смертельная угроза со стороны маньчжурских завоевателей, принадлежал к группе тех монгольских политических деятелей, которые стремились восстановить единство всех «говорящих на монгольском языке» (монгол хэлтэн). Вместе с тем, автором отмечается, что в ойратских со-

чинениях до середины XVIII в., т. е. в течение ста лет, не наблюдается исключительно ойратских диалектных особенностей (стр. 62).

И все же о языке письменности на «ясном письме» приходится говорить именно как об ойратском, поскольку этот письменный язык получил распространение только среди ойратов, в том числе и на Волге, т. е. среди калмыков. Следовательно, в монголистике вполне правомерно говорить и об ойратском письменном языке вообще, о старокалмыцком письменном языке, в частности. Весьма любопытны приводимые автором сведения о «попытках» (оролдлого) применения «ясного письма» в Бурятии и Халхе, основной территории современной МНР, где безраздельно господствовало старомонгольское письмо. Примечателен и такой важный факт: когда в 1652 г. Зая-пандита был у хошуутского Гуши-хана, владельца феода около оз. Кукунор, сын последнего Далай хун-тайджи предложил ему обратиться к маньчжурскому императору с просьбой о введении «ясного письма» как «обязательного» (хучлуу-лэх) для всех «монголоязычных».

Автор, излагая историю «ясного письма», указывает следующий ареал распространения ойратского письменного языка: 1) на Волге среди калмыков (до 1924 г.); 2) в Западной Монголии среди этнических групп дэрбет, мянгат, баят, захачин, элэт, урианхай, хошоут и торгоут, 3) в некоторых районах Китая, главным образом в Синьцзяне и Алашани, где живут торгоут, хошоут и элэт. Справедливо отмечается, что со второй половины XVIII в. начинается второй период в истории фактического применения «ясного письма», а именно в Синьцзяне и Калмыкии, в каждом из которых язык «ясного письма» все более и более приобретал со временем черты местных ойратских диалектов. В Западной Монголии это письмо применялось лишь в частной переписке, поскольку делопроизводство осуществлялось на старописьменном монгольском языке (стр. 63).

Однако между калмыцким и синьцзянским «вариантами» ойратского письменного языка нет каких-либо существенных различий, если, конечно, не иметь в виду заимствований в области лексики, а также некоторых местных диалектизмов. Следует также помнить о неоднородности ойратских текстов в калмыцких и синьцзянских изданиях. Вот почему синьцзянско-ойратскую орфографию последнего времени не следует противопоставлять калмыцкой как какое-то особое диалектное явление, а, следовательно, и говорить о синьцзянском и калмыцком «вариантах» ойратской письменности.

Причем следует определить, что в ойратской письменности XVII—XX вв. относится к «классическим» орфографическим формам. Это — основное в чисто

³ А. Бобровников, указ. соч., стр. VI—VII.

⁴ G. Sanzhayev, The classification of the Mongolian languages and dialects, Moscow, 1967, стр. 4.

⁵ Заглавными и строчными буквами ([Г], [К], [г] и [к]) передаются в нашей транслитерации монгольских букв веллярные и заднеязычные аллографы соответствующих согласных фонем.

лингвистическом аспекте изучения «ясного письма».

Каковы же собственно лингвистические условия, при которых появилось «ясное письмо», по замыслам Зая-пандиты предназначенное заменить собою старую монгольскую письменность. Этот вопрос, на наш взгляд, не получил в рецензируемой книге должного освещения.

«Ясное письмо» появилось в таких же условиях, что и старописьменный монгольский язык. Б. Я. Владимирцов писал: «Сравнивая монгольский письменный язык (так прежде, до создания современного монгольского алфавита, называли старописьменный монгольский язык. — С. Г.) в его древнейших формах, т. е. в формах XIII в., с монгольскими говорами той же эпохи, можно прийти к заключению, что перед нами два языка, принадлежащие к двум различным стадиям»⁶. Здесь речь идет о том, что, во-первых, монгольский письменный язык орфографически отражает древнейшее состояние монгольских говоров, когда, в частности, вместо современных долгих гласных (и дифтонгов) имелись комплексы «гласный + согласный + гласный», например, *КараГул* «стража» и *джасаГул* «распорядитель», а оппозиции придыхательных [Th] и [Kh] и протых [t] и [k] сменялась оппозицией сильных [t] и [k] и слабых [d] и [g]. Во-вторых, монгольские говоры в XIII в. начали обнаруживать фонетические черты средней, или переходной, стадии, когда указанные комплексы утратили интервокальный согласный, т. е. появились комплексы «гласный + гласный», например, *Караул* и

джасаул (отсюда русские *караул* и *есаул*), комплексы, которым в современных монгольских языках соответствуют долгие гласные, например, *хару:л* и *дзасу:л* (в орфографии *харуул* и *васуул*). Возможно, впрочем, что переходные комплексы представляли собою либо восходящие дифтонги, либо сочетания двух гласных с хиатусом, второй из которых был долгим, т. е. либо [ау], либо [а'у], причем показания монгольских диалектов вряд ли могли быть однозначными, как о том говорят различные свидетельства — ниже обозначаются без знака хиатуса.

Сравнивая ойратский письменный язык в его ранних орфографических формах конца XVII — начала XVIII вв. с монгольскими говорами этого же периода, можно прийти к заключению, что перед нами два языка, принадлежащие к двум различным стадиям, средней и новой. Иными словами, когда в говорах двугласные сочетания начали стягиваться в долгие гласные (*караул* или *карул* → *кару:л*), в «ясном письме» первоначально установилась орфография по нормам средней стадии. Особенность орфографии «ясного письма» заключается в том, что она свидетельствует, что между фазами, например, [ау] и [у:] была еще промежуточная: [оу] (и [оу]).

Долгие [у:] и [у:], имеющиеся в современных монгольских языках, восходят к различным комплексам прошлого. Это нашло свое отражение в орфографии «ясного письма», что иллюстрируется схемой⁷.

1. *уГу* → *чу* → *у:* (*адуГун* → *адуун* → *аду:н* «табун лошадей»)
 угу → *уу* → *у:* (*куджугун* → *куджуун* → *кузу:н* «шея»)
2. *аГу* → *оу* → *у:* (*аГула* → *оула* → *у:ла* «гора»)
 егу → *оу* → *у:* (*егуле* → *оуле* → *у:ле* «облак о»)
3. *уГи* → *уи* → *у:* (*уГитан* → *уитан* → *у:тин* «узкий»)
 уги → *уи* → *у:* (*угиле* → *уиле* → *у:ле* «деяние»)

Однако с течением времени эти соответствия не стали строго соблюдаться, а потому наряду с «классическими» написаниями начали появляться параллельные формы типа *адоун*, *куджоун*, *уула*, *ууле*, *оутин* и т. д. Отсюда и «неистовая безграмотность» ойратской письменности.

Поэтому относительно «неклассических» написаний типа *деурегсен* вместо *дууругсен* ← *дугурегсен* «наполненный» напрасно ставится вопрос: «Можно ли допустить, что предшествующий гласный [у] под влиянием последующего гласного [у] превратился в [о]?» (стр. 41). Автор считает написания *оу*, *оу*, *уу* и *уу* «ясного письма» лишь орфографическими

приемами обозначения долгих гласных [у:] и [у:]. А между тем следовало помнить, что написания *уу* и *уу* в «ясном письме» применялись тогда и только тогда, когда соответствующие двугласные комплексы восходили к древнейшим комплексам [уГу] и [угу], тогда как написания *оу* и *оу* — к комплексам [аГу] и [егу], что в монгольские уже отмечалось⁸. При этом Х. Лувсанбалдан, от-

⁷ В первом вертикальном ряду — древние комплексы, в среднем — промежуточные, а в третьем — современные.

⁸ Н. Н. Поппе, Об отношении ойратской письменности к калмыцкому языку, 7 «Kalmuk-Oirat symposium», ed. by A. Bormanshinov, J. Kruger, Philadelphia, 1966, стр. 199—204; Ш. Лувсанбалдан, Дөрвөлжин, год усгийн

⁶ Б. Я. Владимирцов, указ. соч., стр. 5.

рица я отражение в «ясном письме» двугласных комплексов, совершенно обходит вопрос о том, почему нужно было в этом письме долгие [y:] и [y:] обозначать подобными двубуквенными комплексами и почему нельзя было обозначать их (как и долгий [i:]) поствокальным знаком - (см. ниже)? Вместе с тем автором приводятся интересные примеры типа *нигур* ← *ниГур* «лицо» и *теригуутен* ← *теригуутен* «передовые», т. е. формы позднейшего книжного чтения старых текстов, когда орфографические написания двугласных комплексов стали пониматься как формы передачи долгих гласных (например, ср. старописьменные монгольские написания типа *бирабасагун* ← халх. *бярвааг* ← русск. *перевоз*, *баГадаа* ← халх. *ба:за* ← русск. *баба*, а также синьзяньско-ойратское *пролетаари*, т. е. *пролета:ри* ← русск. *пролетáрий*; напомним, что русские ударные гласные в монгольских языках оказываются долгими).

Х. Лувсанбаддан также высказываетя против фонетической интерпретации ойратского знака -, предложенной монгольским ученым Г. Жамьяном, согласно которой этот знак является поствокальной буквой со значением [-a] или [-e], а не диакритическим знаком долготы гласного⁹. Ср. ойратские написания слов со значением «пыль», «пядь» и «зятьнуть»: *то:сун*, *сө:м* и *да:ра* (по старой интерпретации указанного знака) или *тоасун*, *сөем* и *даара* (по новой интерпретации). Х. Лувсанбаддан упускает из виду, что этот знак применяется только там, где в общемонгольскую эпоху на его месте находился гласный [a] или [e] и что гласные [o] и [e] тогда могли быть только в первом слоге по правилам лабиальной дисгармонии. Поэтому написания в старой монгольской письменности типа *тоГасун*, *сөем* и *монГол* восходят к древним **тоГасун*, **сөем* и **монГал*. Кроме того, необходимо иметь в виду, что в ойратских написаниях слов *чино-а* «волк»

зев бичих дурэмд монгол хэлний урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн нь, «Хэл зохиол», 7-р боть, Улаанбаатар, 1969.

⁹ Г. Ж а м ь я н, Тод усгийн зөв бичих дурэмд урт эгшгийг хэрхэн тэмдэглэсэн тухай асуудалд, «Монголын судлал», 3-р боть, 20-р дэвтэр, Улаанбаатар, 1969. В русском переводе (Г. Д. Санжеева): Г. Ж а м ь я н, Обозначение долгих гласных в ойратском «ясном письме», «Народы Азии и Африки», 1970, 5, стр. 150—153.

и *иро-а* «знамение» сохраняется механическая передача старомонгольских написаний этих же слов: *чино-а* и *иро-а* (не *чину-а* и *иру-а*!), а не изображение конечного долгого [o:].

Наконец отметим, что Х. Лувсанбаддан приводит из книги «Тарни унших аргыг хураасан» («Свод правил чтения заклинаний») интересные строки о том, что краткие буквы «прочитываются» в течение времени, равного времени одного щелчка пальцами, долгие — двух щелчков, а сверхдолгие — трех щелчков (стр. 42 и 329). К сожалению, не указывается, в каких именно словах встречаются такие гласные, а потому трудно судить, что же тут имеется в виду. Дело в том, что второй гласный в комплексах «гласный + согласный + гласный» (в древности) или «гласный + гласный» (в переходное время) был долгим¹⁰. Повидимому, под долгими гласными разумеются такие сочетания, которые образовались из двух одинаковых гласных, например, [aa] ← [aΓa], под сверхдолгими — двугласные сочетания (или восходящие дифтонги), образовавшиеся из двух разных гласных (см. выше примеры *даара*, с одной стороны, и *тоасун* и *сөем* — с другой).

Таким образом, автор книги не заметил того, что в орфографии «ясного письма» отражена переходная, или средняя, стадия в развитии фонетической системы монгольских языков и что знак этого письма — является не диакритическим обозначением долготы гласного, а поствокальной буквой со значением [-a] или [-e]. Отметим к тому же, что поствокальная буква - в «ясном письме» вписывается к вертикальной черте, или к строке, справа, а не слева.

Книга Х. Лувсанбаддана в целом представляет собою весьма ценный труд, хотя в ней имеются очень спорные положения, обусловленные тем, что ее автор, являющийся ныне наиболее компетентным знатоком памятников ойратского «ясного письма», не учитывает в должной мере данных исторической фонетики монгольских языков.

Санжеев Г. Д.

¹⁰ S. h. Hattori, The length of vowels in Proto-mongolian, «Studia Mongolica», II, Ulaanbaatar, 1961. По мнению Н. Н. Поппе (см. его «Монгольский словарь Мукаддимат ал-Адаб», М.—Л., 1938, ч. I—II, стр. 15) в среднемонгольских сочетаниях «гласный + гласный» второй вероятнее всего был долгим.

«Калмыцко-русский словарь», сост. Э. Ч. Бордаев, Р. А. Джамбинова, А. Л. Калев, А. Ш. Кичиков, Ц. К. Корсункиев, М. У. Монраев, Б. Д. Муниев, Д. А. Павлов, Н. Н. Убушаев, под. ред. Б. Д. Муниева. — М., «Русский язык», 1977. 764 стр.

Сектор языкознания Калмыцкого научно-исследовательского института языка, литературы и истории, подготовивший к изданию рецензируемый словарь, наряду с изучением актуальных проблем фонетики, грамматики и лексикологии современного калмыцкого языка ведет интенсивные лексикографические разработки. В настоящее время сотрудники сектора трудятся над созданием отраслевых терминологических словарей-бюллетеней и приступили уже к сбору материала для толкового словаря калмыцкого языка. Успехами языковедов республики выпущены в свет большой «Русско-калмыцкий словарь» (М., 1964), рассчитанный на широкий круг читателей, «Краткий русско-калмыцкий словарь» (М., 1969), предназначенный для школьно-педагогических целей, а также ряд словарей узкоспециального характера¹.

Крупным лингвистическим событием явилось составление первого относительно полного национально-русского словаря. Выход из печати «Калмыцко-русского словаря», включающего довольно обширный грамматический очерк (далее — КРС) существенно восполняет имевшийся пробел в лексикографии монгольских языков. Теперь монголисты и тюркологи, специалисты по алтайским языкам, получают возможность более широкого привлечения данных по калмыцкому языку для историко-этимологических и сравнительно-типологических исследований. Словарь представляет большую ценность и для изучения вопросов лексикологии и грамматики калмыцкого языка. Он может явиться источником сопоставительных наблюдений в области калмыцкого и русского языков. КРС отличается достаточно широким охватом лексики литературного языка, включением интересного диалектного материала, фиксацией значительного количества слов и выражений из разговорного языка. Это особенно касается лексики и терминологии, отражающих хозяйственно-бытовую уклад калмыков в их прошлом и настоящем. В КРС широко представлены дореволюционные русские заимствования, советизмы и интернациональная лексика. Несомненным достоинством словаря является наличие добротного иллюстративного материала:

очень много приведено пословиц, поговорок, загадок, оригинальных примеров из национального эпоса «Джангар». Словарь хорошо отражает различные вариативные явления, относящиеся к сфере фонетики и морфологии. Все заглавные слова даются согласно нормам действующей орфографии и параллельно в квадратных скобках — в практической транскрипции. Словарь учитывает современные процессы в словообразовании калмыцкого языка. В нем зафиксировано немало неологизмов, удачно вписавшихся в структуру современного калмыцкого языка, например: *шалдар* «раствор», *шаһаар* «1. глазок (дверной)», *цуглаар* «1. коллекция», *посла* «маслянистый, жирный», *электророчун* «электроэнергия», *телеуалын* «телевидение», *бензихадлач* «бензохранилище» и т. п.

Семантический объем слов и словосочетаний, в том числе устойчивых, раскрыт с достаточной полнотой, причем перевод текстового материала и отдельных слов в большинстве случаев является достоверным и адекватным. Материал словарных статей квалифицируется с разных точек зрения: грамматической, стилистической и по сфере употребления. Последовательно отражаются производные формы слов, в особенности словообразовательные. Так, в качестве самостоятельных статей выделяются формы родительного и двойных падежей (например, *иньгинэр* «1. по-приятельски, по-дружески; 2. по-любовному»), имена действия *на-лт*, *-лһн*, *-вр*, *-мж*; формы залогов, слова с частичной отрицания *-го*.

КРС вмещает богатый и разнообразный по характеру материал: литературно-научный, фольклорный, диалектный и т. д. Как указывают составители, в словаре помещено 26 тыс. словарных единиц. Естественно, что при регистрации и описании такого количества фактов не могло обойтись без упущений и недочетов. Составители словаря признают, что КРС «безусловно, не лишен недостатков» (Предисловие, стр. 7). В связи с этим хотелось бы обратить внимание авторов данного труда и читателей на некоторые, с нашей точки зрения, наиболее типичные ошибки. В разработке и подаче отглагольных существительных наблюдается семантическая недифференцированность словообразовательных дериватов типа *хайлһһн*, *хайлар* «вспашка, пахота» (стр. 564). Представляется, что в первом случае ведущим является значение действия, процесса, которое точно передается русским словом «вспашка». В слове же *хайлар* превалирует значение результативности, поэтому ее русским эквива-

¹ См., например: «Краткий словарь общенационально-политических терминов калмыцкого языка», сост. Б. Д. Муниев, Д. А. Павлов, Д. П. Педеров, Н. Н. Убушаев, Элиста, 1968; «Краткий калмыцко-русский словарь глагольных фразеологизмов», сост. Г. Ц. Пюрбеев, Элиста, 1971.

лентом является слово «пахота». Аналогичная картина смыслового неразличения имеет место при подаче и переводе морфологических дублетов, например: *тосер, тосаһн, тосат, тосул; харһһн, харһдһн, харһһан харһц*, доминирующим значением которых является «встреча». Недостаточно раскрыты компоненты содержания отдельных слов и нарушена последовательность указания их лексических значений. Например, при слове *сэжусн* с пометой «устар.» приводится значение «амулет, талисман; ладан». Основное же, первичное значение «ангел-хранитель» (ср. *сэж* «охранять, оберегать») не указывается. Смещение основных лексических значений слов на периферию их содержательной структуры обнаруживается и в словарных статьях: *утх* II, *уг*, *зорха* и др. Иногда приходится сталкиваться со случаями, когда калмыцкое слово переводится на русский язык без соответствующего лексического окружения и указания на характер управления. Так, слово *угалх* вм. «обнаруживать отсутствие (кого-, чего-л.)» переводится просто одним словом «обнаруживать». При этом нет указания на переносное значение «тосковать, скучать (по кому-, чему-л.)». Иногда в словаре даются слова, которые вне сочетания не реализуют те значения, какие приписываются им. На стр. 594 слово *холч* выступает под тремя значениями: 1. неутомимый; 2. дальновидный (о человеке); 3. спорт. стайер». Перечисленные значения вскрываются только в составе таких словосочетаний, как *холч кун*, *холч уалта (зэгэцтэ) кун*, *холд гуудэ кун*. Хотя в словаре подача различных разрядов слов решается в основном удовлетворительно, все же следует отметить допускаемые при этом погрешности. Особенно это касается регистрации слов с частицей *-го* «не, без», служащей для образования прилагательных со значением отрицательного качества. Использование частицы отрицания *-го* (ср. монг., бурят. *-гүй*) в качестве словообразовательной морфемы — явление не новое, но и нельзя сказать массовое. То, что находим в словаре, содержит много неясного и спорного. Чувствуется, что сами составители не уверены в правильной подаче и типичном их оформлении. Ср.: *кирго* I и *кир уга*, *көлго* и *көл уга*, *тагго* и *таг уга* (жорн). Конечно, нельзя отрицать тенденцию к фонетическому стяжению и редукции слов и частиц (причем не только отрицательных), но и не следует ее ускорять сознательно. Например, слово-отрицание *уга* «нет, не, без», сочетааясь с глагольными формами на *-ш*, *-л*, *-де*, уже полностью подверглось фузии. Однако едва ли можно считать такие формы, как *шуднго* «беззубый», *сулго* «бесхвостый», *эмалго* «неоседланый, без седла», самостоятельными лексическими единицами. Отдельной словарной статьей даются слова *сааго* «1. любопытный; 2.

невыдержанный, нетерпеливый; 3. недодуманный», *томаго* «несерьезный; невыдержанный» и др., лексемный статус которых еще не совсем ясен. Это же слово, но уже в раздельном написании с *уга* и правильном переводе дается при *тома* 1: *тома уга кун* «нерассудительный, бесподобный человек». По нашему мнению, подобные примеры свидетельствуют о произвольном образовании «новых» слов. В словаре встречаются и другие малоудачные попытки создания неологизмов, например: *нуржалиг* «бассейн», *чикэ* «плотность», *тоомг* «гостеприимный» и др. В монгольских языках имеется словообразовательная модель оценочных прилагательных на *-ргг*, *-ргэг*: монг., бурят. *ууларгг* «гористый»; монг. *чулуургг*, бурят. *шумуургг* «каменистый». Но такого рода прилагательные можно образовывать не от всех имен. В КРС же слова с суффиксом *-ргг* возведены в регулярный тип. См.: *чикргг* «ушастый», *эмэргг* «плечистый», *шудргг* «забастый», *кээрргг* «языкастый». Здесь, думается, авторы словаря калькируют русскую словообразовательную модель на *-аст*, *-ист*, которая обнаруживает семантическую близость с калмыцкой моделью словопроизводства на *-ргг*.

Переводы заглавных слов и текстового материала нередко грешат неточностями, а порой и вовсе ошибочны. См., например: *сандрх* в 1 и 2 значениях, *сарул* во 2 значениях, *зотта*, *зуужр*, *муунас бичэ сур...* и т. п. Иногда при заглавном слове не раскрывается первичное значение. Так, при *асрх* даны производные значения: «1. ухаживать за кем-л.; 2. приносить», но нет исходного значения «кормить, питать».

В ряде случаев приводится грамматически неверное толкование. Так, форма прошедшего времени на *-в* от глагола *бол* «быть, становиться» толкуется как уступительное деепричастие, а дубитативная (предостерегательная) форма *болеза* квалифицируется как повелительно-желательная. Наречие *генткн* II «вдруг, внезапно, неожиданно» расценивается как противительный союз, а слово *алд* «сажень» — как послелег, что неверно. Прилагательное *ик* «большой» с усилительной частицей *-л* (*икл*) неправильно толкуется как превосходная степень.

В словаре находят отражение потенциально возможные, но на самом деле неупотребительные залоговые формы. Таковы, например: *баатрэгдг*, *баатрлцгах* — соответственно страдательная и совместно-взаимная формы от *баатрлх* «проявлять мужество, героизм, вести себя как герой»; *авдрлцх* — совместно-взаимная форма от *авдрлх* «укладывать в сундук, укладывать». Имеют место факты смещения полисемии и омонимии. Например, омонимы *болз* I, II и III даны в одной словарной статье как три значения одного слова: «1. зоол. суслик-самец;

2. торг. (т. е. торгутский диалект. — П. Г.) подкова с шапками (для хождения по скользким местам); 3. торг. бычок-со-сунок в возрасте до одного года». В данной семантической цепи нет никакой, даже отдаленной, этимологической связи. То же самое касается и слова *буһу*.

В целях экономного подхода к материалу и его рационального размещения не следовало бы повторно использовать одни и те же иллюстративные примеры, даже в разных словарных статьях. Некоторые афоризмы типа пословиц и поговорок приводятся по несколько раз. Компактности словаря отнюдь не способствует и то, что написания отдельных слов и словосочетаний не унифицированы. Ср.: *ааг* (стр. 17) и *аг* (стр. 24) «настой (чая)» *агт* (стр. 26) и *акт* (стр. 32) «конь, рысак», *алда унз* (см. *алда* I, стр. 34) и *алдз-унз* II (там же) «ошибки, ущущения» и др.

Судя по иллюстративному материалу, составители словаря широко привлекали примеры из сборников калмыцких пословиц, поговорок и загадок, изданных разными авторами, однако в списке использованных лексикографических источников они отсутствуют (см. стр. 7). Остались не упомянутыми и другие источники по лексикографии монгольских языков. Вероятно, как случайное недоразумение надо понимать тот факт, что, говоря

о калмыцких лексикографических изданиях советского периода, автор предисловия включил в их число и труд выдающегося финского монголиста Г. И. Рамstedта «Kalmükisches Wörterbuch» (Helsinki, 1935).

Кроме указанных выше недостатков, в КРС можно заметить целый ряд опечаток, например: *му* вм. *лу* (стр. 31), *объезженный* вм. *необъезженный* (стр. 41), *нур* вм. *нур* (стр. 565) и др.

И все же, несмотря на отмеченные недостатки, «Калмыцко-русский словарь» под ред. Б. Д. Муниева, безусловно, является трудом, достойным положительной оценки. Он содержит много новых, ранее не известных фактов и систематизирует (хотя и не всегда удачно) разнообразный и обильный материал. Отвечая исследовательским задачам, «Калмыцко-русский словарь» приобретает большое прикладное значение как весьма полезное справочное пособие.

Можно с уверенностью сказать, что многолетняя кропотливая работа коллектива авторов завершилась успешно. Выход в свет первого относительно полного «Калмыцко-русского словаря» — значительное событие в культурной и научной жизни автономной республики.

Тодаева Б. Х., Пюрбеев Г. Ц

А. П. Феоктистов. Очерки по истории формирования мордовских письменнo-литературных языков (ранний период). — М., «Наука», 1976. 160 стр.

Названная монография является итогом многолетних изысканий автора, обобщением и продолжением других его работ¹, посвященных изучению дорево-

люционного периода развития мордовских письменнo-литературных языков. В данном исследовании главное внимание сосредоточено на источниках, которые, по мнению автора, нуждаются в новом освещении.

Монография состоит из краткогo введения, трех глав, выводов и обширных приложений.

Во вводной части, озаглавленной «К проблематике исследования», определяются некоторые особенности в методике изучения путей формирования мордовских литературных языков и дается периодизация их истории.

В центре внимания автора стоят следующие проблемы: определение количественного состава мордовских письменных источников, распределение их по жанрам, лингвистический анализ источников. Принципы анализа выработаны в прежних публикациях и органически включают в себя историко-филологичес-

¹ См.: «Esimene mordva sonastik», в кн.: «Emakeele Seltsi aastaraamat», Tallin, 1959; «Мордовские языки и диалекты в историко-этнографической литературе XVII—XVIII вв.», в кн.: «Очерки мордовских диалектов», II, Саранск, 1963; «Первые текстовые записи на мордовских языках», в кн.: «Congressus secundus internationalis Fenno-Ugristarum», p. 1, Helsinki, 1968; «Истоки мордовской письменности», М., 1968; «Новые данные о письменности финно-угорских народов в 1 четверти XIX столетия», в кн.: «Вопросы финно-угроведения», V, Йошкар-Ола, 1970; «Русско-мордовский словарь. Из истории отечественной лексикографии», М., 1971; «Лексикографический памятник XVIII века („Словарь языка мордовского“), Acta ling. hung., 23 (1—2), 1973; «О мордовских письменнo-литературных языках XIX века», MSFOu, CL, 1973; «On conditions of development of the literary mordvinian languages in the Soviet Union (in the 1920s and

1930s)», СФУ, X, 1974; «Зарождение и становление мордовских письменнo-литературных языков», в кн.: «Congressus tertius internationalis Fenno-Ugristarum», p. 1. Acta linguistica, Tallin, 1975.

кий аспект, в частности, рассматриваются такие вопросы, как языковая принадлежность памятника, авторство, диалектная основа, особенности словарного состава, диапазон варьирования в фонетической, грамматической и лексической системах, а также в принципах правописания на разных этапах развития и функционирования мордовских письменно-литературных языков и некоторые другие вопросы (стр. 6).

Особенно важным представляется вопрос о периодизации истории мордовских письменно-литературных языков. А. П. Феоктистов, по-видимому, прав, считая, что периодизацию истории литературных языков, письменность на которых существует в течение одного-двух столетий или даже меньшего отрезка времени, необходимо строить, опираясь на итоги всестороннего изучения письменных памятников всех имеющихся типов и жанров и сравнительного исследования всех живых говоров и диалектов данного языка (стр. 8).

Различая в истории мордовских литературных языков два основных периода — дореволюционный и послереволюционный, автор отдает предпочтение поэтапной периодизации, которая, по его мнению, лучше согласуется с принципом опоры на показание письменных источников и диалектных данных и детального учета их. Всего выделено четыре этапа: 1) этап зарождения, 2) этап становления и частичной либерализации (дореволюционный, или ранний период), 3) этап формирования литературных норм, 4) этап кодификации литературных норм (послереволюционный период). В монографии рассматривается ранний период, в частности, определяется состав и характер памятников мордовской письменности XVII—начала XX вв. и дается филологический анализ этих памятников.

Исходя из близкого родства эрзянских и мокшанских диалектов и постулируемого им такого экстралингвистического фактора, как «непрерывная на всем протяжении истории общность носителей мокша- и эрзя-мордовской речи», А. П. Феоктистов в основу исследования положил принцип (метод) постоянного сравнения, сопоставления, параллельного изучения данных по обоим мордовским языкам (стр. 5).

Первая глава — «Зарождение мордовских письменно-литературных языков» — посвящена описанию спорадических письменных фиксаций, фрагментарных записей образцов эрзянской и мокшанской речи в виде списков слов, переводов и словарей различного объема. Кроме собственно описания первого этапа истории мордовских письменно-литературных языков, в качестве важнейших задач выдвинуты: изучение принципов письменной передачи языкового материала, регистрация лексических богатств,

запечатленных в памятниках письменности, рассмотрение вопросов преемственности в эволюции мордовских литературных языков (стр. 10).

В разделе «Мордовские языки в источниках XVII—XVIII вв.» проанализировано более десятка различных по объему списков мордовских слов, извлеченных из разных источников. Первую страницу мордовской филологии, в особенности лексикографии, открывает мордовский словарь объемом в 325 словарных статей, изданный в последней четверти XVII в. голландским ученым Н. Витсеном. Проанализированы также извлечения, в основном лексикографические, из дневников Д. Г. Мессершмида, П. С. Палласа, Ф. И. Страленберга, И. Э. Фишера, П. И. Рычкова, И. И. Лепехина, И. П. Фалька, И. Г. Георги.

Естественно, нечеткая в диалектном отношении локализация памятников, отсутствие твердых, научно обоснованных принципов передачи звучания живой речи как латиницей, так и средствами русской графики, непоследовательность в передаче палатальных и палатализованных согласных в середине слова и почти полное неразличение их в исходе слова, фрагментарность снижают в ряде случаев ценность мордовских письменных памятников ранней поры. Тем не менее в указанных источниках, а круг подобных памятников, по мнению автора, будет расширяться по мере дальнейших поисков, сойдутся немаловажные сведения об особенностях материальной и духовной культуры мордовского народа, а также об особенностях мокшанского и эрзянского языков.

Так, опираясь на имеющиеся в настоящее время лексические, фонетические и морфологические расхождения между эрзянским и мокшанским языками, исследователь без особого труда определяет, мокшанским или эрзянским является лингвистический материал.

По таблицам 1—4 (стр. 25, 29—31, 37—41, 43—50) можно составить определенное представление о системе фонем, о вариантах фонем и их сочетаемости в тех живых диалектах, которые так или иначе нашли отражение в мордовских письменных источниках XVII—XVIII вв. Судя по всему, вокализм и консонантизм мордовских диалектов и говоров той поры не выходили из соответственно эрзянской или мокшанской сфер, очерчиваемых современными диалектами и говорами.

Обращает на себя внимание наличие большого количества русизмов уже в самом раннем источнике — в списке мордовских слов Н. Витсена (стр. 15), что свидетельствует о давних и устойчивых мордовско-русских контактах.

Особый раздел посвящен рассмотрению первых мордовских текстовых записей. Они относятся к XVIII в., т. е.

к тому периоду русской церкви, когда ее служители, осознав безуспешность пропаганды среди нерусского населения идей православия на церковнославянском языке, вынуждены были обратиться к просвещению язычников «христианской верой... на языке инородцев» (стр. 55). Не случайно поэтому мордовские текстовые памятники XVIII в. суть, как правило, сакральные переводы, хотя издаю также несколько неканонических текстов. Всего в разделе «Мордовские текстовые записки XVIII в.» проанализировано восемь текстов. Кроме того, к первому этапу относится ряд текстовых памятников, созданных в Нижегородской духовной семинарии под руководством ее ректора Дамаскина, которые уже были предметом исследования А. П. Феоктистова в работе «Истоки мордовской письменности». В настоящей работе исследователь сосредоточивает свое внимание на характеристике особенностей лексики. Он указывает, например, на широкое использование в практике переводов принципа лексического развертывания текста, отмечает также случаи его лексического свертывания, расширение семантики мордовских слов, антонимические переводы и т. д. (стр. 67). Мордовские письменные языки вплоть до 70-х годов XIX в. находили применение главным образом в сфере перевода, причем в отдельных случаях достигалось довольно высокое качество перевода (стр. 66, 70).

Во второй и третьей главах характеризуется функционирование эрзянского (вторая глава) и мокшанского (третья глава) письменно-литературных языков в дореволюционный период. Проанализированы переводы сакральной и русской художественной литературы, относящиеся к XIX — началу XX в., дан обзор мордовских грамматик, учебников и словарей. Отдельные разделы посвящены характеристике опубликованных до революции произведений устно-поэтического творчества мордовского народа. Особенно большое значение, по мнению ученого, имел выход в свет «Образцов мордовской народной словесности» в двух томах (Казань, 1882—1883), которые явились точкой отсчета для второго этапа в истории развития мордовских письменно-литературных языков — этапа частичной либерализации (стр. 103). Значительным явлением для этого этапа было вовлечение в дело пропаганды идей Н. И. Ильминского литературных работников мордовского происхождения (А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев, Н. П. Барсов и др.). Переводы становятся исключительно точными, сравнительно высокого уровня нормированности достигает мордовское правописание (стр. 158).

На основе всего вышесказанного следует, что книга А. П. Феоктистова представляет значительное явление в мордовской филологии. Вместе с тем нам

хочется сделать несколько критических замечаний как в отношении принципов исследования, так и в отношении некоторых формулировок, содержащихся в книге. На наш взгляд, автору не удалось в полной мере руководствоваться взятым им принципом (методом) «честного сравнения, сопоставления, параллельного изучения данных по обоим мордовским языкам» (стр. 5). Думается, это не удалось бы выполнить и любому другому исследователю, так как слишком неадекватен по объему и порой по качеству сопоставляемый материал. Особенно это касается раннего периода. Так, судя по публикациям А. П. Феоктистова, объем эрзянских памятников дореволюционного периода по крайней мере в 10 раз превышает объем соответствующих мокшанских памятников. Не случайно в «Истоках мордовской письменности» анализу эрзянских рукописей посвящено около 80 страниц, тогда как мокшанских — лишь восемь страниц. Небезынтересно и то обстоятельство, что «освобожденные в значительной степени от влияния русского синтаксиса и от элементарных ошибок» (стр. 66), «удачные произведения мордовской литературы» на эрзянском языке относятся к XVIII в. (стр. 59), а сопоставимые по качеству произведения на мокшанском языке созданы лишь в последней четверти XIX в. (стр. 154). Видимо, тезис о решающем значении такого экстралингвистического фактора, как «непрерывная на всем протяжении истории общность носителей мокша- и эрзя-мордовской речи» (стр. 5), нуждается в определенном коррективе.

Не лучшим образом, по нашему мнению, скомпонована сама книга. Согласно объявленному принципу, должно было ожидать хотя бы внешней параллельности в репрезентации эрзянских и мокшанских материалов. Вместе с тем главы II («Эрзянский письменно-литературный язык») и III («Мокшанский письменно-литературный язык») построены без учета принципа параллельности. Известное неудобство создает и то обстоятельство, что среди очерков по истории формирования мордовских письменно-литературных языков ранней поры не оказалось сколько-нибудь развернутых очерков по наиболее выдающимся памятникам XVIII в., таким, как мордовская часть «Словаря языков разных народов в Нижегородской епархии обитающих...», «Словарь языка мордовского», переводы, выподненные И. Тиховым и другими учениками Дамаскина. Существенное расширение раздела «Образцы текстов на мордовских письменно-литературных языках» путем ввода извлечений из названных памятников, а также из словарей Н. Витсена, Р. Ф. Учаева, может быть, даже за счет некоторого сокращения других разделов «Приложений», видимо, было бы весьма полезным, ибо ссылки на прежние пуб-

ликаций не всегда могут удовлетворить читателя.

В заключение отметим, что А. П. Феоктистов в своих изысканиях по дореволюционному периоду мордовской письменности был поистине первопроходцем. Его труды открыли новую, до сих пор почти неизвестную страницу в истории мордовского народа, его культуры. Мордовская филология, имеет, наконец, достаточно полное собрание ранее малоизвестных или вовсе не известных рукописных и печатных памятников мордовской письменности раннего периода и их филологическое описание, добросовестно выполненное. По подсчетам автора, до 1917 г. на мордовских языках было издано не менее пятидесяти отдельных книг. Кроме того, мордовские языковые материалы разного объема и содержания были опубликованы в десятках книг, изданных на русском и западноевропейских языках. Накопился большой рукописный фонд (стр. 158). Открытие этих фондов, введение многих материалов по дореволюционному периоду мордовских письменнолитературных языков в научный оборот, — несомненная заслуга автора.

Благодаря многолетним поискам А. П. Феоктистова, увенчавшимся столь значительными открытиями, появились новые возможности для исследований по мордовской исторической диалектологии, по исторической грамматике мордовских языков (в особенности по исторической лексикологии), а также по истории мор-

довских литературных языков и по истории мордовской литературы.

Теперь можно с уверенностью сказать, что хотя мордовские письменнолитературные языки до 1917 г. еще «не составляли единой системы с устной речью, не обладали всеобъемлющей поливалентностью, допускали сосуществование на равных правах всякого рода регионализмов»², не имели сколько-нибудь массового распространения среди мордовского населения, т. е. достигли лишь ранних ступеней развития донациональных литературных языков, тем не менее мордовские языки следует относить не к младописьменным языкам, как это считалось до последнего времени, а к старописьменным языкам с небольшой дореволюционной литературой³.

Содержание рецензируемой книги, тщательность научного анализа материала, новизна лингвистического материала, используемого автором, ценные выводы — все это свидетельствует о том, что исследование А. П. Феоктистова, несомненно, является крупным достижением не только в мордовской филологии, но и в финно-угорской науке в целом.

Бибин М. Т., Надкин Д. Т.

² Ф. П. Филин, О свойствах и границах литературного языка, ВЯ, 1975, 6, стр. 8.

³ «Основы финно-угорского языкознания. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков», М., 1974, стр. 27

АННОТИРОВАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ПО СЛАВЯНСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ

С 1973 г. в Славянском семинаре Цюрихского университета в рамках проекта Швейцарского национального фонда для развития научно-исследовательских работ (Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung) составляется библиографический справочник по славянской социолингвистике. Основой для него послужил имеющийся библиографический материал, охватывающий более 1000 заглавий. Этот материал собирался с начала 60-х годов, когда само выражение «социолингвистика» употреблялось еще довольно редко. В начале 1978 г. число названий в картотеке превышало 10 000, не включая рецензий.

Основные характеристики проекта.

а) Применительно к определению социолингвистики как научной области. Составители библиографии стараются включить все книги, статьи и рецензии, предметом которых являются вопросы взаимоотношения и взаимодействия меж-

ду языком и обществом — в самом широком смысле. При всех успехах, достигнутых социолингвистами за последние 15 лет, не следует забывать, что до сих пор вопрос о сущности и содержании социолингвистики отнюдь нельзя считать не только решенным, но даже достаточно четко и определенно поставленным. Разумеется, что при нынешнем положении разработки социолингвистических проблем, библиография социолингвистики вряд ли может быть нормативной; она скорее должна иметь характер тезауруса. По этой причине библиография охватывает не только работы по социолингвистике в узком смысле, но и названия по социологии языка, по лингвострановедению и другим областям науки, которые иными учеными — преимущественно неславянских стран — противопоставляются социолингвистике. Возникают, несомненно, затруднения относительно размежевания с дисциплинами, смежными с социолингвистикой: с антропологической лингвистикой, с этнолингвисти-

кой, с психодигвистикой, с этнопсиходигвистикой; в этих случаях в библиографию включаются названия, имеющие более или менее явный «социолингвистический уклон». Другая проблема заключается в выделении собственно социодигвистических работ от исследований «внутрилингвистических». Ведь бывает и так, что иная работа сама по себе посвящена чисто грамматическим проблемам, но во вступлении содержатся важные замечания о связи языка с социальными процессами. Такие работы, как правило, включаются в библиографию.

б) Применительно к языкам. Библиография будет славянской в двойном смысле. Во-первых, она охватывает работы по социолингвистике, основанные на материале славянских языков, — работы славянских и неславянских авторов. Во-вторых, включаются работы славянских авторов по социолингвистике и других языков — английского, немецкого, французского (например, статья М. В. Сергиевского «Проблема социальной диалектологии в истории французского языка XVI и XVII вв.», 1927), а также неиндоевропейских африканских и азиатских языков (например, работы Н. И. Конрада о государственной латинице в Японии или В. М. Алпатова о категории вежливости в современном японском языке). Входят в библиографию, в виде исключения, также работы, написанные на неславянских языках СССР, если они дают возможность обнаружить большой интерес советских лингвистов к проблемам взаимоотношений языка и общества.

в) Применительно к учтенному периоду. Входят названия не только XX в. (вплоть до 1978 г.), но также XIX и XVIII вв., как, например, речь В. Тредиаковского «О чистоте российского языка» (1735).

Расположение материала будет систематическое. Систематика была разработана, с одной стороны, «дедуктивным» путем, с другой же — извлекалась из самого материала во время работы. Систематика может казаться довольно подробной и сложной; но ее подробность и сложность обусловлены междисциплинарным, комплексным и многоаспектным характером самой социолингвистики. Библиография будет состоять из шести главных разделов:

1. Проблемы разработки социолингвистики (ее история, теория, методология; вопросы определения предмета и задач социолингвистики: отношение славянских исследователей к зарубежной социолингвистике).

2. Общие аспекты взаимоотношений языка и общества. Сюда входят, между прочим, функции языка в социальном контексте, языковая ситуация, социальные условия речевой коммуникации, речевое поведе-

ние, язык и мышление, язык и мировоззрение, детский язык, язык и социализация, социальные аспекты языковых изменений, спонтанные и планированные изменения, «прогресс» и «упадок» в языке, оценки языка.

3. Язык и социальная структура. Этот раздел библиографии включает: отражение социальных процессов в языковых структурах (в отдельных уровнях языка, в терминологиях, в ономастике); интегрирующую и дифференцирующую функции языка, речевой этикет, экспрессивные средства; городскую и деревенскую речь, разговорную речь и просторечие и т. д.; функциональные стили (публицистики и массовой коммуникации: язык радио, телевидения, язык кино и театра; стиль науки и «стиль художественной литературы», деловой и канцелярский язык); специальные языки (арго, жаргон, сленг), языковые табу, эвфемизмы, тайные языки; языки отдельных слоев общества; языки религиозных групп; военный жаргон, студенческий, семинарский язык и т. д.

4. Язык и культура. Сюда входят, между прочим, заглавия по семантике языка и культуры, по вербальной и невербальной коммуникациям, по отражению культурных и технических процессов в языке (включая НТР).

5. Идеология, политика и язык. В этом разделе собраны работы о языковой норме в разных ее социальных и идеологических аспектах, о культуре речи и языка, о языковой политике, о воздействии на язык политических изменений, о языковом строительстве; кроме того, сюда же включена литература о русском языке как средстве межнационального общения, о языковых контактах и о союзах, славянских койне, искусственных языках; о вопросах языковых границ, о пурризме.

6. Общество, язык и художественная литература. Сюда войдут работы о взаимоотношениях языка художественной литературы и литературного языка, о социолингвистической оценке произведений художественной литературы (отдельных периодов, жанров и писателей), о социальной характеристике и о нестандартных вариантах в художественной литературе, а также о социолингвистических аспектах перевода художественной литературы, об истории восприятия и действия социолингвистических явлений поэтических текстов и т. д.

Внутри отдельных разделов библиографии (всего их свыше 150) названия будут расположены по языкам (русский, украинский, белорусский и т. д.), если такой порядок окажется оправданным количеством названий; в других случаях названия даются в алфавитном порядке по авторам. В конце будет дан алфавитный реестр.

Библиография будет аннотированной, причем комментарием будет снабжена приблизительно пятая часть вошедшего в нее материала. Комментарии даются краткие, до пяти строк; они имеют целью оправдать включение книги или статьи в библиографию или же в данный ее отдел, если такое оправдание не содержится в самом названии. Задача комментариев при явно социолингвистическом характере названия — дать краткую информацию о содержании или же оценку данной работы. Кроме комментариев (на немецком языке) в библиографии, как правило, учтены также рецензии книг и статей, причем только выборочно, если их очень много.

Большая часть названий принималась в библиографию по принципу *de visu*, другие были взяты из самых различных библиографических пособий. Неоценимую помощь оказали разные библиографии, например, «Rocznik Slawistyczny» (с 1908 г.), «Bibliographie linguistique du Comité International permanent des linguistes» (с 1939 г.), библиографические указатели ИНИОН'а; справочники Тыля и Двонча для чешской и словацкой литературы, «Библиографический указатель по русскому языку 1825—1880 гг.», библиографии в славистических журналах («Български език», «Южнoслoвeнски филолог», «Revue des études slaves», «Slavische Rundschau» и т. д.).

Располагая большим объемом, библиография все же не может считаться полной по той простой причине, что предварительные библиографические разыскания в отдельных странах и для отдельных периодов не равномерны. Имеются

пробелы, и, возможно, очень важные, особенно в тех разделах, для которых пришлось бы искать материал в специальных изданиях, как, например, для языка театра и кино, для профессионального жаргона актеров и для других подобных специальных вопросов. Составители будут рады, если такие пробелы послужат поводом для составления специальных библиографий по данным областям. Ведь их главная цель — дать систематизированную общую картину разработки социолингвистических проблем в широком смысле и, таким образом, облегчить процесс дальнейшего усовершенствования социолингвистической теории и методики. Составители уверены, что пробелы — а иногда и излишество — в разработке тех или иных социолингвистических вопросов станут более очевидными, если представится возможность сравнительного изучения достижений социолингвистики в отдельных славянских странах и относительно отдельных славянских языков. С целью поощрить исследовательскую деятельность указанием на возможные темы и подходы, в библиографию включается также известное число работ, посвященных и неславянской социолингвистике (например, книга: P. Schneider, *Die Sprache des Sports. Terminologie und Präsentation in den Massenmedien*, Düsseldorf, 1974; и др.). Такие названия будут обозначены звездочкой. Составители надеются, что библиография, рассчитанная на два тома, сможет выйти из печати в 1979 или же в 1980 г.

Бранг П., Цюллиг М.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

7—9 сентября 1977 г. в г. Оломоуце (ЧССР) состоялся симпозиум по проблемам марксистского языкознания. В его работе приняли участие виднейшие лингвисты Чехии и Словакии. Основной проблематикой симпозиума было обобщение методологического научного опыта марксистско-ленинского языкознания в Чехословакии и других социалистических странах. Прочитанные доклады имели теоретический характер, в них развивались и иллюстрировались конкретными примерами принципиальные положения марксистско-ленинской диалектики.

На необходимость глубже изучать основные положения классиков марксизма-ленинизма о языке и более органично применять их в конкретной исследовательской практике указал в своем докладе Я. П е т р. В докладе К. Г о р а л е к а «Актуальные проблемы философии языка» критически обобщались достижения лингвофилософии и ставились задачи освещения наиболее актуальных лингвистических вопросов в спектре марксистского учения. Анализ основных методологических вопросов лингвистики в их применении к истории языка дали в совместном докладе Ш. П е ц н а р и А. Л а м п р е х т, продемонстрировав некоторые выдвинутые ими положения материалом старославянского языка.

На вопросах марксистской концепции языка — прежде всего проблеме соотношения «язык — мышление» и «язык — реальная действительность» остановился Й. Г о р е ц к и. П. О н д р у с проследил развитие взглядов на эту проблематику в истории языкознания. Я. Б о с а к в докладе «Категории марксистской диалектики и языкознания» выступил против абсолютизации отдельных противоположных сторон изучаемых языковых явлений. Факт, что границы таких явлений не остаются неизменными, а постоянно развиваются, требует от исследователя диалектизма как особого метода мышления. О различных путях применения методов марксистской диалектики в современном языкознании говорил на симпозиуме Я. К о р ж е н с к и.

Во многих докладах подчеркивалась роль советского языкознания в пропаганде и теоретическом развитии идей марксизма-ленинизма. Характерно, что именно докладом В. Г р а б е и В. Б а р н е т а «Значение советского языкознания для чехословацкой лингвистики» было открыто первое заседание симпозиума. Р. З и м е к в докладе «Оценка пражского структурализма в советском языкознании» сделал глубокий анализ отношения советских лингвистов к теории пражского лингвистического общества, начиная с 1945 г. Показав, как постепенно менялась оценка пражского структурализма в советском языкознании, докладчик подчеркнул, что, приняв некоторые его положительные принципы, советская лингвистика решительно отмежеввалась от теоретических положений, противоречащих марксистско-ленинскому пониманию языка. Критическую оценку теоретической концепции пражской лингвистической школы и словацкого лингвистического структурализма с марксистских позиций дали Н. С а в и ц к и й и Й. Р у ж и ч к а.

Большое внимание уделялось на оломоуцком симпозиуме центральным лингвистическим проблемам, особенно проблеме системности, соотношения языка и мышления, языка и речи, взаимодействия языка и общества, актуальным проблемам литературного языка.

В докладе «Понятие системы и структуры в языке и языкознании» В. К р у п а подчеркнул, что категория системности глубоко связана со всеобщим принципом диалектического метода познания. Системный анализ не может ограничиваться лишь описанием статических фактов, но должен вскрывать процессы перехода системы от одного состояния в другое, т. е. касаться и сложных процессов становления или преобразования языка в ходе речевой деятельности. В. Г р а б е в докладе «Вводные замечания к проблематике языка, мышления и сознания» показал взаимосвязь мыслительного процесса и речевой деятельности, исходя из философских позиций современного материализма. Психолингвистический ас-

пект взаимодействия «язык — мышление — речь» попытался осветить в своем докладе И. П р у х а, который подверг критическому анализу бихевиористский, необихевиористский и когнитивистический подходы к этой проблематике, опираясь на ее марксистскую трактовку (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, А. А. Леонтьев и др.). Н. К а р у с о в а в докладе «К проблематике семиологических (семиотических) языков» сделала попытку обобщить достижения материалистически-диалектической гносеологии в изучении семиотических систем.

Социолингвистической проблематике были посвящены доклады И. С к а ц е л а «К теории общественных функций языков при социализме» и П. З и м ы «К вопросу отношения языка и общества в Африке и на Востоке». Первый докладчик на конкретном материале показал влияние социальных факторов на некоторые центростремительные языковые процессы, происходящие в странах социализма, прежде всего в Чехословакии. Второй докладчик продемонстрировал специфику вневвропейской (Азия и Африка) ситуации, подчеркнув, что изучение последней значительно обогащает общую теорию и практику социолингвистики. О проблемах литературного языка говорил в своем докладе В. К р ш и с т е к, опираясь прежде всего на материал чешского письменного языка.

Прочитанные на симпозиуме доклады вызвали оживленную дискуссию, в которой выступило около 50 человек. Эта дискуссия помогла глубже и конкретнее обсудить проблемы, поставленные на оломоуцком форуме чехословацких лингвистов. Симпозиум показал, что чехословацкое языкознание, известное своими традициями, способно решать самые сложные вопросы лингвистической теории и практики на подлинно марксистско-ленинской основе.

Мокшенок В. М. (Ленинград)

*

26—27 сентября 1977 г. в г. Карачаевске была проведена научная конференция «Советский опыт создания и совершенствования алфавитов и орфографий языков народов СССР», посвященная 60-летию Великой Октябрьской Социалистической революции. В работе конференции приняли участие ученые из 11 союзных, 14 автономных республик, 3 автономных областей, учителя школ, преподаватели вузов.

Конференцию открыл акад. АН АзССР М. Ш. Ш и р а л и е в (Баку). Он отметил, что Советская страна достигла огромных успехов в неуклонном осуществлении ленинской национальной политики, полного равноправия свободно раз-

вивающихся наций, народностей, их культур и языков. К числу важных достижений Страны Советов относится создание письменностей для 50 ранее бесписьменных языков, повышение роли родных языков в подъеме общеобразовательного и культурного уровня их носителей. Советский опыт решения национально-языковых проблем представляет большой международный интерес, он широко используется в зарубежных странах.

С приветственным словом к участникам конференции обратился секретарь Карачаево-Черкесского обкома КПСС С. Х. С е м е н о в, рассказавший в своем выступлении об успехах в развитии экономики и культуры народов, населяющих Карачаево-Черкесскую автономную область.

Основные доклады были посвящены анализу советского опыта создания и совершенствования письменностей. В Советском Союзе усовершенствование письменности, направленное на ее демократизацию, началось с реформы русского алфавита в 1918 г. по предложению В. И. Ленина. Следуя ленинским принципам решения языковых проблем в многонациональном государстве, ученые в настоящее время уделяют много внимания проведению работы по дальнейшему усовершенствованию алфавитов и орфографий литературных языков народов СССР, учитывая жизненные интересы и потребности широких масс трудящихся.

К. М. М у с а е в (Москва) в докладе «Основные достижения в разработке и совершенствовании алфавитов и орфографий языков народов СССР» осветил наиболее важные процессы языкового строительства в послеоктябрьский период, которые были направлены на устранение основных недостатков дореволюционных письменностей ряда языков: сложность систем письма, их недоступность для народа, отсутствие норм письменности, недостаточная разработанность теории письма и др. Языковое строительство проходило в три этапа: I этап (1918—1926) — усовершенствование существующего у каждого народа письма; II этап (1926—1936) — этап латинизация письменности и создание новых письменностей для ранее бесписьменных языков; III этап — (1937—1941) — этап перехода на славяно-русскую графическую основу. Наиболее важными для культурной революции в стране были II и III этапы. Докладчик отметил, что алфавиты, созданные на основе славяно-русской графики, должны были отвечать следующим требованиям: 1) полно отражать специфику системы национального языка; 2) быть возможно максимально унифицированными с алфавитами других языков, пользующихся общей графической основой; 3) обеспечивать быстрое и легкое усвоение грамоты на разных языках, а также изучение русского языка представителями данной

письменности. Докладчик рассмотрел и теоретически обосновал принципиально возможные пути совершенствования графики и орфографии языков народов СССР.

Доклад М. А. Хабичева (Карачаевск) «Алфавиты и орфографии языков народов Карачаево-Черкесской автономной области» содержал историю создания письменностей карачаево-балкарского, кабардино-черкесского, абазинского и ногайского языков, которые впервые за все время своего существования в советский период стали литературно-письменными языками. Автор остановился на этапах развития названных письменностей — латинизации, переходе на славяно-русскую основу письма. Много внимания в докладе было уделено функционированию национальных языков Карачаево-Черкесской автономной области на современном этапе и их широкому применению в разных сферах жизни народа — издание книг и журналов, народное образование. В докладе были обстоятельно рассмотрены актуальные проблемы совершенствования и дальнейшего развития письменностей карачаево-балкарского, кабардино-черкесского, ногайского и абазинского языков.

Широкая палитра развития письменностей тюркских языков была показана в докладе Н. А. Баскакова (Москва) «Достижения в разработке и совершенствовании алфавитов и орфографий современных тюркских языков». Письменности успешно функционируют, но в связи с расширением общественных функций языков, а также растущей социальной потребностью межнационального общения и развитием двуязычия нуждаются в дальнейшем совершенствовании и унификации. В докладе были приведены некоторые научно обоснованные предложения по улучшению алфавитов конкретных тюркских языков.

Состоянию алфавитов и орфографий иранских языков, носителями которых в СССР являются таджики, осетины и курды, был посвящен доклад Б. С. Асиямова и Ч. Х. Бакаева, М. И. Исаева (Москва). Следует отметить, что для курдского языка впервые в истории была создана письменность и разработаны правила орфографии. Особое внимание в докладе было уделено основным принципам письма, достижениям в развитии письменностей ираноязычных народов, а также таким проблемам, как орфографирование русских и интернациональных заимствований, правописание сложных слов, пунктуационные правила. В докладе были рассмотрены те процессы языкового развития, которые влияют на нормирование языка, в частности орфографии.

В докладе А. А. Дарбеевой и Г. Ц. Пюрбеева (Москва) «О графике и орфографии монгольских языков

народов СССР» был проанализирован опыт создания и совершенствования алфавитной системы калмыцкого и бурятского языков, рассмотрен вопрос о графической реализации редуцированных гласных в калмыцкой орфографии и правописании некоторых типов заимствованных из русского языка слов. Проведя графемологический анализ, авторы считают, что алфавиты рассматриваемых языков требуют частичной унификации: устранения избыточной в передаче на письмо сходных звуков и дифференцированного обозначения различных по характеру фонем. Докладчики сделали ряд конкретных рекомендаций по восстановлению долгих и редуцированных гласных в орфографии калмыцкого языка и правописанию заимствованных слов в языках монгольских народов СССР.

М. А. Кумахов (Москва) в докладе «О состоянии алфавитов и орфографий младописьменных иберийско-кавказских языков» отметил, что достоинством действующих алфавитов разбираемой группы языков является более полное по сравнению с предшествующим периодом отражение фонологических систем данных языков. Главные проблемы совершенствования алфавитов младописьменных иберийско-кавказских языков связаны с разнообразием и богатством их фонологических систем (в некоторых из них насчитывается свыше 60 фонем). Поэтому возникают трудности при обозначении фонем на письме: одной графемой обозначаются разные фонемы, одна фонема обозначается разными графемами, группа фонем обозначается одной графемой, общий дифференциальный признак фонемы (лабиализация, мягкость, твердость, абруптивность и др.) обозначается разными знаками и т. д. Докладчик подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования существующих алфавитов и орфографий, важность координации работы по улучшению алфавитов и орфографий близкородственных языков.

Г. И. Ермашкин (Москва) в докладе «Алфавиты и орфографии восточных языков народов СССР (вожжская и пермская группы)» подчеркнул, что литературные нормы этих языков стали разрабатываться лишь в советский период: была определена для них диалектная основа, разработаны орфографические нормы, созданы учебники, введено преподавание на родном языке. С самого начала появления письменности восточно-финские народы пользуются алфавитом на славяно-русской графической основе. Недостатки алфавитов и орфографий этих языков состоят в неполной унификации алфавитов близкородственных языков, в отсутствии специальных графем для некоторых фонем. До сих пор не решена проблема написания сложных слов, а также заимствований из русского разных периферий.

На секционных заседаниях состоялось обсуждение пленарных докладов и были заслушаны доклады других участников конференции. Среди выступавших были: акад. АН АзССР М. Ш. Ширалиев (Баку), чл.-корр. АН БССР М. Р. Судник (Минск), чл.-корреспонденты АН КазССР М. Б. Балакаев, Г. С. Садвакасов (Алма-Ата), чл.-корр. АН ТуркмССР Б. Ч. Чарыяров, Т. Т. Тачмурадов (Ашхабад), чл.-корр. АН ЛитССР К. М. Ульвидас, Н. К. Слижене (Вильнюс), А. М. Дырул (Кишинев), А. Я. Ближенна (Рига), Ю. Д. Дешериев, И. В. Кормушин, В. Ю. Михальченко (Москва), Э. Абдулдаев (Фрунзе), Н. Маматов (Ташкент), Д. С. Насыров (Нукус), Г. Б. Муркелинский (Махачкала), А. Н. Савченко (Ростов), Ф. Ганиев, В. Х. Хаков (Казань), Д. А. Монгуш (Кызыл), П. Ц. Биткеев (Элиста), Л. П. Сергеев (Чебоксары), А. Г. Бишев (Уфа), А. Т. Тыбыкова (Горно-Алтайск), А. А. Шаов, З. У. Блягоз, Ю. А. Тхаркахо (Майкоп), Н. Сакиев (Армавир), П. М. Багов, Ж. М. Гузеев, А. А. Жапцуев (Нальчик), С. А. Калмыкова, В. Н. Меремкулов (Черкесск), В. М. Вахрушев (Ижевск), Л. Д. Шагдаров (Улан-Удэ) и др.

В своих рекомендациях конференция отметила: необходимо продолжить в дальнейшем исследовательскую работу по усовершенствованию алфавитов и орфографий языков народов СССР; целесообразно провести региональные конференции, посвященные конкретным вопросам усовершенствования и унификации орфографий и алфавитов, базирующихся на славяно-русской графике; нужно усилить работу по исследованию теоретических проблем письменности, обратив внимание на наиболее сложные вопросы — правописание сложных слов, орфографирование заимствованных слов; совместными усилиями центральных и местных научных учреждений создать труд, посвященный анализу современного орфографирования слов, входящих в общий лексический фонд языков народов СССР; рекомендовать местным лингвистическим учреждениям создать двуязычные русско-национальные орфографические словари наиболее употребительных русских и интернациональных заимствований в национальных языках в помощь средней школе.

Михальченко В. Ю. (Москва)

Ю. КУРИЛОВИЧ (1895—1978)

В январе 1978 г. умер Ю. Курилович — крупнейший индоевропеист старшего поколения. С его именем связана целая эпоха в развитии сравнительно-исторического индоевропейского языкознания. В 1927 г. тогда еще совсем молодой польский лингвист печатает небольшую статью, в которой показывает, что в незадолго до того расшифрованном древнейшем письменном индоевропейском языке — хеттском — можно найти прямое отражение индоевропейской фонемы, на основании внутренних структурных соображений реконструированной за полвека до того Ф. де Соссюром в его юношеском «Мемуаре». Открытие Куриловича наглядно продемонстрировало огромные возможности сравнительно-исторического языкознания и, в частности, примененного Соссюром в «Мемуаре» метода внутренней реконструкции, которым далее широко пользуется Курилович. Это открытие заложило фундамент современной ларингальной теории, развитием которой способствовали многочисленные статьи Куриловича последующих лет и его «Индоевропейские этюды», вышедшие в 1935 г. Как обнаружил Курилович одновременно с другим крупнейшим индоевропеистом этого поколения — Бенвенистом (чья книга о структуре индоевропейских основ вышла в том же году, что и «Индоевропейские этюды»), ларингальная теория дает возможность построения единообразного описания всех индоевропейских корней. Возникающие при этом морфонологические и морфологические проблемы Курилович рассматривает прежде всего с точки зрения относительной хронологии, которая, по его мнению, является центральным вопросом сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков.

Если в классической младограмматической теории индоевропейский праязык оказывался недифференцированной совокупностью реконструированных праформ, то Курилович поставил перед собой задачу изучения истории этого языка, не допуская обычного для исследований предшествующего времени смешения разных периодов и широко используя метод внутренней реконструкции. Из числа бесспорных выводов, полученных им на этом пути в «Индоевро-

пейских этюдах» и подтвержденных дальнейшими исследованиями, достаточно указать на идею о позднем характере ряда падежей множественного числа. Для доказательства этой идеи Курилович наряду с другими доводами указывал на особое положение этих падежей в парадигме древнеиндийского имени, где они выделяются потому, что в них безударность не ведет к наличию нулевой огласовки и обратно — ударение не исключает этой последней. Таким образом, уже в этой первой книге Курилович использовал для внутренней реконструкции не только восстановленные индоевропейские формы, но и данные одного индоевропейского языка, изучаемые в их взаимосвязи. В дальнейших трудах Куриловича такое исследование одного языка становится и средством для реконструкции индоевропейского праязыка.

По мнению Куриловича, картина праязыка в традиционной сравнительной грамматике представляет собой смесь разнородных фактов, противоречащую пониманию языка как системы. Для того чтобы избежать этой ошибки, Курилович считал необходимым при восстановлении праязыка опираться на один из родственных языков. В каждом языке существуют архаические явления, позволяющие частично реконструировать его доисторические черты. По Куриловичу, с помощью таких явлений (т. е. на основе метода внутренней реконструкции) и следует восстанавливать праязык, причем в восстановленную таким способом картину праязыка можно внести поправки на основании сравнения с другими родственными языками только в том случае, если эти поправки не противоречат системе. В каждом отдельном случае следует установить, какой из родственных языков должен быть выбран в качестве основы для реконструкции. В частности, для восстановления системы праязыкового ударения в своей книге об акцентуации в индоевропейских языках, вышедшей первым изданием в 1952 г., Курилович выбрал в качестве основы древнеиндийский (ведийский), так как он не нашел в ведийском ударении нововведений по сравнению с другими языками, тогда как другие языки, по его мнению, обнаруживают нововведения в области ударения по

сравнению с ведийским. Следовательно, согласно методу, предлагаемому Куриловичем, задача сравнения родственных языков друг с другом сводится к определению языка, который должен быть выбран в качестве основы для реконструкции. Сама же реконструкция осуществляется в основном не с помощью сравнения, а на основе архаических элементов одного языка.

При таком понимании реконструкции важнейшей задачей стало определение тех черт отдельных индоевропейских языков, которые должны считаться новообразованиями и поэтому не могут использоваться при внутренней реконструкции праязыка. В серии статей об ударении в индоевропейских языках, завершаемой книгой на ту же тему, Курилович с конца 40-х годов доказывал, что балтийские и славянские интонации, с одной стороны, и греческое ударение, с другой, явились результатами независимого развития каждого из этих диалектов и не могут быть сведены друг к другу. В той крайней форме, в которой это положение было высказано Куриловичем, оно не нашло поддержки у исследователей индоевропейской акцентуации. Но намеченные Куриловичем основные типы акцентных парадигм и предложенный им метод описания морфологических функций ударения оказали большое влияние и на тех исследователей, чьи выводы ближе к пониманию истории интонаций в классической индоевропеистике.

Стремление выделить черты, являющиеся новообразованиями отдельных языков, характерно и для цикла работ Куриловича о чередованиях гласных в индоевропейских языках, завершаемого опубликованной в 1956 г. книгой об индоевропейской апофонии. Согласно Куриловичу, результатами инновации оказывается долгая ступень чередования гласных как в индоиранском, так и в балтийском и славянском. Ценность книги об апофонии, как и монографии об акцентуации, состоит в последовательном рассмотрении всех морфологических функций изучаемых явлений. Факты, у младограмматиков и Хирта объяснявшиеся чисто фонетически, у Куриловича находят морфологическое объяснение. В качестве яркого примера можно сослаться на закон Бругмана, по которому **o* в открытом слоге дает *ā* в древнеиндийском. Курилович показал, что речь идет о преобразовании древнего качественного чередования гласных в количественное в определенных морфологических категориях. Впоследствии обе эти книги — об акцентуации и апофонии — в переработанном и сокращенном виде составили выпущенный в 1968 г. первый (по времени издания, но второй по нумерации) том («Акцент. Аблаут») новой сравнительно-исторической грамматики индоевропейских языков, кото-

рая начала выходить в издательстве Виптер под редакцией Куриловича (при жизни Куриловича успел выйти только еще один том этого издания).

В области индоевропейской морфологии самым крупным достижением Куриловича было обнаружение им (одновременно с другим крупным индоевропеистом и славистом — Стангом, умершим в минувшем 1977 г.) общности происхождения индоевропейского медиапассива и перфекта. Опубликованное в 1932 г. Куриловичем изложение этого открытия, связанного с внутренним анализом индоевропейских и хеттских глагольных окончаний в свете ларингальной теории, заняло всего четыре страницы. Но эта работа явилась одним из главных стимулов для предпринятой лингвистами следующих поколений радикальной перестройки в свете данных хеттского языка представлений об индоевропейском глаголе, сложившихся у младограмматиков. Признавая важность фактов хеттской морфологии, заставляющих возвести к праязыку различие между спряжениями на *-ti* и на *-hi*, Курилович тем не менее был далек от мысли, что один хеттский язык достаточен для реконструкции индоевропейского. В своем обзорном докладе о хеттском языке на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло в 1957 г. Курилович показал, что ряд явлений в системе хеттского глагола (в частности, различие двух времен в спряжении на *-hi*, возникшее под влиянием спряжения на *-mi*) следует считать новообразованиями. Поэтому хеттский глагол не может служить непосредственно для реконструкции общиндоевропейского. Как выразился сам Курилович, хеттский язык в его докладе «был свергнут с престола».

На протяжении многих лет Курилович исследует такие основные проблемы истории славянского глагола, как возникновение видовых противопоставлений, послужившее еще в 1929 г. предметом одной его статьи, известной читателю по ее русскому переводу в сборнике «Вопросы глагольного вида». Курилович и в статьях позднейшего времени, вплоть до совсем недавних, постоянно возвращался к занимавшим его вопросам становления системы славянского глагола. Из несомненных его удач в статьях последнего времени достаточно упомянуть открытое им в 1965 г. продолжение индоевропейской формы, давшей перфект в других языках, в славянских глаголах типа **mъnitъ* (при литов. *mini*), а также данное в статье 1967 г. объяснение праславянской формы **damъ* из **dōmi*, образовавшегося под влиянием глаголов типа **ēdmi*.

Вопрос о соотношении вида и времени, занимавший его по отношению к славянскому глаголу, ставился им и применительно к другим индоевропейским, на-

пример иранским, языкам. Именно в связи с исследованием этого вопроса он формулирует ту общую систему глагольных категорий, которую позднее он широко использовал, в частности, в своей книге о морфологических категориях индоевропейских языков, вышедшей в 1964 г. Особенностью этой книги является органическое сочетание в ней труда по общему языкознанию со сравнительно-историческим исследованием развития основных морфологических (и некоторых синтаксических) категорий от общиндоевропейского к отдельным диалектам и конкретным языкам. Всякий раз Куриловича интересует прежде всего проверка некоторых основных общелингвистических положений. Но именно они дают основание для таких реконструкций, которые оказываются чрезвычайно важными и для компаративистики. Достаточно сослаться на развитие Куриловичем в этой книге идеи о древнем именном (возможно — адъективном) характере перфекта, повлиявшей на последующие труды об индоевропейском глаголе.

Вышедший первым изданием в 1960 г. сборник общелингвистических и сравнительно-исторических статей Куриловича «Очерки по лингвистике» был в 1962 г. издан в русском переводе и уже поэтому хорошо известен читателю. В этой книге при всей спорности многих конкретных решений подкупает предельная сжатость и ясность изложения и владение огромными материалами истории очень большого числа языков (прежде всего славянских, романских, германских, индоиранских, греческого), служащих основой для сделанных в книге обобщений. Курилович впервые после младограмматиков подверг тщательному изучению основные принципы языковой эволюции, сформулированные им в виде общих правил в статье (впервые изданной в 1949 г., но вошедшей в этот сборник) «О природе так называемых „аналогических“ процессов», ставшей классической. Трудно представить себе сейчас серьезную лингвистическую работу по диахронической грамматике, которая не использовала бы идей этой статьи. В более ранней статье 1938 г. «Структура морфемы», включенной в этот же сборник, Курилович метод, которым он пользуется, называет «аксиоматическим мышлением» в смысле Гильберта. Речь идет о том, чтобы любой сколь угодно специальный вопрос свести к некоторым элементарным положениям, из которых может быть легко получено решение задачи. Примером таких элементарных положений и могут служить сформулированные Куриловичем законы аналогического изменений. В этом глубоком смысле Курилович может считаться непосредственным предшественником математической лингвистики, стремящейся к последователь-

ному применению того же аксиоматического метода. Другой чертой, объединяющей общезыковедческие работы Куриловича с новейшими лингвистическими течениями, является отчетливое осознание им первенствующей роли общей теории знаковых систем — семиотики (или в его терминологии, ориентирующейся на сосюрловскую, — семмологии). Его «Очерки по лингвистике» открываются посвященной этой проблеме статьей «Лингвистика и теория знака», впервые напечатанной в 1949 г. В ней он утверждает, что «по отношению к лингвистике и к другим социологическим наукам семиология должна занимать такое же место, какое занимает физика по отношению к естественным наукам. Различные теоремы лингвистики должны представлять собой результат применения семиологии к конкретному частному случаю знаковой системы — к человеческому языку. С этой точки зрения связан и интерес Куриловича к глоссематике Ельмслева, сказавшийся в таких его работах, как статья 1949 г. об изоморфизме, где идеи, близкие к глоссематике, Курилович стремился объяснить в терминах классической лингвистики.

Из общелингвистических работ Куриловича, оказавших значительное воздействие на современную ему лингвистику, следует особенно отметить статью 1936 г. о лексической (или, как он уточнял позднее, семантической) деривации и деривации синтаксической, в которой дан эскиз общей теории частей речи, и статью 1949 г. о проблеме классификации падежей, явившуюся откликом на известные статьи на ту же тему Якобсона и де Гроота. До настоящего времени остается злободневной статья об эргативности и стадиальности в языке, опубликованная впервые в 1946 г. на страницах «Известий Отделения литературы и языка АН СССР». В ней убедительно показано, что в эргативном и активном (у Куриловича выступающем в качестве одного из вариантов эргативного) строе нет оснований усматривать проявления стадиальности мышления. Читателям «Вопросов языкознания» памятна его статья 1955 г. о значении слова, во многом предвзвешавшая структурный подход к семантике.

В своих немногочисленных работах чисто описательного характера Курилович показывает себя как мастер и в синхронной лингвистике. Но темы таких исследований обычно бывают прямо связаны с его диахроническими штудиями. В качестве примера можно сослаться на его шедевр — небольшую статью «Система русского ударения», напечатанную в «Ученых записках Львовского университета» за 1946 г.

Об исключительной продуктивности и широте научных интересов Куриловича свидетельствует сборник его статей, опубли-

ликованных в 1962—1973 гг. в различных изданиях и объединенных в 1975 г. под заглавием «Очерки по лингвистике. II». Поскольку этот новый сборник и отдельные статьи, в него вошедшие (за исключением методологического доклада о внутренней реконструкции, прочитанного в 1962 г. на IX Международном конгрессе лингвистов и вскоре выпущенного в русском переводе в сборнике «Новое в лингвистике», IV), могут быть менее знакомы читателю, представляется целесообразным упомянуть хотя бы некоторые темы включенных в него общелингвистических работ. Сборник открывается статьями о современной лингвистике, в которых (как и в книге о морфологических категориях индоевропейских языков) подчеркнута значимость тех языковых универсалий, которые определяются структурой акта речевого общения. Как и Бенвенист и Якобсон, Курилович пришел к выявлению особой роли тех категорий, которые соотносятся с разграничением говорящего, слушающего и всего, что лежит вне ситуации речевого общения. Не подлежит сомнению, что это направление лингвистических исследований может оказаться чрезвычайно существенным для исследования тех «субъективных» или «эгоцентрических» ссылок на точку зрения говорящего, обилие которых в естественном языке отмечали те исследователи, которые (как Нильс Бор и Бертрам Рассел) сравнивали его с языками науки, стремящимися к большей объективности. Плодотворность исследования именно тех категорий, которые связаны с речевым общением, видна из книги Куриловича об индоевропейских морфологических категориях.

Другой чертой, объединяющей эту книгу со вторым (и последним) сборником общелингвистических работ Куриловича, было усвоение им некоторых основных понятий трансформационной грамматики. При давнем стремлении Куриловича к аксиоматизации лингвистики ему, естественно, должна была быть близка теория, выводящая синтаксические конструкции и грамматические категории из преобразований некоторого аксиоматически заданного набора. В частности, он обратил внимание на трансформационный характер категорий инфинитива и причастий. Сводя лингвистические формы к более элементарным, по Куриловичу, мы движемся от трансформационных категорий (например, величин форм глагола) к таким, которые коренятся в самой ситуации речевого общения (как лицо глагола).

Отличительной особенностью второго сборника статей Куриловича было включение в него многих статей по метрике и поэтике (в том числе германской и древнеирландской). Этот круг вопросов особенно занимал Куриловича в последние

годы его жизни. Последней его монографией была вышедшая в 1975 г. книга «Метрика и история языка», в которой он последовательно разобрал обусловленные структурной конкретностью индоевропейских языков черты метрики Гомера, Платва, ведийских гимнов, классического персидского стиха, гат «Авесты», древнегерманского эпоса, древнеирландского несиллабического стиха, русских былин, литовских дайн, а также поэзии с силлабическими метрами на новых западных языках (романских и германских). В приложении к книге изучены два типа семитских метров.

Востоковед по своему первоначальному образованию, Курилович был за последние десятилетия первым крупным индоевропейцем, обратившимся к семитологии и перенесшим в нее более строгие методы современной компаративистики. Кроме нескольких специальных семитологических статей, его перу принадлежит книга «Апофония в семитском», опубликованная в 1961 г., и монография «Исследования по семитской грамматике и метрике», вышедшая в 1972 г. Одна из центральных мыслей этих книг — архаичность глагольных форм типа *zaqul*, сохраненных не только в аккадском, но и в древнеханаанском (известном по глоссам в архиве эль-Амарны) и угаритском, — теперь подтвердилась, по-видимому, и благодаря сходным фактам в недавно обнаруженном древнесемитском языке надписей второй половины III тысячелетия до н. в. из Эблы (Тель-Мардика), грамматическое описание которого, впрочем, только еще начинается. Вывод Куриловича о первоначальной связи эфиопского, арабского и древнееврейского юссива с древним перфектом встретил сочувствие у крупных семитологов.

Из приведенного безглагольного перечня видно, как много делал Курилович в последние годы перед смертью. Тем очевиднее, сколь велика утрата. И все же можно найти некоторое утешение в чувстве завершенности им сделанного: некоторые основные темы, над которыми он думал всю жизнь, нашли воплощение в специальных монографиях; основная сумма продуманных им общих принципов была наглядно им продемонстрирована на убедительных и многочисленных примерах. Все наши лингвисты разных поколений, занимавшиеся сравнительно-историческим языкознанием, испытали на себе его воздействие, либо прямо продолжая его работы (в ларингальной теории и теории чередований и структуры корня), либо от них отталкиваясь (в акцентологии). Часто там, где Курилович давал решительный и ясный ответ, для нас возникают новые вопросы, но они и возникают именно как следствие им сделанного.

Завершилась яркая и разносторонняя деятельность выдающегося чешского лингвиста: 2 марта с.г. на 86 году жизни после продолжительной болезни в Праге скончался академик Богуслав Гавранек. Оригинальный и самобытный теоретик, разносторонне эрудированный славист, один из основателей так называемой балканской лингвистики, проф. Гавранек пользовался непрекаемым авторитетом не только у себя на родине, но и далеко за ее пределами. Ученый создал авторитетную школу, из которой вышло немало известных чешских, словацких, русских, западноевропейских и американских лингвистов. Все ученики Гавранка несут в своем творчестве особые следы талантливого и заботливого учителя. Он умел воспитывать молодых ученых, для которых конкретные исследования частных языковых явлений в той или иной степени служили средством решения общих и частных проблем теории. Одновременно Гавранек всегда сурово осуждал теоретические работы, лишенные фактического фундамента. «Необходимое условие каждой теоретической работы... должно заключаться в том, чтобы подлинное состояние... было как можно лучше установлено и описано», — писал Гавранек в одной из своих статей.

Б. Гавранек родился 30 января 1893 г. в Праге в семье учителя. Высшее образование получил на философском факультете Карлова университета, где под руководством выдающихся профессоров того времени Зубатого, Поливки, Сметанки, Пастрнека и др. изучал сравнительное индоевропейское языкознание, классические языки, сравнительную грамматику славянских языков, старославянский язык, богемистику и другие дисциплины филологического цикла. Уже в студенческие годы он обнаружил большие способности, трудолюбие и специальный интерес к языкознанию. Еще до завершения курса он принимал активное участие в работе над академическим Словарем чешского языка. Через всю свою жизнь Гавранек пронес устойчивый интерес к проблемам теоретической и практической лексикографии.

В 1918 г. в журнале «*Naše řeč*» появилась первая публикация Гавранка «*Torvívo a paliivo*», которой открывается длинный список трудов ученого, включающий капитальные монографии, статьи,

критические обзоры, рецензии, учебники, некрологи, редактирование.

После завершения университета проф. Гавранек получил возможность углубить свои познания в различных зарубежных университетах. Профессорская его деятельность по славянскому языкознанию началась в 1929 г. в университете г. Брно. Здесь он преподавал в течение 15 лет. После смерти проф. М. Вайнгарта в 1939 г. Гавранек был приглашен в родной университет, но события второй мировой войны задержали его переезд в Прагу до 1945 г.

С 1945 г. и до конца жизни Б. Гавранек возглавлял чешское языкознание в масштабах всей республики. Он был членом Президиума Академии наук, директором Института чешского языка, руководителем кафедры чешского языка в университете и ряда других научных и общественных организаций страны.

Б. Гавранек формировался в тот период истории языкознания, когда господствовала младограмматическая школа, которая имела в Праге своих ярких представителей. Однако, начиная со второй половины 20-х годов, в работах молодого ученого обнаруживается отчетливое стремление преодолеть атомарность младограмматического языкознания. Его начинает интересовать не только формальная сторона языка, но и функциональная, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных его элементов. Расширяется и сфера интересов, появляются публикации о структуре и функциях литературных языков, о языке поэзии, о культуре речи и т. д. В области общей теории языка сказывается заметное влияние Соссюра, в области фонологии — Н. С. Трубецкого, грамматики и стилистики — В. Матезиуса. Естественно, что Гавранек становится одним из активных участников Пражского лингвистического кружка. Уже в первом томе «Трудов» этого кружка (1929) была опубликована его хорошо известная статья «Влияние функции литературного языка на фонологическую и грамматическую структуру чешского литературного языка», которая оказала глубокое влияние на дальнейшую разработку теории литературных языков.

Научная деятельность акад. Гавранка была многогранной. Однако в различные периоды его жизни менялось соот-

ношение интересов. Лишь к родному языку он пронес устойчивый интерес, начиная со своих первых публикаций и до конца жизни. Но и в области богемистики можно обнаружить известные колебания. Так, в послевоенный период заметно снизился интерес к чешской диалектологии. В 1934 г. Гавранек опубликовал очень ценную монографию «Чешские диалекты», которая составила целую эпоху в истории изучения диалектов. После войны в 1946 г. была опубликована лишь небольшая статья «Кладские чешские диалекты», написанная еще до войны. Большое место в послевоенный период заняли труды по чешской грамматике не только теоретического, но и практического характера.

В центре научных интересов Б. Гавранка в течение длительного времени находилась проблематика, связанная с историей чешского литературного языка. В этой области богемистики он, бесспорно, является подлинным пионером. Еще в 1936 г. была опубликована его монография «Развитие литературного чешского языка». Она была очень высоко оценена современной критикой. В этом труде автор впервые в славянском языковании сумел показать историю литературного языка как историю взаимосвязанных стилей на большом и в значительной степени новым материале. После войны он готовил новое издание труда, но успел опубликовать лишь отдельные фрагменты.

Не будучи самостоятельным теоретиком в вопросах фонологии, Гавранек, однако, сыграл значительную роль в изучении различных сторон славянской и чешской фонологических систем. Его интересовала проблема фонологической адаптации в литературных языках, фонология языковых союзов, функциональное противопоставление твердых и мягких фонем в славянских языках, явления деналатализации и др.

Большое место в научном наследии Гавранка занимает сравнительная грамматика славянских языков. Именно в этой области ему принадлежит самый значительный труд «Залог в славянских языках». Первый том (Прага, 1928) был посвящен в основном возвратным формам глагола. Во втором томе (Прага, 1937) рассматривались пассивные формы глагола. Были обследованы все славянские языки различных периодов их истории. Широко привлечен материал родственных языков (в частности, балтийских). В последние два — три десятилетия в разных странах было опубликовано много исследований, посвященных залогу отдельных славянских языков. Однако до сих пор капитальный труд чешского лингвиста является единственным обобщающим исследованием славянского залога. Через много лет ученый вновь вернулся к своей любимой теме: в 1963 г.

вышла в свет его монография «Залог в старославянском языке в сравнительном плане».

В богатом наследии ученого труды историко-филологического характера занимают сравнительно скромное место. Однако они все свидетельствуют о превосходной филологической школе, о высоком уровне эдидиционной техники. Достаточно в качестве примера привести издание древнейшей чешской рифмованной исторической хроники (так называемой Далимиловой хроники). Значительную часть труда занимает подробный исторический, филологический и лингвистический комментарий. Высокая филологическая культура Б. Гавранка оказывала ему большую помощь и в собственно лингвистических исследованиях. Анализируя язык древних славянских текстов, он всегда проводил предварительный тщательный филологический анализ на уровне лучших достижений чешской филологии. Не раз в своих критических разборах чужих работ он показывал, что неумение четко разграничить свое и чужое в тексте приводит исследователя к ошибочным выводам. «При изучении старославянского и церковнославянского языков, — писал Гавранек, — мы пользуемся только памятниками, в большинстве своем переводными, а перевод является неполноценным языковым источником, так как в нем всегда сказывается влияние первоисточника. Поэтому и самые старшие старославянские памятники, несмотря на чрезвычайно высокое качество их перевода, не являются первостепенными и самыми важными источниками для изучения синтаксических и вообще семантических явлений древнейших этапов славянских языков». В данном случае исследователь должен уметь удалить возможные следы воздействия оригинала, а для этого он должен отлично знать не только язык оригинала, но и историю этого языка во всем богатстве его стилей и жанров. Но даже и в этом случае возможны грубые ошибки. Вот почему Гавранек высоко оценивал показатель оригинальных текстов. В работах по историческому синтаксису и исторической семасиологии «более ценным источником являются русские летописи, дополненные древними западнославянскими памятниками, особенно чешскими».

Будучи крупным славистом, акад. Гавранек, однако, живо интересовался и некоторыми проблемами, выходящими за пределы славянского языкования. Здесь в первую очередь следует указать на «балканский языковой союз», на сравнительно-типологическое изучение славянских и неславянских языков Балканского полуострова. Он хорошо знал эти языки, внимательно следил за новыми работами в этой области, уделяя много времени подготовке молодых специалистов-балканистов. Гавранек много сделал для уста-

новления инвентаря балканизмов, для выяснения самой природы «балканского языкового союза». Его как исследователя специально интересовали вопросы балканской фонологии и особенно так называемой балканский пассив (см. «К фонологической географии. Система гласных балканского языкового союза», 1933; «Романский тип перфекта *factum habeo* и *casus sum, casum habeo* в македонских диалектах», 1936) и др. Летом 1946 г. в Ленинграде состоялась первая послевоенная международная славистическая конференция, в которой принял активное участие акад. Гавранек. Он выступил с докладом «О балканском языковом союзе», который вызвал оживленный обмен мнениями. В тот период балканизмы он рассматривал в аспекте той общей теории субстрата, которая сформировалась еще в предвоенные годы. Позже его взгляды на теорию субстрата существенно изменились. Углубленно и всесторонне изучая языковые контакты на Балканах, Гавранек пришел к выводу, что четкое противопоставление явлений субстрата и суперстрата здесь невозможно. Все дело в том, что в результате взаимодействия языков происходит не механическое соединение гетерогенных признаков, а возникают новые закономерности, которые приводят к существенным сдвигам языковых систем. При контактах языков нельзя говорить о наложении целостных систем. В реальной действительности происходит процесс интерференции, взаимопроникновения и взаимодействия различных систем, в результате которых могут возникнуть новые структуры или элементы новых структур. «Те,— пишет Гавранек,— кто рассматривает влияние чужих языков лишь как внешнюю мотивировку, целиком отличную от имманентного развития и даже противоположную ему, упрощают весь вопрос; речь идет не только о чуждом, идущем извне влиянии, но прежде всего о том, как проявляется это влияние в воспринимающем языке, а это уже вопрос, связанный с внутренним развитием данного языка, которое и определяет, какие черты заимствуются, а какие нет. Необходимо поставить вопрос о причинах того, почему одни черты заимствуются, а другие нет». Вот почему даже на основе самого совершенного и тщательного сравнительного изучения балканизмов нельзя восстановить тот язык, который сыграл определяющую роль в формировании «балканского языкового союза». В настоящее время теория языковой интерференции уже существенно отличается от классической теории субстрата. Прежде все исследователи «балканского языкового союза» безоговорочно принимали теорию субстрата. А вот Гавранек в полном соответствии своим новым взглядам писал в 1966 г.: «Я уже упоминал о проблеме субстрата, с удовлетворением отметив,

что теория субстрата в новейших работах, как правило, отвергается». В настоящее время теория языковой интерференции уже существенно отличается от классической теории субстрата. Это явилось результатом коллективных усилий многих современных лингвистов разных стран. Среди них имя Гавранка должно стоять на одном из первых мест.

Не прошел Б. Гавранек и мимо вопросов истории славянской филологии. Его особенно интересовала личность «патриарха славянской филологии» Иосифа Добровского. Ему он посвятил несколько этюдов, в которых показал себя мастером психологического портрета.

Много времени и сил отдавал Б. Гавранек редактированию. Под его редакцией в разное время было опубликовано много монографий, сборников, словарей, учебников. После войны в течение длительного времени он был редактором известного журнала «Slavia», популярного не только среди славистов журнала «Slovo a slovesnost» и др.

В послевоенный период акад. Гавранек вел большую научно-организационную работу не только в масштабах своей родины. Он был членом многих международных организаций и обществ, входил в состав ряда комитетов (в частности, был членом Международного комитета славистов со времени его основания), принимал самое активное участие в организации и проведении всех послевоенных международных конгрессов славистов, многих конференций и симпозиумов.

Б. Гавранек был широко известным ученым. Он пользовался признанием и уважением не только среди славистов. Он был членом многих зарубежных академий наук и почетным доктором ряда университетов. Во многих научных центрах и университетах он с большим успехом выступал с докладами, читал лекции.

Богуслав Антонович (так по обычаю нашей страны звали его русские друзья) часто посещал нашу страну. Он принадлежал к той совсем небольшой группе зарубежных славистов, которые посещали Советский Союз еще до войны. После войны его посещения стали регулярными. Весной 1948 г. он с большим успехом читал лекции по истории чешского литературного языка и по грамматике современного литературного языка студентам славянского отделения филологического факультета Московского университета. В равное время неоднократно выступал у нас с докладами по различным вопросам общей теории языка и славянского языкознания. Многим ему обязаны богемисты нашей страны, которым он всегда охотно оказывал помощь своими советами и консультациями. Память об этом добром и обаятельном человеке сохранят все, кто имел счастье общаться с ним.

Вернштейн С. Б.

CONTENTS

Articles: Beloded I. K. (Kiev). The Constitution of the USSR and the language; **Discussions:** Gorbačevič (Leningrad). The dictionary and the quotation; Eremina L. I. (Moscow). The role of graphic devices in the artistic system of Leo Tolstoy; Dubjago A. I. (Kaliningrad). N. G. Černyševskij and the Russian literary language; Andreev N. D. (Leningrad). Early Indo-European roots with velar spirants; Hall R. A. Jr. (USA). Critique of Chomsky's theory; Akhmanova O. S., Avduková A. M. (Moscow). The objective character of the existence of morphological oppositions; Akhunzjanov E. M. (Kazan). On the distinction between linguistic interference and transformation in the context of language contacts; Toropova N. A. (Kalinin). Concerning the study of logical particles; **Materials and notes:** Murjanov M. F. (Moscow). On the interpretation of Old Slavonic colour terms; Tot I. H. (Szeged). Cyrillo-Methodian traditions in medieval Hungary; Melikišvili D. N. (Tbilisi). On the origin of Georgian philosophical terminology; Borisova E. N. (Smolensk). Some problems of the origin and development of Russian word-stock in the late 16th — 18th centuries; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: Beloded I. K. (Kiev). La Constitution de l'URSS et la langue; **Discussions:** Gorbačevič K. S. (Léningrad). Le dictionnaire et la citation; Eremina L. I. (Moscou). Moyens graphiques dans le système des moyens expressifs de Léon Tolstoj; Dubjago A. I. (Kaliningrad). N. G. Tchernyševski et le russe littéraire; Andreev N. D. (Léningrad). Racines proto-indoeuropéennes à spirantes vélaires; Hall R. A. (Jr.), (Etats-Unis). Critique de la théorie de Chomsky; Akhmanova O. S., Avduková A. M. (Moscou). Caractère objectif de l'existence des oppositions morphologiques; Akhunzjanov E. M. (Kazan). Délimitation de l'interférence et de la transformation dans les conditions des contacts linguistiques; Toropova N. A. (Kalinin). La recherche des particules logiques; **Matériaux et notices:** Mur'janov M. F. (Moscou). Sur l'interprétation des noms des couleurs en vieux slave; Tot I. H. (Szeged). Traditions cyrillo-méthodiennes dans la Hongrie médiévale; Melikišvili D. N. (Tbilissi). Sur l'origine de la terminologie philosophique en géorgien; Borisova E. N. (Smolensk). Quelques problèmes de l'origine et du développement du vocabulaire russe dès la fin du XVI jusqu'au XIX siècle; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

Технический редактор Т. Н. Сенченко

Сдано в набор 29.06.78 Подписано к печати 4.09.78 Т-10781 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 45,4 Уч.-изд. л. 17,4 Бум. л. 5,5 Тираж 7115 экз. Зак. 674

Издательство «Наука», 103717, Москва, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука». 121099, Москва. Шубинский пер., 10